



АЛЕКСАНДР ЯНОВ

СПОР О «ВЕЧНОМ» САМОДЕРЖАВИИ

СПОР



О «ВЕЧНОМ» САМОДЕРЖАВИИ

ОТ ГРОЗНОГО ДО ПУТИНА

АЛЕКСАНДР ЯНОВ

Александр Янов

**СПОР
О «ВЕЧНОМ»
САМОДЕРЖАВИИ**

От Грозного до Путина

УДК 321.6.01:[94(47).064/.08+94(470)]

ББК 66.033.11+63.3(2)

Я64

Я64 Янов Александр Львович

Спор о «вечном» самодержавии: от Грозного до Путина / А. Янов – М.: Новый Хронограф, 2017. – 568 с. – ISBN 978-5-94881-396-7.

Одиннадцать раз на протяжении четырех столетий поднималась Россия в попытках избавиться от диктатуры самодержавия. Александр Янов документировал это «золотое правило русской истории»: начиная с деиванизации после Ивана Грозного и кончая десталинизацией и дебрежневизацией в XX веке, НИ ОДНА диктатура не продолжалась после ухода диктатора. Как правило, становились эти «оттепели» порывами, а то и прорывами в Европу. Отсюда неминуемость деупутинизации после Путина. Вопрос в том, останется ли она лишь «порывом» в Европу (как при Горбачеве) или перерастет в «прорыв» (как при Александре II). О том и спор в этой книге..

УДК 321.6.01:[94(47).064/.08+94(470)]

ББК 66.033.11+63.3(2)

Я64

ISBN 978-5-94881-396-7

© Янов А.Л., автор, 2017

© Издательство «Новый хронограф», 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИСТОРИЯ КАК ОНА БЫЛА	5
Глава 1. Вводная	7
Глава 2. Заметки по следам дискуссии	36
Глава 3. Так было это с нами или не было?	58
Глава 4. Новая парадигма? Неизвестная Россия Гибель реформы	93
ЯЗЫК, НА КОТОРОМ МЫ СПОРИМ	119
Глава 5. Деспотология	121
Глава 6. Парадокс абсолютной монархии	145
Глава 7. Самодержавная государственность	166
МОЙ «ВТОРОЙ ФРОНТ». ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПЕРЕПИСКА СО СТАРЫМ ДРУГОМ	185
Глава 8. В дискуссии	187
Глава 9. О дружественной критике: «артиллерия бьет по своим?»	210
Глава 10. О «европейском столетии» Ответ Александру Янову	228
Глава 11. Диалог с читателем	239
МОЙ «ВТОРОЙ ФРОНТ». ЧАСТЬ ВТОРАЯ НА ФОНЕ ИСТОРИИ	253
Глава 12. Нигилисты навыворот	255
Глава 13. Как стала Россия тем, чем стала?	279
Глава 14. «Выпадения из Европы»	289

<i>Глава 15. Упущенный шанс</i>	297
<i>Глава 16. «Ментальный блок» элит</i>	309
<i>Глава 17. Последняя реплика</i>	318
ПОВЕРКА МИФОВ	337
<i>Глава 18. Моя «нераскопанная Троя»</i>	339
<i>Глава 19. Много ли на земле «цивилизаций»?</i>	353
<i>Глава 20. Мучитель</i>	372
ИВАНИАНА. ВЕК XX	393
<i>Глава 21. Подтверждение гипотезы</i>	395
<i>Глава 22. Механизм террора: опричнина</i>	416
<i>Глава 23. Исповедь</i>	440
<i>Глава 24. Конец спора или новое начало?</i>	459
<i>Приложение 1. О послании МБХ русским европейцам</i>	481
<i>Приложение 2. О воскрешении Европы</i>	503
<i>Приложение 3. Дебаты о российской государственности</i>	516
<i>Приложение 4. И. Кондаков Легенда российской историографии</i>	539

ИСТОРИЯ КАК ОНА БЫЛА

Глава 1

ВВОДНАЯ

Истина рождается как ересь
и умирает как предрассудок.

Гегель

Что знаем мы о самодержавии? Почему не отпускает оно нас на волю, как крепостных, – из года в год, из десятилетия в десятилетие, из века в век? Что бы мы ни делали, не отпускает? И не скажешь ведь, что не умела Россия избавляться от самых глухих своих тупиков, лишивших ее, казалось, будущего. Как еще умела! Избавилась при Петре от православного фундаментализма Московии. Избавилась при Александре II от крестьянского рабства. Избавилась при Горбачеве от империи. Избавилась, наконец, при Ельцине от коммунизма. Как в детской присказке про колобка «и от дедушки ушел, и от бабушки ушел...» А от самодержавия не может. Почему?

О ЧЕМ СПОР?

Есть два ответа на этот роковой вопрос.

Первый – «ментальность» такая, неевропейская. Не может народ в России жить без тирании. «Исключительно мощный генетический код», как объясняет нам Путин. Именно ведь на «менталь-

ность» русского крестьянина ссылались в XVIII веке крепостники, сопротивляясь отмене крестьянского рабства: не сможет, мол, русский крестьянин жить без власти хозяина, помещика. Все проплет. Пропадет. И с ним пропадет Россия. Кратко обобщил тогдашнюю «ментальность» знаменитый в свое время поэт Александр Сумароков: «Свобода крестьянская пагубна для России». Поверь ему российские элиты времен Великой реформы 1860-х, никогда б ее, этой реформы, не было¹. И точно так же именно православной «ментальностью» объясняли свое сопротивление реформам Петра и его противники: погубят, мол, православную Россию латинские еретики. Вот образец тогдашней «ментальности»: стрельцы бунтовали из-за того, что «идут к Москве немцы, потворствуя брадобритию и табаку во всеосвершенное православия ниспровержение». И прислушайся к той «ментальности» Петр, не состоялся бы «прорыв в Европу» в 1700-е.

Но Россия-то, как мы только что видели, уже продемонстрировала – в гигантских исторических, если хотите, экспериментах – что код этот беспощадно не раз и не два ломала и к саморазвитию способна! Аристотелевской, значит, деспотией быть не может и генетика тут ни при чем.

Таким образом, второй ответ – исторический. То есть, вопреки логике «ментальности» – крестьян **освободили** и «прорыв в Европу» **состоялся**. И не пропала Россия ни от крестьянской свободы, ни от не-

¹ Заметим на полях, что термин «ментальность» принадлежит французской школе «Анналов», но искажен в этой интерпретации, поскольку в оригинале с этнизмом и с замкнутостью культур имеет весьма мало общего.

мецкого браздобрития и табака. Напротив, четырежды словам «исключительно мощный», если верить Путину, «код» вырвалась из исторического тупика, совершила рывок в будущее, и – главное – выяснилось, что вечная (ох, уж эти вечные апелляции к вечности), как думали в свое время, «ментальность» оказалась на поверку, не более чем смесью реакционной пропаганды и «текущих», так сказать, предрассудков. Завота о будущем страны, о продолжении, если хотите, ее истории заставила ее лидеров и в 1700-е, и в 1860-е, и в 1980–90-е преодолеть исторические тупики, действовать вопреки этой «текущей смеси», которой по недоразумению присвоили ныне модное французское имя «ментальность». Значит, дело с самодержавием не в ней и не в «коде». В чем же тогда?

Некоторые русские историки (особенно в советские времена) пытались отождествить самодержавие с европейским абсолютизмом. Но абсолютная монархия господствовала в Европе с XVI по XVIII век, потом, начав освобождаться от абсолютизма, превратилась в монархию конституционную, в иных случаях и в республику. А Россия и после XVIII века, **как была, так и осталась самодержавной**. Совсем другая историческая траектория. Отсюда еще один драматический вопрос. Если родом самодержавие не из деспотии, как подавляющее большинство азиатских стран (до того, как их деспотическая государственность была разрушена Западом), и не из абсолютизма, как европейские, то **откуда оно?**

Понятно, что ответить на этот вопрос может только история. Понятно также, что куда не привлечем мы историю к его решению, так и останемся под игом самодержавия. Так и будем ссылаться на

якобы вечную «ментальность», как ссылались в прошлом крепостники и фундаменталисты, пусть и звалась она в их время «народностью», или на «генетический код». Но ведь не привлекаем. Больше того, не замечаем самого даже вопроса о происхождении и природе самодержавия. Сформулирую поэтому без обиняков: перед нами стоит во весь рост как теоретический, так и политический выбор между реакционной пропагандой, «текущими предрассудками», т. н. «ментальностью» (о генетике я уж и не говорю, это вообще из другой оперы) и – **историей. Спор наш именно об этом.**

МОЯ «ЕРЕСЬ»

Россия пропустила европейскую эпоху Просвещения. Подумайте, целую эпоху, когда на протяжении нескольких поколений блестящая плеяда замечательных критических умов дерзко штурмовала и вдребезги разнесла – вечные, казалось, стереотипы средневековья. И – что не менее важно – оставила за собой ТРАДИЦИЮ недоверия к стереотипам и любопытства к дерзким «ересям». Нет у нас такой традиции. Может быть, в результате этого даже самые прогрессивные умы в России склонны к консерватизму, и попытки сломать вековые стереотипы воспринимаются не столько с любопытством, сколько с раздражением. Особенно в самой уязвимой с точки зрения влияния стереотипов гуманитарной сфере. И в первую очередь в истории (если «ересь», конечно, не очевидный конспирологический анекдот, как в случае А.Т. Фоменко).

Я знаю об этом не понаслышке. Да, моя попытка сломать «ордынский», условно говоря, стереотип

(т. е. гипотеза, об изначальном европействе России, о которой ниже) была встречена в штывы и на Западе. Первая ее публикация – по необходимости в Америке «The Origins of Autocracy», 1981 (потом она, правда, была перепечатана в Италии «Le origini dell'autocrazia», 1984, и в Японии «The Russian Challenge», так мне, во всяком случае, перевели ее нечитаемое название, 1989) – вызвала очень разные отклики в мире. От «памфлета» (Марк Раефф) до «эпохальной работы» (Рихард Лоуэнтал). Но среди этих отзывов были и важные рекомендации, например, тогдашнего патриарха американской славистики Сэмюела Бэрона («Янов по существу сформулировал новую повестку дня для исследователей эпохи Ивана III» в «Slavic Review») или Айлин Келли в «New York Review of Books», сравнившей мою работу с философией истории Герцена. Ничего подобного в России.

Здесь доминировало некое глухое внутреннее отталкивание от самой идеи изначального европеизма России. И было в нем не только отчаяние (см. «русская душа – тысячелетняя раба» в замечательном романе Василия Гроссмана «Все течет»), но и туча мелких «ученых» придирок. Было, правда, и предостережение авторитетного историка Игоря Кондакова: «Критика Янова с позиций конкретного исследования совершенно несостоятельна... Всякое окучивание тех или иных исторических грядок мало что может возразить относительно больших идей, связанных с повторяемостью истории, с наличием каких-то магистральных линий, которые не уходят на всем протяжении российской истории». Но и это предостережение прошло мимо ушей. Одним сло-

вом, контекст появления моей «ереси» в России был недружелюбным.

А «ересь» вкратце была такая. Я исходил из того, что не в азиатской Орде начиналась русская государственность, а в Европе. Так же, как начинались обыкновенные североевропейские абсолютные монархии (Московское государство 1480–1560 тоже была северной страной: южная граница в районе Воронежа, культурные центры – на Севере). Короче, тогдашняя государственность ее подобна была, грубо говоря, шведской или датской, варяжской. Во всяком случае, самодержавия не было в ней тогда и в помине.

Разница с североевропейскими соседями была в уникальной *двойственности* русской политической культуры (о чем подробно в следующей главе), лишь в том, что *восточной границы* у Руси, по сути, не было. И расширяться она могла после завоевания Казани практически беспрепятственно – до самого Тихого океана: сопротивление сибирских туземцев было значительно менее серьезным, нежели сопротивление американских индейцев. Россия обрела гигантскую колонию, которую она, в отличие от Америки, не столько осваивала, сколько **ПРИСВАИВАЛА**, превращаясь в самую большую в мире страну.

И надо же, чтобы совпала эта имперская экспансия с чрезвычайным, грозным событием в Москве, сопоставимым по мощи и кровавому насилию с Октябрьской революцией 1917 года, событием, полностью изменившим, мистифицировавшим жизнь и судьбу страны на столетия вперед. **Изменившим, но не превратившим** ее (в силу той же двойственности) в Орду, лишь в скользкий гибрид, в амальгаму европейства и «ордынства», обусловившую его долгожительство. В то, короче, что и назвал я «самодер-

жавной государственностью». В этом, собственно, и состоит моя «ересь».

Сравнение террора Ивана Грозного (то есть в моих термин САМОДЕРЖАВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1560-х, я говорю о ней) с отечественной «татарщиной» принадлежит, напомним, еще Н.М. Карамзину. Но природы этого рокового совпадения отечественной «татарщины» с новой империей Карамзин не понял, тем более не понял его последствий. Так же, как не поняла их и вся классическая русская историография, трактовавшая Россию просто как **запоздалую Европу**. Не как наследницу Орды, правда, я подчеркиваю, как Европу. Да, она ошиблась, наша замечательная историография, но не до такой же степени...

Вот-вот, за ближайшим поворотом, ожидала она, «взойдет заря пленительного счастья», и «свобода вас встретит радостно у входа», как обещал Пушкин декабристам. Ах, эта пушкинская заря! Сколько поколений русской молодежи поманила она – и обманула! Да, ожидаемый «поворот» наступил, заря взошла в феврале 1917 года – и что же? Лишь внешнюю форму изменило самодержавие, в остальном осталось, как было. И вновь показало себя во всей своей «татарской» свирепости.

Вот тогда впервые и замаячил перед русскими умами проклятый вопрос: да что же оно такое, это «вечное» самодержавие, избавиться от которого не смогла и революция? Тогда и начался наш спор. Он молод, как видите, и ста лет ему еще нет. Первыми задали этот вопрос эмигрантские евразийцы. И ответ их был прост: уже известная нам «ордынская» ментальность. Не понимает и не принимает, мол, органически русский народ свободу, путает ее с разбой-

ничьей волей. Короче, жить без тирании (читай: без самодержавия) не может.

И аргумент их был серьезный, опирался на неоспоримые как будто бы исторические факты. За два с половиной столетия Киевско-Новгородская варяжская Русь собственную государственность создать не сумела, жила непрерывной братоубийственной междукняжеской войной. Так и жила бы, кабы не *азиатские завоеватели*, освободившие ее от непрерывных войн. Отсюда евразийское мотто: «Без татарщины не было бы России». И, слава Богу, говорили евразийцы, хватило ума Руси не отказываться от «татарщины», когда ослабла орда. Просто, как объяснял их молодой идеолог князь Н.С. Трубецкой, «перенесли столицу из Сарая в Москву».

Короче, на роковой вопрос «откуда самодержавие?» евразийцы четко ответили: из азиатской Орды. Вроде бы логично. Вот только костью в горле у этой по-своему стройной теории стояло ПОСТмонгольское Московское государство, созданное Иваном III, и то, что назвал я «Европейским столетием России» (1480–1560).

Евразийскому ретроспективному историческому «идеалу» мешали:

1. «*Юрьев день*», законодательно гарантировавший переход, то есть, не будем лукавить, крестьянскую свободу.

2. *Боярская дума* как «учреждение не государево, а государственное», по выражению В.О. Ключевского (главное его архивное открытие).

3. *Неограниченная свобода слова* (гневно засвидетельствованная открытым противником государя Иосифом Волоцким).

4. Судебник 1550 года, юридически запрещавший государю принимать новые законы или вводить новые налоги «без всех бояр приговору».

5. Великая реформа 1550-х, введившая крестьянское и посадское самоуправление и право «судиться между собою», т.е. независимый от государства суд и возникновение сильной крестьянской предбуржуазии, как именовали это свое архивное открытие советские историки-шестидесятники. Могло ли что-либо подобное случиться при «татарщине»?

И случилось все это при вполне европейской абсолютной монархии, раз и навсегда положившей конец междукняжеским войнам. Устроила, иначе говоря, Русь, свою государственность – без «татарщины» и БЕЗ САМОДЕРЖАВИЯ.

ВОТ, СОБСТВЕННО, И ВСЕ

Так и не нашли евразийцы объяснения этому неожиданному (в XVI веке!) «прорыву в Европу». Но еще более жалкой, противоречившей всем историческим фактам, была другая версия «вечности» самодержавия. Два с лишним столетия татарщины сломали, мол, «европейский культурный (генетический, по Путину) код Киевско-Новгородской Руси», превратив страну в азиатскую деспотию, в Орду. Эта версия, казалось бы, легко опровергается очевидными историческими примерами (разве история не уникальный экспериментальный полигон для серьезного исследователя?).

Семь (!) столетий мусульманского владычества в Испании (все-таки завоеватели и впрямь были азиатской деспотией и жили по шариату), но, глядишь ты, не смогли почему-то сломать европейский «генети-

ческий код» испанцев. Почему? *Четыре столетия турецкого владычества* на Балканах не превратили почему-то в азиатские деспотии ни Грецию, ни Сербию. Не выдержала испытания «татарщиной», выходит, одна Русь. Опять-таки почему? Как-то нужно ведь объяснить эту **уникальную слабость** именно русского «генетического кода». Но не слышим мы этого объяснения от современных «ордынцев». Как от огня бегут они от всякого упоминания о слабости своего «кода». Напротив, как слышали мы от Путина, подчеркивают его «исключительную мощь». Но чем же тогда объяснить эту аномалию? Ведь тут историческая ловушка.

Словом, простой, школьный на первый взгляд, вопрос «откуда самодержавие?» безнадежно запутался еще задолго до «холодной войны». Представьте теперь, что произошло с этим спором, когда вышел он в 1960-е на международную арену и западные историки дружно встали на сторону именно этой, не выдерживающей и первого прикосновения критики жалкой версии, в десятках диссертаций доказывая, что Россия, без сомнения, превратилась после «татарщины» в азиатскую деспотию.

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

Биполярное устройство тогдашнего мира идеально соответствовало биполярной структуре нашего спора. Это объясняет позицию советских историков. Понятно, что очень уж не хотелось оснащенным самым передовым марксизмом-ленинизмом правителям СССР выглядеть наследниками «азиатского деспотизма». Мудрено ли, что тогдашние советские историки откликнулись на пожелания партии и пра-

вительства и столь же дружно перешли в контратаку. И в десятках диссертаций начали доказывать, что? Конечно же, что русское самодержавие не более чем разновидность ... западной абсолютной монархии.

Идея контратаки была нехитрая. Вкратце такая. Разве не повсюду в Европе становилась власть в XV–XVI веках одинаково абсолютной? Разве не все ее монархи одинаково стремились к централизации своих государств? И не все они были одинаково жестоки, что в Англии, что в России? Так с какой же стати зачислять по ведомству «азиатского деспотизма» именно самодержавие? Не уместнее ли было бы всем этим западным абсолютным монархиям на себя оглянуться? Не от них ли веяло той самой «азиатчиной», которую они приписывают самодержавию?

Я не преувеличиваю. Вот цитата. Это А.Н. Сахаров (директор, между прочим, Института русской истории). «Между “азиатским деспотизмом” Ивана Грозного и столь же “азиатским деспотизмом” Елизаветы Английской, – писал он, – разница не так уж велика... Западноевропейские монархии XV–XVI веков недалеко ушли по части демократии от опричнины Ивана Грозного. И камеры Бастилии и Тауэра не уступали по своей крепости казематам Шлиссельбурга и Алексеевского рavelина». Дыры в этой аргументации били в глаза. Немногие «диссиденты» (1960-е совпали с хрущевской оттепелью) осторожно обращали на это внимание (самая очевидная из дыр: на Западе не было крепостного рабства). Но еретиков быстро растоптали.

Я подробно документировал этот международный спор в главе пятой («Крепостная историография») в первом томе своей трилогии «Россия и Ев-

ропа. 1462–1921». Итог был неутешителен. Пытаясь стереть различия между отечественным самодержавием и западным абсолютизмом и, в то же время, обвиняя своих западных, как модно сейчас выражаться, «партнеров» в том, что восхваляемый ими абсолютизм недалеко ушел («по части демократии») от азиатской деспотии, советские историки окончательно запутали дело, смешав в одну кучу все три, драматически отличающиеся друг от друга, формы государственности. Получалась какая-то «вселенская смазь», в которой все кошки серы.

Не помогли делу и западные историки. Им и в голову не пришло начать распутывать историографический узел, туго завязанный их советскими коллегами. Напротив, изобретательно придумывали они для России все новое и новое деспотическое прошлое: монгольское, в конечном счете, китайское (Карл Виттфогель), византийское (Арнольд Тойнби), «эллинистическое» (Ричард Пайпс). В результате, в конце международной дискуссии, продолжавшейся два с половиной десятилетия, знали мы о происхождении самодержавия меньше, чем до ее начала.

Под «мы» имею я здесь в виду свое поколение, «шестидесятников», сначала воодушевленное оттепелью, потом отчаянно разочарованное вторжением советских танков в Чехословакию и затем ушедшее – кто в диссиденты, в тюрьмы и психушки, кто в угрюмую «внутреннюю эмиграцию». Когда некоторое время спустя оказался я волею судеб (и КГБ) в Америке, увидел я и другую молодежь. Она была воспитана «деспотистской» профессурой и уверена, что «Империя зла» действительно выросла на ордынско-византийско-эллинистической почве. Таков был

западный консенсус 1970-х – первой половины 80-х. Ох, и нелегко, поверьте, было мне тогда разубеждать своих студентов. Долго – два десятилетия – был я среди профессоров белой вороной.

Но на моих глазах теоретический консенсус этот начал сыпаться во второй половине 80-х. Гласность и падение Берлинской стены докончили его. И кончилось тогда дело жесточайшим разочарованием во всех «деспотистских» теориях. Отныне настроение было: Россия с нами, она – Европа, никакая ни азиатская деспотия. Просто потому, что не бывает и не может быть в деспотиях гласности, не допускает этого основанное на исторических образцах теоретическое определение деспотии. Поссорилась, короче говоря, американская молодежь со своими профессорами. Это была, конечно, победа Горбачева. Но отчасти и моя.

Когда решился я, наконец, вернуться в Москву в январе 1990-го (КГБ все еще был в силе) по приглашению МИДа преподавать в МГИМО, к которому меня и за версту не подпустили бы в старое время, ожидал меня, мало сказать сюрприз. Ожидал меня

ВТОРОЙ ФРОНТ

В тот самый момент, когда свобода, казалось, улыбнулась России после трех поколений советского мрака, и западная молодежь решительно отвергла миф о России как об «азиатской деспотии», московская – неожиданно встала на другую сторону баррикад, заговорила о «тысячелетнем рабстве» и «ордынстве» России. И по мере того, как развивались события (первая попытка вернуть страну в советское прошлое в августе 91-го, за ней вторая, еще

более грозная – и кровавая – в октябре 93-го, за ней Чечня, еще более кровавая) убеждение это крепло, на глазах превращаясь в мощный *российский либеральный консенсус*, парадоксально аналогичный западному 1970-х – половине 80-х.

Для меня это и означало «второй фронт». Мало мне было совсем еще недавно опровергать для американских студентов аргументы Виттфогеля, Валлерстайна, Тойнби, Пайпса или Солженицына в Америке (самые громкие называю я, конечно же, имена), так тут еще, оказывается, новая поросль появилась уже отечественных «деспотистов», притом все, как на подбор, либералы, единомышленники. Увы, недолго, как видите, музыка на моей улице играла. Не уйти мне было, как выяснилось, от судьбы надоедливой белой вороны.

Не берусь пока объяснять это странное недоверие российских либералов (читай, русских европейцев) к европейскому прошлому России, то есть, к собственному прошлому. Возможно, эта была естественная реакция на официозную «европейскость» советской власти. Но продлилось это недоверие долго (и сейчас еще, как мы увидим, длится). Первый серьезный протест против него зарегистрировал я лишь в 2009 году во время обсуждения моей трилогии в фонде «Либеральная миссия», когда ведущий, вице-президент фонда Игорь Клямкин, излагая мою точку зрения, решительно заявил: «Если европейской традиции в российской истории не было, а были лишь «тысячелетнее рабство» и «ордынство», то у нас с вами нет не только прошлого, но и будущего. С нуля в истории ничего не начинается». В том же духе, но с куда большей экспрессией – и более простран-

но – выступил, ссылаясь на мои исследования, и заместитель декана факультета прикладной политологии ГУ-ВШЭ Леонид Поляков. С его позицией познакомлю я читателя ниже.

(Тут вынужден я прерваться в скобках. Совсем недавно, когда все это уже было написано, мне напомнили, что полгода спустя после дискуссии в «Либеральной миссии», 19 апреля 2010 года – дата важна потому, что то был следующий день после моего восьмидесятилетия, которое я встретил в госпитале, – состоялась еще одна дискуссия о моей трилогии в российском центре Карнеги, даже более многочисленная по числу выступавших. Она была приурочена к моей годовщине, а я о ней забыл. Объяснить такую непростительную промашку могу лишь жесточайшим стрессом, который я тогда испытал (отсюда и госпиталь) и который буквально стер из моей памяти несколько месяцев жизни: я потерял жену, с которой мы прожили 54 года – и какие то были годы!

Спешу принести извинения и запоздалую признательность организаторам той дискуссии: директору центра Карнеги Дмитрию Витальевичу Тренину и Льву Львовичу Регельсону, снова представлявшему меня, как и в «Либеральной миссии», и всем выступившим в ней, в особенности тем, кто читал трилогию и, по их собственным словам, «не мог от нее оторваться», как Борис Реджабек, Татьяна Куракина, Дмитрий Зимин, Эмилия Волкова и Ирина Карацуба.

И все-таки жаль, что не обратили они внимания на ту единственную главу «Язык, на котором мы спорим», которая заставила меня перед первой публикацией в Америке испытать то, что называется stage

fright², не знаю как по-русски. Испытал, потому что и впрямь страшно было: все-таки впервые, сколько я знаю, в мировой литературе, предпринята в ней попытка покончить с дефиниционным хаосом, со спором глухих, когда спорщики перестают понимать, и друг друга и сами себя. Другими словами, попробовал я **ВЕРИФИЦИРОВАТЬ** все три формы государственности, о которые споткнулись как западные, так и советские историки. И заодно раз и навсегда разобраться, наконец, с проклятым вопросом: откуда оно взялось, это наше «вечное» *самодержавие*, так разобраться, чтобы разночтений больше не осталось.

Не стану забегать вперед, с большей частью этой главы я очень скоро познакомлю читателя (как, впрочем, и с ходом дискуссии и со всем своим «вторым фронтом», и с тем, как попытался я опровергнуть его аргументы). Скажу лишь: в результате распутывания дефиниционной неразберихи выяснилось, что никогда не было самодержавие ни «азиатским деспотизмом», ни европейской «абсолютной монархией», к которым пытались его привязать как западные, так и советские историки. Что оно на самом деле – *гибрид*. То есть смешанная, *дефектная* форма государственности. Не просто запоздалая, а «испорченная Европа», как назвал я ее в «Русской идее». О том, как история постепенно, говоря языком Гегеля, *снимает* эту «порчу», там тоже рассказано подробно.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ СПОРА О САМОДЕРЖАВИИ

Ничего, по сути, не изменилось со времени тех дискуссий. Оказалось, что выяснить природу само-

² «Боязнь сцены» – прим. редактора.

державия даже не полдела. Полдела – убедить единомышленников просто *выслушать мои* аргументы. Что касается дела – скольких я убедил, если не считать моих американских студентов? Пятерых? Семерых? Десятерых?

Да, я бросил вызов, по ироническому замечанию Клямкина **«практически всей отечественной и западной руссистой историографии»**. Но нет печальней зрелища брошенной перчатки, которую так, по сути, всерьез и не подняли. Дуэли, во всяком случае, не было. Я имею в виду настоящую дискуссию-дуэль, в которой, случается, и убивают оппонента. Так, придирки, насмешки, порою и издевательства. Да, были и восторженные отзывы. Но я-то ждал дуэли.

Во всяком случае, как стоял неколебимо семь лет назад антиевропейский либеральный консенсус, так и стоит. А имея в виду путинскую реставрацию самодержавия, даже неколебимее стоит, чем тогда. На наших глазах *«вечная ментальность»*, на которой покоится этот консенсус, похоже, побеждает *историю*. Отсюда настоятельная необходимость **продолжить спор**, в чем, собственно, и состоит смысл этой книги.

Решающее свидетельство этого для меня – тот грустный факт, что не устоял под напором этой торжествующей веры в «ментальность» даже один из самых стойких моих вчерашних единомышленников Д.В. Тренин. В недавнем интервью немецкой газете «Die Zeit» (23 августа 2016 г.) признает он, что «Путин ближе к абсолютной власти, чем любой другой руководитель государства», т.е. что *очередная реставрация самодержавия состоялась*, но, в то же время считает, что «тайна крепости его власти – в лояльности тех, кем он правит». И поэтому «смена

власти не приведет к существенным преобразованиям». Ибо «имеем мы дело не с Россией Путина, а с путинской Россией». Иными словами, говорят нам, что на этот раз «ордынская ментальность», и с нею «вечное» самодержавие, победили?

Не уверен, помнит ли Дмитрий Витальевич мои книги, уверял, что читал. У меня выходило, однако, что ВСЕ одиннадцать аналогичных сегодняшней ситуаций, возникавших за полутысячелетие российской государственности, кончались одинаково: либо «прорывом», либо, по крайней мере, «порывом» в Европу. Иначе говоря, победой истории. Исключений до сих пор не было. «Ментальность»/«народность» проигрывала всегда (перечисляю, чтоб не было разночтений: 1606, 1610, 1700, 1730, 1801, 1825, 1861, 1881, 1905, 1917 (февраль), 1989). Говоря языком спортивных комментаторов, общий счет был 11:0. Ибо такова природа, такова, если можно так выразиться, «динамическая структура» гибридной государственности, по-другому функционировать она не умеет.

Так что же хочет нам сказать Д.В.? Что в двенадцатый раз случится почему-то осечка? Или что все те «прорывы» и «порывы» в Европу, которые я только что перечислил, исчерпали европейский генофонд русской государственности, и самодержавие больше не гибрид, каким оно было на протяжении пяти столетий, а просто «Орда с человеческим лицом»? И «долгое рабство», о котором предупреждал нас в свое время Герцен, наконец, победило? Согласитесь, однако, что такие вопросы уместно было бы задавать после Путина, если тогда и впрямь произойдет осечка. То, что человек задает их в разгар торжеству-

ющей путинской «ментальности», заставляет, все же, предположить, что имеем мы дело скорее со слабостью духа еще одного из достойных русских европейцев. Не капитуляция ли это перед текущей ментальностью? Так или иначе, отступление Тренина для меня – сигнал тревоги.

МОЙ ВЫБОР

Так что же мне перед лицом столь тревожного сигнала делать? Что сделали бы вы на моем месте, читатель? Смирились бы со своим бессилием убедить соотечественников в столь очевидном, одиннадцать раз (!) подтвержденном историей факте, что государство, в котором они живут, гибридное, наполовину европейское, просто ВО ВСЕ времена, подобные путинскому (скажем, чтоб было понятней, в брежневские) европейскости его не видно, она – в подполье? Смирение было бы самым простым и безболезненным ответом, не стань этот вопрос для меня, если хотите, **экзистенциальным**.

Ибо жил я на этом свете или нет, определится, в конечном счете, не столько тем, смог ли я, как все нормальные люди, вырастить семью (смог, даже маленький правнук у меня уже есть), и пройти свой долгий земной перегон, никого не предав и не запятнав свою совесть (прошел), сколько тем, **справился ли я с делом своей жизни**. Тем, другими словами, определится, сумел ли я легитимизировать в сознании современников неистребимый европейский «геном» российской государственности. И тем самым демистифицировать фантом «ордынскости ментальности», а значит, избавить в конечном счете Россию – и мир – от монстра «вечного» самодержавия. Ибо пока оно

с нами, не сможет Россия жить по-человечески, и мир – спокойно. Есть масса других, скажете, не менее достойных дел – реформировать мусульманскую умму, например? Но как решить те дела, я не знаю, а это, пожалуй, знаю. Грех, согласитесь, было бы похоронить это знание.

Что остается? Как бы пафосно это ни звучало, остается драться до земного конца. То есть *достигать с оппонентами*, докричаться до всех, кто способен мыслить, в первую очередь до молодых умов, еще не затурканных жизнью и не сломленных самодержавной «ментальностью», еще мечтающих о пушкинской заре. Но силы, увы, уже не те, что во времена моего «первого фронта». Совсем не те силы. Именно поэтому так неценима для меня в подготовке текстов редакторская помощь Михаила Аркадьева.

Короче, боюсь, единственное, что я еще могу для них сделать, это **ВОЗОБНОВИТЬ** с помощью Миши дискуссию, начатую в 2009 году в фонде «Либеральная миссия» (<http://www.liberal.ru/anons/4534>), оснастив ее на этот раз, сколько возможно, самым важным, чем практически пренебрегли тогдашние ее участники, – **текстами** недоступной теперь трилогии. Отсюда замысел новой книги «Спор о “вечном” самодержавии», которую и намерен я предложить читателю, рискуя даже тем, что она может остаться незаконченной.

Впрочем, если честно, для того чтобы ввести читателя в суть ситуации, в которой оказался я, вернувшись в отечество, достаточно, наверное, одного вполне нейтрального отзыва профессора МГУ А.А. Левандовского: «Александр Янов впервые попытался противопоставить свободу как равноценную альтернативу деспотизму в России, впервые с поразительной

энергией и целеустремленностью занялся поисками ее проявлений на самых разных этапах русской истории. О результатах можно спорить, но поиск этот самоцелен, он производит очень большое впечатление. В мощный интеллектуальный поток, проходящий через всю трилогию Янова, право, стоит погрузиться...»

Если бы я искал одну-единственную фразу, чтобы завершить это затянувшееся Введение, то вот она: «не погрузились, но отвергли». Я не знаю, как сделать, чтобы «погрузились». В моем арсенале лишь один аргумент: история России как она была. Только, в отличие от оппонентов, я веду ее не от мрачного сегодняшнего дня в прошлое, но от европейского ее начала – в европейское завтра. И потому важно для меня все, что мои оппоненты считают несущественным, т.е. каждое из одиннадцати поражений свободы в прошлом, каждая из ошибок. Важны для того, чтобы НЕ ПОВТОРИТЬ их в предстоящем двенадцатом – возможно, решающем – «прорыве». Вот зачем зову я читателей в прошлое.

Да, большинство, апеллируя к текущей «ментальности», сомневается, состоится ли он, этот «прорыв», вообще. Но я-то ведь знаю, что само это сомнение не более чем типичный, регулярный, я бы сказал, хронический симптом той же гибридной государственности. Разве не сомневались в «прорыве» при Брежневe? Разве не поднимали тогда бокалы диссиденты «за успех нашего БЕЗНАДЕЖНОГО дела»? И разве снова не победила в одиннадцатый тогда уже раз история?

Для меня вопрос в другом. В том, сумеем ли мы довести до ума очередную победу истории, уничтожить гибрид, не дать ему больше шанса на возвращение. Не

случайно ведь столько раз до этого пробовали, не получалось. Как могла бы помочь история, чтобы получилось? Вот о чем, в конечном счете, буду я в этой книге спорить с оппонентами.

Приглашаются к спору все, кому важно прошлое – и будущее – отечества. А теперь слово Льву Регельсону и Леониду ПОЛЯКОВУ.

Лев РЕГЕЛЬСОН (историк русской церкви).

«Самодержавию Ивана Грозного предшествовал абсолютизм “европейского типа”»

На днях в Интернете я вычитал одну замечательную фразу: «Интеллигентный человек, который не читал Янова, – это нонсенс». Это сказал Зимин Дмитрий Борисович, который здесь присутствует. Понимаю вашу реакцию: я тоже устыдился, потому что сам не так давно полностью прочел трилогию, хотя с деятельностью Александра Львовича знаком еще с 1970-х годов. Мне бы хотелось высказать пожелание, чтобы после нашего собрания эта фраза Зимина вошла в жизнь. Чтобы интеллигентному человеку было стыдно, если он не читал Янова.

Поверьте, вы не пожалеете затраченного времени: это захватывающее чтение. Проблемы, которые поднял автор, горят в каждом из нас: Россия и Европа, модернизация и традиция, отношения общества и власти – без решения этих проблем мы не можем определить свою личную позицию в сегодняшней жизни. Трилогия Янова, которую мы обсуждаем, – это живая, открытая книга, побуждающая к размышлениям, к внутреннему спору, к развитию одних идей и критическому отношению к другим. Такие качества обеспечивают работе Янова долгую жизнь. У нее обязательно найдутся не только критики, но и продолжатели.

Трудно определить жанр этой работы, и я не буду его определять. Сам Янов говорит: «Я написал картину». И надо сказать, это и в самом деле художественно мощно написанная картина: она переворачивает все наши стереотипные представления о русской истории, которая предстает у Янова как великая, захватывающая драма идей. Он, по существу, предлагает новую систему координат, создает, по завету Георгия Федотова, «новую схему национальной истории».

Образ России, нарисованный Яновым, приводит к выводу: мы не азиаты «с раскосыми и жадными очами», не «щит между двух враждебных рас» и не «мост между Европой и Азией». Мы – не Евразия и не Азиопа; мы, при всем нашем своеобразии, просто Европа (в Европе ведь все очень разные!). Янов доказывает это на огромнейшем материале, с необычайной силой выстраданного убеждения. Почему же его идеи так трудно входят в сознание, почему вызывают такое непонимание и отторжение – как на Западе, так и в самой России?

Главная причина в том, что мифологическое сознание (со знаком плюс или минус) радикально искажает восприятие русской истории, приводит к потере чувства реальности. И, как следствие, к неадекватной реакции на вызовы сегодняшнего дня. Надо ли объяснять, что такая неадекватность самосознания чревата стратегическими поражениями и даже национальными катастрофами? Демифологизация исторического сознания требует огромных усилий ума и сердца, глубокого чувства ответственности за судьбу своей страны и своего народа.

Для большинства здесь присутствующих попытка разгадать тайну русской истории была задачей важной, но все же не единственной. Для Александра

Львовича Янова это стало делом всей его жизни: Он за всех нас выполнил эту гигантскую работу, и теперь невозможно двигаться дальше, не усвоив результаты этой работы.

Как правило, никто не сомневается в европейском характере Киево-Новгородской, домонгольской Руси. Но существует расхожее мнение, что монгольское иго радикально изменило общественный и политический архетип русского народа. Был народ европейский, а стал – совсем другой. А дальше начинаются споры, какой именно. Но почему-то испанцы остались испанцами за 700 лет арабского владычества; греки, сербы или болгары сохранили свою идентичность после 400 лет владычества турецкого, а русские (и только русские!) перестали быть самими собой из-за того, что 250 лет выплачивали дань Золотой Орде! А между тем ведь даже оккупации русской земли в те времена не было, были только эпизодические карательные набеги.

Янов буквально камня на камне не оставляет от этого абсурдного, но почему-то невероятно цепкого мифа – о коренном изменении русской ментальности под влиянием монгольского ига. Рассматривая становление послемонгольской московской государственности – от Ивана III до раннего Ивана IV, он называет тот период «европейским столетием России». Для доказательства этого центрального тезиса, который для многих звучит совершенно неожиданно, Янов вводит очень важное понятие – «латентные ограничения власти». Оттого что эти ограничения не были зафиксированы в виде свода законов и конституции, мы их и не воспринимаем как реальность.

Для историков неформализованное, «латентное» – это что-то эфемерное, как бы несуществу-

ющее. Однако в Московской Руси общественная и политическая жизнь строилась как раз на традициях, обычаях, поведенческих нормах (впрочем, и Европа с этого начинала). Да, эти нормы не были законодательно оформлены, но они действовали не менее мощно, чем в Европе того времени.

Как и везде в Европе, в России складывалась сильная центральная власть, которая мирными и военными средствами собирала земли, боролась с анархией и местничеством, постоянно мерилась силой со своими соседями.

Но при этом московские государи были вынуждены считаться со множеством традиционных ограничений. Они были вынуждены считаться с сословными привилегиями боярства, духовным авторитетом Церкви, крестьянским землевладением и правом крестьян на переход (Юрьев день).

Типичным европейским монархом Александр Янов считает Ивана III, которому приходилось лавировать, искать союзников, противопоставлять друг другу противников, создавать сложную систему сдержек и противовесов.

И опять-таки точно так же поступали все европейские государи. При этом на рубеже XV–XVI веков в Москве кипела интеллектуальная жизнь, свободная (по меркам позднего Средневековья) религиозная полемика, сталкивались конкурентные общественно-политические проекты. И наконец, бурно развивалась экономическая жизнь. Короче, то была самая натуральная Европа, ничего общего не имеющая с восточной деспотией.

А что мы знаем об этой эпохе русской истории? Да ровным счетом ничего.

Значит, пришло время узнать.

Леонид ПОЛЯКОВ (заместитель декана факультета прикладной политологии ГУ-ВШЭ).

«Русские европейцы, претендующие на политический успех, не могут относиться к истории своей страны как к истории Азиопы»

С Александром Яновым я знаком с 1991 года. Он тогда приехал в Россию, и идеи у него были те же, что и сейчас. Во всяком случае, мысль о том, что русский либеральный проект должен получить какой-то исторический бэкграунд, Александром Львовичем высказывалась, я это хорошо помню. Что касается европейскости, то он понимает ее, прежде всего, политически – как договорную природу власти. Для него это самое главное.

Как я отношусь к концепции Александра Львовича? Для меня это вопрос не отвлеченной науки (в данном отношении Янов точно не историк), а практическо-политический. Чтобы российские либералы смогли сформулировать свои притязания не просто на власть, а на национальное лидерство, т.е. выступить от имени большинства, они должны иметь за собой очень серьезную политическую традицию. И Александр Львович задает им всем очень больной вопрос: если вы, российские либералы, хотите эту власть получить демократически, по-европейски, то как совместить это с вашим нежеланием считать Россию европейской страной? Ведь если она не Европа, а Азиопа, то вы должны выступать за авторитарную модернизацию сверху, за принудительное внесение вируса европейскости в эту азиопскую почву, которая из себя самой не может породить демократию и либерализм.

Тогда вы должны быть готовы к тому, что вам скажут: при таком отношении к стране и ее истории вы можете внедрять свои идеи только теми же способами, которыми Петр I и Сталин внедряли идеи противоположные. И что вы на это возразите?

Возразить нечего. А все потому, что изначальная установка была совершенно неправильная. Она несовместима с желанием получить власть демократическим путем и легитимировать ее именно как либеральную и демократическую. Что в такой ситуации было бы выгодно, какое поведение было бы политически технологичным? Неужели такое, при котором избирателю постоянно внушается, что он живет в стране с тысячелетней холопской традицией, что его предки – сплошные уроды, которые никогда не могли даже себя защитить, что их все время грабили, что вся Россия – это некое проклятое Богом пространство? Или, наоборот, такое, при котором население убеждают в том, что мы такие же европейцы, как и немцы, французы или поляки?

Александр Львович Янов, по-моему, просто гениальный политтехнолог, в своем отечестве не признанный. То, о чем я сейчас говорю, он говорил задолго до меня много раз. Дискуссия, похожая на сегодняшнюю, была в 1990-х годах, и Янов тогда в одном из журналов опубликовал статью – своего рода вызов российским либералам. Что ж вы пилите сук, на котором сидите? – спрашивал он. Зачем все время внушаете народу, что единственная политическая традиция, которая у нас есть, – это традиция, идущая от Ивана Грозного? Вместо этого, призывал Янов, давайте буквально по крупичкам раскапывать нашу либеральную предоснову.

Давайте говорить о Судебнике 1550 года и его 98-й статье, о Михаиле Салтыкове и «верховниках», давайте говорить обо всем том, что может свидетельствовать о нашей европейскости в прошлом, чтобы исторически легитимировать нашу европейскость в настоящем и будущем. Но, судя по сегодняшней дискуссии, и сейчас большинство тех, к кому он обращается, прислушиваться к Янову не расположено. Мы отвечаем ему, что судебники были в одном экземпляре и ни на что влиять не могли. А можно ведь этот факт интерпретировать и иначе. Да, всего один экземпляр, но он хранился в царской казне, в самом центре, что соответствовало его значимости и для царя, и для его бояр, и обе стороны знали, что такой документ существует и что соблюдение его для всех обязательно. В одном и том же можно увидеть пустую бумажку, а можно – исток законодательного ограничения власти на Руси, важное свидетельство ее европейскости. Вот две точки зрения на русскую историю, из которых предстояло и предстоит выбирать. Во второй из них есть не только европейская ретроспектива, но и европейская перспектива для России. А что в первой?

Я всегда симпатизировал тому, что делал Александр Львович. Мне импонирует то, что он сохраняет поразительное родство со своей страной. А также то, что он писал и пишет. До сих пор помню его блистательный текст в «Вопросах литературы» – очень продвинутом в середине 1970-х годов журнале, публиковавшем очень смелые статьи о русской истории и русской литературе. Текст Янова был о Константине Леонтьеве – фигуре в те времена запретной, и это создало вокруг Александра Львовича неблагопри-

ятную для него атмосферу³. И вскоре он из страны вынужден был уехать. Это было 35 лет назад, а итогом его жизни за границей стал этот вот трехтомник о русской истории и русской современности. И он в нем, как и раньше, уговаривает своих идейных единомышленников: друзья мои, ну согласитесь же с тем, что Россия – страна изначально европейская, а не азиатская и холопская! Но будет ли он услышан?

³ Статья публикуется, как Приложение к этой книге, только опубликована она была в «Вопросах философии», 1969, № 8, Л.В., вероятно, спутал ее с моей статьей «Загадка славянофильской критики», действительно опубликованной в «Вопросах литературы» (1969, № 5). Мудрено ли, 40 лет прошло?

Глава 2

ЗАМЕТКИ ПО СЛЕДАМ ДИСКУССИИ

В двух словах – хорошая дискуссия. Она вскрыла старые раны, поставила проблему и дала если еще не надежду, то, по крайней мере, намек на надежду, что возрождение либеральной (европейской) традиции в России возможно.

Мне, конечно, предстоит сейчас отвечать если не на все, то хоть на главные поставленные в дискуссии вопросы. Но прежде хотелось бы поблагодарить всех, кто посвятил целый вечер своей жизни, чтобы послушать обмен мнениями по вполне, казалось бы, абстрактной проблеме. Особенно, разумеется, признателен я большинству выступивших на этом обсуждении. Во всяком случае, тем из них, кто старался следовать удивившему меня своей точностью введению Игоря Моисеевича Клямкина: «Если [европейской традиции] в российской истории не было, а было лишь «тысячелетнее рабство» и «ордынство», то у нас с вами нет не только прошлого, но и будущего».

И правда же, в том и состоит величайшая беда российского либерального сообщества, что оно потеряло свою традицию. В конце XIX века оно ее еще смутно помнило, а в конце XX забыло. Без традиции, однако, как объяснил нам один из самых опытных в этих сюжетах людей, лорд Бенджамин Дизраэли, на

которого я ссылаюсь в трилогии, жизнеспособного политического движения быть не может. Говоря современным языком, вот же чему на самом деле учит нас Дизраэли: без восстановления корней, без возрождения традиции нам из политического гетто не вырваться. **Никогда.**

Но можно ли возродить утраченную традицию? Не знаю. Исторический опыт, однако, подсказывает, что во многих случаях можно. В споре с британским марксистом Эриком Хобсбаумом, которого очень хвалил здесь Эмиль Паин, я сослался в трилогии на серию примеров таких возрожденных традиций. Вот лишь один из них – самый, пожалуй, неожиданный. Ну кто мог бы подумать еще полвека назад, что воскреснет после полутора тысяч лет забвения традиция всемирного Исламского халифата и что во имя ее снова, как в глубоком Средневековье, будут убивать людей?

Но если возрождаются даже давно забытые традиции, то почему бы не могла возродиться и традиция отечественного либерализма, пусть и порожденная еще европейским столетием России в XV–XVI веках, но потерянная сравнительно недавно? Ведь и требуется для этого всего лишь очистить российскую историографию от мифов. Здесь читатель, боюсь, вздохнет: ничего себе «всего лишь»...

Так или иначе, прав Лев Львович Регельсон: суть трилогии «Россия и Европа. 1462–1921», которая и была предметом дискуссии, действительно *в попытке возродить либеральную традицию России*. И потому наибольшая моя признательность именно Льву Львовичу, с таким достоинством представлявшему меня в дискуссии. Едва ли я и сам сделал бы это лучше.

Понятно, что он не мог за меня ответить на все вопросы, поставленные на обсуждении. Но этого ведь и никто, кроме автора, не смог бы.

ПОТЕРЯННЫЙ КЛЮЧ К САМОРАЗВИТИЮ

Сначала, однако, придется мне заметить с огорчением, что самые существенные темы трилогии в дискуссии вообще не прозвучали. Спор шел, увы, в рамках все той же парадигмы (или «старой национальной схемы»), которую с презрением отверг еще Георгий Петрович Федотов. Помните, «она давно уже звучит фальшью»?

Для дореволюционных русских историков Россия была лишь запоздалой Европой. Для того, что я называю Правящим Стереотипом мировой историографии (впредь я буду называть его для краткости просто Правящим Стереотипом), Россия – «азиатская империя», будь то монгольская по происхождению, или византийская, или «эллинистическая». Вот и на обсуждении опять спорили о том же – Европа ли Россия, или не Европа.

Но ведь трилогия моя не о том. Я пытаюсь сломать как «старую национальную схему», так и Правящий Стереотип, с которым и пришлось мне главным образом в трилогии сражаться. Я предлагаю новую «национальную схему» и действительно, как иронизировал Игорь Клямкин, «сознательно противопоставляю ее чуть не всей отечественной и западной русистской историографии».

Да, Россия, как, впрочем, и Германия до 1945 года, Европа по рождению и культуре в широком смысле слова. Но, как та же Германия, Европа с изъясном, «испорченная Европа», если можно так выразиться.

«Испорчена» Россия двойственностью своей политической культуры, мощью своей патерналистской традиции, лишившей ее способности к самопроизвольной политической модернизации. Вот почему двойственность политической культуры России – ключевое понятие трилогии.

Я повторяю это не только в каждом томе, но, рискуя появлением «стилистических разногласий» с Никитой Павловичем Соколовым, которого эти повторения раздражают, чуть ли не в каждой главе. К сожалению, однако, несмотря на эти повторения, никак эта ключевая мысль в ходе дискуссии практически не прозвучала. Отчасти, конечно, потому, что большинство выступавших трилогию не читали. Я понимаю, одолеть двухтысячестраничную махину не всем в наше суетное время под силу. Немножко, я надеюсь, поправит дело коротенькая брошюра «Европейское будущее России?», опубликованная по инициативе Дмитрия Борисовича Зимина фондом «Династия», в которой вступительные главы ко всем трем томам трилогии довольно удачно сведены воедино. Одолеть стостраничную брошюру, согласитесь, все-таки проще.

Так или иначе, здесь самое время ответить на основополагающий вопрос Андрея Илларионова. Он настойчиво допытывался, что «понимается уважаемыми коллегами под термином «европейская традиция», под термином «Европа», под термином «европейская цивилизация». И впрямь, без выяснения этого предмет спора повисает в воздухе.

Само собою, определение «европейскости» повторяется в трилогии многократно. Но повторяю снова: особенность европейской государственности – в

ее способности к самопроизвольной политической модернизации, короче, к саморазвитию. В отличие от всех других форм модернизации – экономической, культурной, церковной – политическая модернизация, если отвлечься на минуту от всех ее институциональных сложностей вроде разделения властей или независимого суда, означает, по сути, нечто вполне элементарное: **гарантии от произвола власти**. Именно благодаря этой своей способности и сумела Европа вырваться из омыта деспотической стагнации, господствовавшей в политической вселенной на протяжении тысячелетий.

Россия, как и все европейские страны, обладала этой способностью вплоть до второй половины XVI века. То есть до момента, когда восторжествовавшая иосифлянская Контрреформация вдохновила Грозного царя на самодержавную революцию, резко усилившую патерналистскую составляющую русской политической культуры и сумевшую институционализировать ее в таких инертных нововведениях, как крепостное право. С этого момента Россия и оказалась «испорченной Европой» и начала вести себя очень странно. Например, время от времени противопоставлять себя миру, непременно сопровождать каждую реформу контрреформой и впадать в политический ступор после контрреформы. Одним словом, стала непредсказуема не только для соседей, но и для самой себя. Короче, она потеряла ключ к саморазвитию.

Так в самой сжатой форме могу я здесь ответить на вопрос Андрея Илларионова. Подробный ответ – в трилогии.

«ВТОРОЙ ФРОНТ»

Другая тема, не прозвучавшая в дискуссии, – постоянное в первом томе сравнение России (североевропейской в начале своей государственности страны) с ее североевропейскими же соседями, со Швецией, Данией и Норвегией. Это сравнение ценно не только потому, что культурно и климатически они были ближе всего к тогдашней России. Первостепенно важно и то, что их тоже застигло «второе издание крепостного права», распространявшееся, подобно лесному пожару, в XV–XVI веках по всей Европе к востоку от Рейна.

У них, у соседей, тоже треть всего земельного фонда страны была, как и в России, захвачено монастырями. И, соответственно, были свои яростные идеологи монастырского стяжания, тамошние, если хотите, иосифляне.

И агрессивное помещичье лобби, армейское, так сказать, офицерство, настойчиво добивавшееся от правительства прикрепления крестьян к земле, тоже у соседей было. И, как в России, создавались у них грозные военно-церковные блоки, опираясь на которые какой-нибудь чрезмерно честолюбивый король тоже мог, если угодно, устроить brutальную самодержавную революцию со всеми художествами опричнины. И были у них, наконец, и свои нестяжатели, столь же страстно, как и в России, агитировавшие против церковного «любостяжания».

Короче, североевропейские соседи балансировали на грани той же пропасти, что и Россия. Упасть в нее означало изменить судьбу страны до неузнаваемости. Означало крушение традиционного политического строя, разгром аристократии и тотальное

порабощение большинства соотечественников. На-долго, на столетия. В том-то, однако, и загадка, что балансировали соседи на краю той же пропасти, но, в отличие от России, в нее не упали. Почему?

Не странно ли, что отечественные историки никогда не задали себе – и поныне не задают – этот простой вопрос? Тем более это странно, что, если все-таки его задать, как я в трилогии сделал, разгадка оказывается сравнительно несложной. Да, северо-европейские короли уступили давлению помещичье-го лобби и разрешили ему закрепостить крестьян. Но – только на конфискованных у церкви землях. Таким образом и раскололи они могущественный военно-церковный блок, и, насмерть поссорив помещиков с церковниками, предотвратили у себя самодержавные революции.

Разумеется, соседи, подобно Ивану III, вступили для этого в союз со своими нестяжателями, изолировав иосифлян. Только дед Ивана IV, родоначальник европейской России, довести дело до ума не успел, возникавший военно-церковный блок не разрушил. Что было дальше, известно. Попавший под влияние иосифлян внук, разогнав свое реформистское правительство, сделал прямо противоположное тому, что завещал ему дед.

Разница с соседями очевидна. Конечно, и у них на конфискованных монастырских землях наступил помещичий «рай». Крестьяне были прикреплены к земле, повсеместно была введена барщина и – никакого Юрьева дня.

Но... Но основной массив крестьянских земель остался нетронутым, большая часть крестьянства по-прежнему была свободной. Не менее важно и то,

что уцелела и аристократия, что не превратилась она в рабовладельческую. Вековая драма русской аристократии, которой уделено в трилогии так много места, была у соседей предотвращена. Так или иначе, в XVII веке, когда российское крестьянство было уже безнадежно – и тотально – закрепощено, в Дании несли барщину лишь 20% крестьян. И эта разница изменила все будущее североевропейских соседей России.

Я не стану здесь повторять, откуда она взялась. Господа историки, не поленитесь прочитать трилогию: там все объяснено подробно. Одно, во всяком случае, ясно – Игорь Григорьевич Яковенко со своим категорическим утверждением, что «у Александра Янова Грозный предстает как *deus ex machina*», оскандалился очевидно. Оскандалился, ибо на самом деле, как детально показано в трилогии, самодержавная революция назревала в России на протяжении столетий! А смысл дела простой: тогдашнее Московское государство оказалось слабее иосифлянской иерархии, сумевшей, в отличие от североевропейских коллег, отстоять свои земные богатства.

Какая уж там «идеологически санкционированная деспотия» (термин Яковенко), если оказалось московское правительство неспособно добиться даже того, чего добились обыкновенные абсолютные монархии в Северной Европе? Какой *deus ex machina*, если борьба вокруг монастырского землевладения (а, следовательно, и вокруг военно-церковного блока, сделавшего возможной опричнину), началась еще в 1480-е? Какое отсутствие частной собственности (это опять же Яковенко), если не сумело Российское государство справиться с корпоративной собствен-

ностью монастырей на протяжении трех столетий? А с частной собственностью дворянства, овладевшего после опричнины «крепостными душами», – до самой Великой реформы 1860-х? А с собственностью его на землю – вообще никогда?

Легко упростить, если хотите, вульгаризировать сложнейшее переплетение и противоборство социальных сил и жестокую политическую борьбу, результатом которой стали самодержавная революция и крепостное право в России.

Особенно легко это, когда не знаешь материала. Игорь Яковенко его, к сожалению, как мог убедить – читатель, не знает. Право, мне было просто неловко слышать из уст серьезного, проницательного ученого, можно сказать, «производителя смыслов» в своей науке, все процитированные выше категорические высказывания, столь явно заимствованные из Правящего Стереотипа. Но главное, зачем такому человеку ставить на кон свою репутацию, вторгаясь в незнакомую ему область? Неужели только затем, чтобы подорвать возрождение либеральной традиции в России?

И ведь Яковенко вовсе не был одинок в дискуссии. Та же история и с прекрасным в пределах своей «грядки» специалистом Игорем Николаевичем Данилевским, который совершенно очевидно «плышет», едва выходит за ее пределы. И то же самое с замечательным «эксперткротом» Андреем Анатольевичем Пелипенко, которого я впервые вижу всерьез рассерженным на то, что «исторические события» – ему, как он сам признается, «неинтересные», – не укладываются в спекулятивные схемы Правящего Стереотипа.

Как бы то ни было, вот он здесь, перед читателем, мой «второй фронт», о котором говорил на обсуждении Лев Львович Регельсон. Из-за этого и пришлось мне завершать трилогию главой «Последний спор» и заново в ней перевоевать, если можно так выразиться, уже законченную войну – на новом фронте. Очень трудно будет возродить либеральную традицию России, как продемонстрировала, между прочим, и наша дискуссия, покуда у Правящего Стереотипа столько талантливых – и самоотверженных – союзников дома.

СТАРИННЫЙ ДИСПУТ

Вообще-то, не так уж и сложно объяснить, почему реалии российской истории, говоря словами Льва Львовича, «так трудно входят в сознание, почему вызывают такое непонимание и отторжение – как на Западе, так и в самой России». Относительно Запада, впрочем, объяснить это много проще. Если вокруг консенсус и тебя так учили, если ты заранее знаешь, что Россия «азиатская империя», то результат твоего исследования, по сути, предзадан. И все, что в постулат не укладывается, просто проходит мимо твоего сознания.

Вот смотрите. Я рассказал в трилогии, как спорил в 1977 году на Би-би-си с одним из лидеров Правящего Стереотипа Ричардом Пайпсом. И неожиданно обнаружил, что он, автор классической «**России при старом режиме**», ничего толком не знает о Михаиле Салтыкове. Пайпс ужасно удивился, когда я спросил его, откуда взялся в России начала XVII века подробно разработанный проект конституционной монархии, подобного которому не знало никакое

другое европейское государство. Это легко проверить: в именном указателе его книги даже Салтычиха есть, а Салтыкова нет.

Хуже того, не знал он и о жесточайшей идейной войне между иосифлянами и нестяжателями, продолжавшейся, между прочим, четыре поколения. Не знал ни о том, что вдохновителем этой борьбы был Иван III, ни о том, что и сам великий князь был под влиянием нестяжателей. Не знал, несмотря на то, что писали об этом практически все историки русской церкви, не говоря уже о блестящей плеяде советских медиевистов-шестидесятников, детально исследовавших эту проблематику.

Вот что писал, например, о «странном либерализме Москвы» А.В. Карташев: «Лукавым прикрытием их [великого князя и его окружения] свободомыслию служила идеалистическая проповедь свободной религиозной совести целой школы, так называемых, заволжских старцев». Конечно, будучи иосифлянином, Карташев говорил о «странном либерализме Москвы» враждебно.

Но Пайпс-то вообще ни о чем подобном не ведал. Стереотип не позволил ему это даже заметить.

Какой, в самом деле, либерализм в «патримониальном государстве», да еще в XV веке, за два столетия до Петра, прорубившего в нем окно для западных идей? Какая идейная война, тем более такой остроты, что доставалось порою за «свободомыслие» и самому великому князю – и не только от позднейших иосифлянских историков, но и от современников? Разве согласился бы самодержавный владыка терпеть публичный выговор от монаха за то, что, посягая на церковные земли, оказался он, мол, вовсе и не царем,

а «неправедным властителем, слугою дьявола и тираном»?

Пайпс, понятно, знал, что сделал Грозный с митрополитом Филиппом. Но понятия не имел, что при Иване III ни одного волоса с головы дерзкого монаха не упало, что, напротив, после такого серьезного, согласительного, выговора, можно сказать призыва к мятежу, пригласили Иосифа Волоцкого на аудиенцию, и государь предложил ему компромисс (который жестоковывыйный монах, впрочем, отверг). Короче, в 1977 году Пайпсу было совершенно ясно, что ничего подобного в «патримониальной России» быть не могло.

Я же утверждал, что было. И подтвердил это документально. Наверняка у Пайпса должно было сложиться обо мне примерно такое же впечатление, какое сложилось у Андрея Пелипенко, когда он впервые лет 15 назад слушал мой доклад на семинаре Александра Самойловича Ахиезера. Напомню, если кто забыл: «Я просто не поверил, что столь фантастически преобразенную картину российской либеральной традиции можно рисовать всерьез. Тогда я, грешным делом, заподозрил автора в либеральной ангажированности». Это Пелипенко пишет уже сейчас в приложении к стенограмме дискуссии.

В диспуте с Пайпсом, однако, все документальные козыри история сдала мне. Поэтому спор он проиграл. И – о чудо(!) – 12 лет спустя появляется его новая книга, в которой он, пусть косвенно, но признал мою правоту. Я говорю о книге «Русский консерватизм и его критики», в большом сегменте которой, сопоставимом по размеру с главой «Иосифляне и нестяжатели» в трилогии, подробно об-

суждается то, чего, исходя из его концепции, в России быть не могло. И более того, подчеркивается «роль замечательной фигуры того времени Василия (Вассиана) Патрикоева».

Правда, Салтыков отсутствует и в именном указателе новой книги. Зато имена Нила Сорского, Иосифа Волоцкого, не говоря уже о Вассиане, повторяются многократно. Разумеется, иосифлянско/нестяжательская контроверза никак не стыкуется с остальным текстом и выглядит в новой книге Пайпса совершенно инородным телом. Того, что от исхода этого спора зависело будущее страны, Пайпс не понимает по-прежнему. Напротив, подчеркивает, что «политическая дискуссия началась около 1500 года в связи с вопросом, который может показаться достаточно второстепенным, – в связи с монастырским землевладением». На самом деле в 1500 году спор, начавшийся за два десятилетия до этого, близился к кульминации. И решался в нем, как мы уже знаем, не второстепенный вопрос, а судьба России.

И, конечно же, роль в этом споре великого князя объясняется вовсе не его «странным либерализмом» и не тем, что он «обратил жадный взгляд на владения монастырей». Но, по крайней мере, признает теперь Пайпс, в отличие от И.Г. Яковенко, что идейная война в европейском столетии России шла не по поводу какой-то невнятной «монастырской инициатической традиции» (опять-таки определение И.Г.), но о вещах первостепенно серьезных: «Борьба [между Вассианом Патрикоевым и Иосифом Волоцким] велась за самую суть русского христианства».

Косвенно подтверждает это и сам Иосиф в своей знаменитой жалобе: «В домах, на дорогах, на рынке

все – иноки и миряне – с сомнением рассуждают о вере, основываясь не на учении пророков, апостолов и святых отцов, а на словах еретиков, отступников христианства, с ними дружатся, учатся у них жидовству. А от митрополита еретики не выходят из дому, даже спят у него». Так вот же они, «Московские Афины», которые категорически отрицает Пелипенко. Не я, современник этих «Афин» ему противоречит. Он, а не я, обращает внимание на то, как горячи, как страстны и, главное, как массовы были споры – «в домах, на дорогах, на рынке».

Нет, я ни на минуту не утверждаю, что отступление Пайпса, пробившее гигантскую брешь в его теории «патримониальной России», произошло под влиянием поражения в нашем диспуте или моей книги «The Origins of Autocracy», которую он, несомненно, читал (не мог не читать, уж очень много она наделала шума в начале 1980-х, и слишком много говорилось в этой книге о нем).

Зато уверен я в другом. В том, что Пайпс, как все в Америке, видел своими глазами, пусть по телевизору, в 1989–1991 годах неожиданное возрождение тех же «Московских Афин», на которые так горько жаловался пять столетий назад благоверный Иосиф. Ведь именно массовость этих современных споров «в домах, на дорогах, на рынке» и похоронила на самом деле советологию...

САЛТЫЧИХА И САЛТЫКОВ

Новая книга Пайпса – довольно точный пример того, как обстоит дело с неприятием моих идей на Западе. Отчаянно медленно пробиваются робкие ростки реальности российской истории сквозь жест-

кую кору Правящего Стереотипа. Хотя старейшина американской русистики Сэмюэл Бэрн еще в начале 1980-х заметил в *Slavic Review*, что «Янов, по существу, сформулировал новую повестку дня для исследователей эпохи Ивана III», аукнулась эта рекомендация в новой книге Пайпса лишь четверть века спустя. Пусть Салтычиха все еще важнее для него, чем Салтыков, но Вассиан, о котором он еще в 1977-м понятия не имел, уже «замечательная фигура».

Важно, однако, что для Игоря Яковенко и его единомышленников никакого Вассиана не существует и поныне. И в этом суть проблемы. Как и четверть века назад, отказывается Россия поддержать попытку возродить отечественную либеральную традицию, не готова вступить за нее в борьбу с могущественным Правящим Стереотипом. Более того, слишком многие из ее либеральных историков и мыслителей (об «экспертократах» я уже и не говорю) вообще предпочитают идолов этого Стереотипа возрождению либеральной традиции России. И потому не станет, боюсь, прошедшая дискуссия началом серьезной кампании за ее возрождение. Несколько голосов, безоговорочно поддержавших мою попытку, напоминают, согласитесь, скорее партизанское ополчение, бесильное перед регулярной армией Правящего Стереотипа и его отечественных союзников.

Можно, конечно, попытаться этих людей пристыдить, как сделал Леонид Владимирович Поляков. В конце концов, очевидно же: закрепись в сознании большинства соотечественников мысль, что Россия всегда, с самого начала своей государственности, была «страной рабов, страной господ», то такой ведь она и останется. Можно даже спросить отече-

ственных союзников Правящего Стереотипа, хотят ли они, чтобы и дети их жили в такой стране. Но поможет ли это?

Если так, однако, то в чем же тот намек на надежду, с которого я начал? Думаю, он в либеральном энтузиазме не только таких представителей старшего поколения, как Эмиль Паин, о. Глеб Якунин или Лев Регельсон, но и – что особенно важно – молодых наших преемников, как Никита Соколов, Ирина Карацуба или Кирилл Батыгин. А также в тех сдвигах, которые чудятся мне в здоровом скептицизме Игоря Клямкина, задавшего очень серьезные вопросы, на которые я тотчас же и принялся бы отвечать, когда б не...

ТРЕТЬЯ ПРОПУЩЕННАЯ ТЕМА

Речь об Иваниане, занявшей треть первого тома и, с моей точки зрения, представляющей его сердцевину. Поверьте, это изнурительная работа: впервые собрать по кусочкам все, что говорили, писали и думали о Грозном царе историки, мыслители, поэты и художники, выяснить, как и почему столько раз кардинально менялся в их глазах его образ на протяжении четырех столетий. Результатом, однако, была, по существу, история общественной мысли России. И теперь, заглянув в нее, Владимир Кантор, например, мог бы увидеть, что всего лишь повторяет своими словами идеи Сергея Соловьева, так же как Игорь Яковенко повторяет Константина Кавелина, а Игорь Чубайс – братьев Аксаковых.

И много еще чего могли бы узнать из Иванианы участники дискуссии. Допустим, о том, как объяснил я Андрею Пелипенко еще много месяцев назад в Интернете, что Сигизмунд Герберштейн ходил еще в ко-

ротких штанишках во времена «Московских Афин» и знать о них поэтому не мог. Даже в эпоху Интернета и телевидения трудно было бы поверить молодому иностранцу, прибывшему с официальным визитом в путинскую Россию, что каких-то два десятилетия назад в этой же стране кипела идейная и политическая жизнь, что «в домах, на дорогах, на рынке» бушевали публичные споры. Что уж говорить о Средневековье? А Пелипенко, как ни в чем не бывало, снова ссылается на Герберштейна, как на очевидца событий.

То же самое с Игорем Чубайсом, повторяющим уже лет 200 назад опровергнутую легенду, будто «Иван IV за всю свою жизнь погубил 3000 человек». Заглянув в Иваниану, узнал бы Чубайс, что погибло в то царствование больше миллиона человек, т.е. жизнью каждого десятого заплатила тогдашняя Россия за бесчинства «царя бешеного, купавшегося в крови подданных», по словам одного из самых уважаемых декабристов, М.С. Лунина.

Да что там говорить, много чего несерьезного – и нелепого – не прозвучало бы в дискуссии, загляни ее участники в Иваниану...

ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА ЕВРОПЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ?

А теперь, наконец, к вопросам Игоря Моисеевича Клямкина. Увы, заметки затянулись, и ответить здесь на все его вопросы не позволяет их формат.

Но на главное его несогласие с новой парадигмой ответить императивно. Оно – хронологическое. Нет, говорит Игорь Моисеевич, европейская традиция, которую я связываю с латентными ограничениями власти, никак не могла зародиться в самом начале русской государственности, в XV веке.

(Киевско-Новгородская Русь была, как я это понимаю, образованием еще протогосударственным, оттого и превратилась, в отличие от сложившихся государств, – скажем, Польши или Венгрии, тоже лежавших на пути завоевателей, – лишь в западную окраину великой степной империи.) Начаться могла эта традиция, думает Клямкин, только с середины истории русской государственности – с указа Петра III о вольности дворянской и с жалованных грамот Екатерины II. И в связи с этими грамотами возникает в России частная собственность.

Прав Игорь Моисеевич в одном: юридическое оформление получила европейская традиция России действительно лишь во второй половине XVIII века.

Но ведь во Франции получила она такое юридическое оформление значительно позже. Во всяком случае, еще при Людовике XIV, современнике Петра, и при XV и XVI Людовиках, т.е. до самой Великой революции, существовала европейская традиция практически во всех странах Европы, кроме Англии, лишь в той же форме **латентных** ограничений власти, что и в Москве Ивана III. На языке государственной (юридической) школы российской историографии (см. Иваниану), на котором говорит Клямкин, это должно было бы означать, что никакой европейской традиции не существовало тогда и в самой Европе. Если же говорить не о юридическом оформлении реальной истории, то хронологическая перетряска, на которой настаивает Игорь Моисеевич, уязвима как с точки зрения фактов, так и с точки зрения политической.

В самом деле, куда мы денем факт, что до самодержавной революции «правительственная деятель-

ность Думы имела собственно законодательный характер», в чем и состоит, по сути, главное открытие Ключевского? Куда денем мы факт, что Дума «была конституционным учреждением с обширным политическим влиянием, но без конституционной хартии»? На языке новой парадигмы это «без конституционной хартии» как раз и означает латентное ограничение власти. Причем несопоставимо более сильное ограничение, чем, допустим, во Франции Людовика XI, современника Ивана III, где ничего подобного и в помине не было.

И в первую очередь стояла Дума на страже – чего бы вы думали? – именно частной собственности, которой, согласно Правящему Стереотипу, не существовало в России до 1785 года, а согласно Игорю Яковенко – вообще никогда.

Прежде всего, конечно, озабочена была Дума защитой вотчинной, боярской собственности. И это очень хорошо знали крупнейшие литовские магнаты, массами устремившиеся, как доказал в своем классическом исследовании М.А. Дьяконов, в Россию со своими вотчинами в царствование Ивана III (см. гл. 3).

Игорь Клямкин объясняет это «окатоличиванием» Литвы. Но, во-первых, нисколько не помешало это «окатоличивание» тому, что с таким же энтузиазмом ринулись эти магнаты **обратно в Литву** после самодержавной революции Грозного. А во-вторых, и это главное, мыслимо ли представить себе, чтобы стали они рисковать своей собственностью, перебегая из страны, где никто не смел на нее покуситься, в страну, где она могла бы оказаться под угрозой конфискации по воле великого князя? Разве не следует из этого неопровержимо, что вотчинная собственность

была так же *гарантирована* в Москве Ивана III, как и в Литве?

Это факт настолько, впрочем, очевидный, что позволить себе его отрицать мог бы разве что либеральный культуролог, как Яковенко. Для остального человечества куда интереснее факт собственности крестьянской. Как узнали мы в 1960-е из обнаруженной А.И. Копаневым *Уставной грамоты трех волостей Двинского уезда 25 февраля 1552 года*, «концентрация земель в руках богатых крестьян приобрела в европейское столетие России весьма значительные размеры». Так не следует ли из этого, что и крестьянская собственность точно так же, как и боярская, была в тогдашней Москве гарантирована?

Короче, похоже, что Правящий Стереотип ошибся на два с лишним столетия! Частная собственность была гарантирована не в середине истории русской государственности, как следует из хронологии Клямкина, но уже в самом ее начале, в европейском столетии. И, между прочим, суть Великой Реформы 1550-х состояла не только в отмене «кормлений», но и в том, что она ввела вместо них в уездах крестьянское самоуправление, включавшее, естественно, и выборный суд, и налоговое самообложение. В трилогии об этом рассказано очень подробно. По всем этим причинам не выдерживает хронология Игоря Моисеевича критики с точки зрения исторических фактов.

С точки зрения политической, дело с этой хронологией обстоит еще хуже. Ибо выглядит она (и это отчетливо видно в Иваниане), скорее, как перелицованное славянофильство. В чем был смысл славянофильской историографии?

Отворил, мол, изменник Петр ворота русской крепости для соблазнительных, но пагубных для России западных идей – в частности, для идей, связанных с преимуществами правового государства. И в результате получилось что? «Историческая катастрофа», о чем нам еще раз напомнил уже в ноябре 2009 года современный славянофил Игорь Борисович Чубайс.

Но ведь хронология Клямкина предполагает примерно то же самое – только с обратным знаком. Согласно ей западные идеи, которым отворил ворота России Петр, сделали свое дело, положили начало ее европейской традиции. Иначе говоря, место идей византийских, которые, по мысли славянофилов (и Чубайса), могли бы сформировать пусть и неправовую, но зато высокоморальную русскую государственность, заняли идеи европейские, правовые. В обоих случаях, впрочем, речь об одном и том же – о **чужих** идеях, а не о корневых, отечественных. Наивно было бы полагать, что оппоненты европейской традиции России не воспользуются этой хронологической путаницей.

Увы, дальше не лучше. Если связь хронологии Игоря Моисеевича со славянофильской историографией косвенная (зеркальное отражение), то связь ее с Правящим Стереотипом – хотя бы через концепцию того же Ричарда Пайпса – прямая. Пайпсу эта хронологическая уловка необходима как способ примирить его теорию «патримониальной России», лишенной и частной собственности, и правового мышления, с ее историей после Петра и Екатерины, включая Великую Реформу 1860-х. Западные идеи играют в его концепции роль своего рода «живой

воды», влившей европейскую жизнь в пустыню азиатско-деспотической империи. Но российской-то историографии зачем идти в фарватере Правящего Стереотипа – если, конечно, считает она свою страну не азиатско-деспотической пустыней, но Европой (пусть и «испорченной»)?

Так что не прав Эмиль Паин, когда, противореча Бенджамину Дизраэли, представляет спор о происхождении европейской традиции в России «внутрисемейным спором историков». Принципиально важно, даже в самом приземленном политическом смысле, что «расколдовывание» России началось, извините за тавтологию, с начала ее государственного существования. Я думаю, что даже Пелипенко понял бы это, загляни он в трилогию. Впрочем, его, как мы знаем, «исторические события не интересуют». Но Игоря Клямкина они интересуют. Он, в отличие от Пелипенко, понимает, что без отечественной, т.е. **незаимствованной** ни из Византии, ни из Европы, либеральной традиции «наше историческое сознание обречено быть исключительно негативистским. А это значит, что тогда у нас нет в стране своего прошлого, а, следовательно, нет и будущего».

На другие вопросы Игоря Моисеевича ответы в трилогии содержатся. А если сформулированы они там неточно или неполно, я всегда буду рад ответить на них в рабочем порядке. Замечу здесь только, что если сравнить два царствования – Ивана III в Москве и уже упоминавшегося Людовика XI во Франции, вступившего на престол лишь годом раньше Ивана, – то, ручаясь, ни один историк не усомнится, что московский государь был несопоставимо более европейцем, нежели его французский коллега и современник.

Глава 3

ТАК БЫЛО ЭТО С НАМИ ИЛИ НЕ БЫЛО?

Маленький тест для читателя.

Согласно расхожему представлению, Москва на заре ее государственного существования была чем-то вроде подковки, зажатой между литовским молотом и татарской наковальней. Злая судьба заперла ее на скудном северном пяточке, где даже и хлеба вдоволь не произрастало. Нечто подобное древней Иудее, стиснутой между борющимися колоссами, Ассирией и Египтом, – с тем еще невыгодным для Москвы добавлением, что выхода к морю у нее не было и климат здесь был ужасный.

Другие могли позволить себе жить, как им заблагорассудится, Москва не могла. Ее «национальное выживание, – как объясняет нам британский эксперт Тибор Самуэли, – зависело от перманентной мобилизации ее скудных ресурсов для обороны». Это было «для нее вопросом жизни и смерти». Просто не существовало в такой ситуации других вариантов государственного устройства, кроме самодержавной диктатуры и тотальной милитаризации. Выбора не было. Такая страна могла жить лишь на осадном положении. Куда денешься, на войне как на войне.

Из этого географического представления и вырос мощный бастион современного мифа о «Рос-

сии – азиатском монстре». Ибо чем же еще, в самом деле, могла стать страна, напрягавшая все силы, чтобы просто выжить во враждебном окружении, если не «московским вариантом азиатского деспотизма?», – заключает Самуэли.

Представлению о том, что национальное выживание было главной заботой новорожденного Московского государства, не чужды и отечественные историки – даже те, кого оскорбляло отлучение России от европейской цивилизации. Вот, например, как формулировал этот миф Николай Павлов-Сильванский. «Внешние обстоятельства жизни Московской Руси, ее упорная борьба за существование с восточными и западными соседями требовали крайнего напряжения народных сил», в результате чего «в обществе развито было сознание о первейшей обязанности каждого подданного служить государству по мере сил и жертвовать собою для защиты русской земли».

Миф этот так уже почтенно стар, что вроде бы даже и неловко подвергать его сомнению. Я, однако, не первый, кто подвергает. Куда более авторитетные в русской историографии люди подвергали.

А.А. Шлецер, оставивший нам первую периодизацию русской истории, открывает третий её период именно временем Ивана III. И называет он его почему-то не эпохой национального выживания, а как раз напротив «Россия победоносная (*vitrix*)». В согласии со Шлецером описывает начало государственного существования России в царствование Ивана III (занявшее практически всю вторую половину XV века) один из самых авторитетных знатоков дела Сергей Михайлович Соловьев: «Относительно бед-

ствий политических и физических должно заметить, что для областей, доставшихся Иоанну в наследство от отца, его правление было самым спокойным, самым счастливым временем: татарские нападения касались только границ; но этих нападений было очень немного, вред, ими причиненный, очень незначителен... остальные войны были наступательные со стороны Москвы: враг не показывался в пределах торжествующего государства».

Где же «упорная борьба за существование»? Где корчи национального выживания? Если верить Шлецеру и Соловьеву, ничего этого просто не было. Как раз напротив, редко случалось в истории, чтобы юная страна была так обласкана судьбой, как Москва в эту первоначальную пору ее расцвета.

Кому же верить? Давайте не поверим никому и попробуем разобраться самостоятельно.

ПОВЕРКА МИФА

К счастью есть для этого один, хоть и косвенный, но в высшей степени эффективный способ. Я имею в виду вектор национальной миграции. Проще говоря, куда бегут люди – в страну или из нее. Не всем ведь нравится жить в условиях постоянной скудости и осадного положения. Ясно, что если тогдашняя Москва и впрямь была «московским вариантом азиатского деспотизма», граница между ней и Литвой должна была стать границей между Европой и Азией и, как к чуме, должно было относиться к ней литовское вельможество. В конце концов, тогдашняя Литва была европейской абсолютной монархией и вдобавок еще великой державой.

Показательна и позиция правительства в вопросах эмиграции. Немыслимо, согласитесь, представить себе брежневское Политбюро, выступающим с громогласными декларациями в защиту права граждан на свободный выезд из страны. Напротив, объявляло оно эмигрантов изменниками родины и рассматривало помощь им со стороны Запада как вмешательство в свои внутренние дела. Так и положено вести себя государству, из которого бегут.

Как же объяснить в таком случае, что в царствование Ивана III европейская Литва оказалась в ситуации брежневского СССР: а «деспотическая» Москва – в положение современного ей Запада? Невероятно с точки зрения мифа. Но факт.

Кто требовал наказания эмигрантов – «отъездчиков», кто – совсем, как брежневское правительство – клеймил их изменниками, «зрадцами», кто угрозами и мольбами добивался юридического оформления незаконности «отъезда»? Вильно. А кто защищал гражданские права и, в частности, право человека выбрать, где ему жить? Москва.

Цвет русских фамилий, князя Воротынские, Вяземские, Одоевские, Новосильские, Глинские, Трубецкие – имя же им легион – это все удачливые беглецы из Литвы в Москву. Были и неудачливые. В 1482-м, например, бояре Ольшанский, Оленкович и Бельский собирались «отсести» на Москву. Король успел: «Ольшанского стял да Оленковича», убежал один Федор Бельский. Удивительно ли, что так зол был литовский властитель на «зраду»? В 1496-м он горько жаловался Ивану III: «Князи Вяземские и Мезецкие наши были слуги, а зрадивши нас присяги свои, и втекли до твоея земли как то лихие люди; а

ко мне бы втекли, от нас не того бы заслужили, как тои зрадцы». Королевская душа жаждала мести. «Я бы, – грозился он, – головы с плеч поснимал твоим “зрадцам”, коли бы “втекли” они ко мне». Но в то-то и беда его была, что не к нему они «втекали».

А московское правительство изоцрялось тогда в подыскании оправдательных аргументов для королевских «зрадцев», оно их приветствовало и ласкало, королю не выдавало и никакой измены в побеге их не усматривало. Например, перебежал в Москву в 1504-м Остафей Дашкович со многими дворянами. Вильно потребовало их депортации, ссылаясь на договор, якобы обуславливавший «на обе стороны не приимати зрадцы, беглецов, лихих людей». Москва остроумно и издевательски отвечала, что в тексте договора сказано буквально «татя, беглеца, холопа, робу, должника по исправе выдати», а разве великий пан – татя? Или холоп? Или лихой человек? Напротив, «Остафей же Дашкович у короля был метной человек, и воевода бывал, а лихова имени про него не слышали никакова... а к нам приехал служить добровольно, не учинив никакой шкоды».

Видите, как *неколебимо* стояла тогда Москва за гражданские права? И как точно их понимала? Раз беглец не учинил никакой шкоды, т.е. сбежал не от уголовного преследования, он для нее политический эмигрант, а не изменник. Более того, принципиально и даже с большим либеральным пафосом настаивала она на праве личного выбора, используя самый сильный юридический аргумент в средневековых спорах: ссылку на «старину». Как писал в ответе королю Иван III: «и наперед того при нас и при наших предках и при его предках меж нас на обе стороны люди ездили без отказа».

На чем настаивает здесь великий князь? Не на том ли, что подданные короля (как и его собственные) не рабы, принадлежащие государству, а свободные люди? Разумеется, можно заподозрить его в лицемерии. Но и в этом случае «гарнизонная ментальность», преобладавшая, согласно мифу, в тогдашней Москве, просто неправдоподобна. Немыслимо ведь, чтобы брежневский СССР, в сколь угодно демагогических целях, принялся вдруг защищать право граждан на свободный выезд из страны, да еще объявляя его отечественной традицией? И у политического лицемерия есть свои пределы.

Я вовсе не хочу этим сказать, что тогдашняя Москва была более либеральна, нежели Вильно. Конечно же, оба правительства были в равной мере жестоки и авторитарны. Средневековье есть средневековье. Не больше озабочен был Иван III соблюдением гражданских прав своих подданных, чем зять его, великий князь литовский Александр. Не подлежит сомнению, что Иван III уморил в темнице родного брата и, поставленный перед выбором между женой и любимым внуком, уже коронованным в 1498 году на царство, не только отнял у него корону, но и отдал его на гибель.

Единственное, в чем могли быть уверены перебежавшие к нему вельможи: если не воспротивятся они его политическим планам, их жизнь и их собственность будут при нём так же неприкосновенны, как были в Литве. Другими словами, уверены могли быть перебежчики в том, что **никакой азиатской деспотией не была Москва в ее Европейском столетии** и «вотчины» их останутся их «вотчинами». Ибо такой же, как Литва, была тогда Москва европейской абсолютной монархией. И поэтому речь у нас

о другом: по какой-то причине московскому правительству почему-то выгодно было защищать право на эмиграцию, а литовскому – нет.

Могут сказать, что просто православные вельможи бежали в православную Москву из наполовину католической Литвы. Но почему же тогда после 1560 года, т.е. после государственного переворота Ивана Грозного, когда Москва и впрямь начала походить на азиатскую деспотию, стрелка миграции повернулась вдруг на 180 градусов и те же православные сплошным потоком устремились из Москвы в Литву?

И переменилось вдруг всё, как по волшебству. Теперь уже Вильно видело в перебежчиках не «зрадцев», а почтенных политэмигрантов, а Москва кипела злобой, объявляя беглецов изменниками. Теперь она провозглашала на весь мир, что «во всей вселенной кто беглеца принимает, тот с ним вместе неправ живет». А король, исполнившись вдруг либерализма и гуманности, снисходительно разъяснял Ивану Грозному: что «таковых людей, которые отчизны оставивши, от зневоленья и кровопролитья горла свои уносят», пожалеть нужно, а не выдавать тирану. И вообще выдавать эмигрантов, «кого Бог от смерти внесет», недостойно, оказывается, христианского государя. Как резюмирует замечательный русский историк Михаил Александрович Дьяконов, «обстоятельства круто изменились и почти непрерывной вереницей отъездчики тянутся из Москвы в Литву. Соответственно видоизменились и взгляды московских и литовских правительственных сфер».

В чем же состояло это «крутое изменение обстоятельств», что заставило не только правительства изменить свои взгляды, но и вчерашних перебежчи-

ков в Москву устремиться обратно в Литву? Да в том же, о чем я говорю: в Москве произошла катастрофа, самодержавная революция и во мгновение ока стала она ДРУГОЙ СТРАНОЙ. Вы не поверили бы мне, что такое возможно, если бы 350 лет спустя не повторилось в ней то же самое в октябре 1917. Оказывается, возможно такое в России (я не говорю уже ни о том, что в промежутке между 1560-м и 1917-м, в 1700-м, случился в ней аналогичный переворот при Петре и 74 года спустя после октябрьской катастрофы семнадцатого года еще один – в 1991-м). Такая, как видите, страна Россия, цивилизационно неустойчивая, гибридная, то отрекается от Европы, то пытается к ней вернуться. И повторяется это на протяжении столетий!

Как бы то ни было, тщательно документированное исследование Дьяконова камня на камне не оставляет, казалось бы, не только от старых западных мифов о России, как об «азиатском монстре», но и от нового, отечественного. Я имею в виду миф о «Русской власти» Ю.С. Пивоварова и А.И. Фурсова, точно так же, как Тибор Самуэли, отождествивших постмонгольское московское государство европейского столетия России с азиатской деспотией. Просто, говорят они, не повезло России. Попав однажды под каток варварского владычества, так и не смогла она освободиться от заимствованной у завоевателей формы власти. И исправно продолжала, говоря словами Карла Маркса, «играть роль раба ставшего рабовладельцем».

Вопросы, которые при этом возникают в свете исследования Дьяконова, элементарны. Неужели князья Воротынские или Трубецкие могли в здравом

уме и твердой памяти предпочесть кошмар азиатской деспотии либеральной власти литовских государей? И сознательно – с опасностью для жизни – ввергнуть судьбу близких им людей, не говоря уже о собственных семьях, в лапы московского деспота? Ведь и в самом деле, предположив, что все эти просвещенные для своего времени *вельможи* по доброй воле предпочли рабство свободе, мы отказываем им в обыкновенном здравом смысле.

И никак не могут ведь наши мифотворцы объяснить, почему именно после 1560 года потянулись вдруг «непрерывной вереницей», говоря словами Дьяконова, «отъездчики» обратно в Литву. Право, нужно совсем не уважать страшный – ибо что, кроме смерти, было в те времена (как, впрочем, и в советские) страшнее эмиграции? – выбор сотен и тысяч своих предков, чтобы с легким сердцем его игнорировать.

Не знаю, почему Ю.С. Пивоваров и А.И. Фурсов убеждены, подобно Марксу, в необратимости политических последствий монгольского ига. Может быть, просто модный «антиевропейский консенсус», о котором говорили мы во Введении. Но, честно говоря, куда больше озаботило меня, что поверили им не одни лишь маргинальные неоевразийцы, но и самые серьезные и *вполне* либеральные ученые. Вот, пожалуйста, книга «История России: конец или новое начало?» (М., 2005), среди авторов которой и участники дискуссии 2009 года И.М. Клямкин и И.Г. Яковенко. И что же? Разве не заверяют они Пивоварова и Фурсова, что «следовали по проложенному ими курсу»?

Следовали, несмотря на то, что основополагающее исследование Дьяконова, не говоря уже об

архивных открытиях советских историков 1960-х, о которых мы еще поговорим подробно, не оставляют ни малейшего сомнения, что «курс» этот – миф, не выдерживающий первого прикосновения критики. Просто ничем иначе нельзя объяснить внезапное крутое изменение стрелки миграции и правительственной пропаганды с обеих сторон, кроме простого факта – кончилась ее Европейское столетие. И «затворил» Русь Грозный царь, как писал Андрей Курбский, «аки во адове твердыне».

Никогда больше московское правительство не выступит публично в защиту свободной эмиграции, а люди побегут из Москвы неудержимо. И длиться это будет долго, столетиями.

Даже когда, полвека спустя после самодержавной революции, Борис Годунов отправит 18 молодых людей в Европу набираться там ума-разума, 17 из них станут невозвращенцами. У Григория Котошихина, сбежавшего в Швецию и оставившего нам первое систематическое описание московской жизни середины XVII века, читаем: «Для науки и обычая в иные государства детей своих не посылают, страшась того: узнав тамошних государств веры и обычаи и вольность благую, начали б свою веру отменять и приставать к другим и о возвращении к домам своим никакого бы попечения не имели и не мыслили... А который бы человек, князь или боярин, или кто-нибудь сам, или сына или брата своего послал в иные государства без ведомости, не бив челом государю, а такому бы человеку за такое дело поставлено было б в измену».

Это, впрочем, нам хорошо знакомо. Единственное, что узнали мы здесь впервые – было в прошлом России время, когда и она обладала магнитными

свойствами, притягивавшими к ней людские и интеллектуальные ресурсы сопредельных держав.

Иначе говоря, не была она на заре своего государственного бытия ни «гарнизонным государством», борющимся за национальное выживание, как думал Павлов-Сильванский, ни «московским вариантом азиатского деспотизма», как считал Самуэли, ни «Русской системой», как убеждены Пивоваров и Фурсов. А была тогда Москва державой здоровой, растущей, с надеждой смотрящей в будущее, и к тому же сильной. Не она зависела от своих восточных соседей, некогда грозных татар, а сама содержала на жаловании толпу татарских царевичей со всеми их «людишками». И не Литва наступала на Москву, а Москва на Литву и – после ряда блестящих побед – отняла у нее 19 городов, в том числе Чернигов, Гомель, Брянск и Путивль.

Так было это с нами или не было?

В порядке дня несколько слов об архитекторе этого удивительного европейского столетия, существование которого, вопреки фактам и собственным интересам, категорически отрицают современные московские либералы, изобретая для этого все новые и новые мифы.

ВЕЛИКИЙ ЗОДЧИЙ

Когда в марте 1462 года юный князь Иван III вступал на престол, Москва не только не была *еще* европейской державой – какой он ее 43 года спустя оставил – она и единым-то государством была разве что по имени. Еще была она данницей Орды. Еще опаснейшие в прошлом конкуренты – великие княжества Тверское, Рязанское, Ростовское и Ярослав-

ское – жили сами по себе, лавируя между Москвой и Литвой. Еще в вольных городах Новгороде, Пскове и Хлынове (Вятке) бушевали народные веча, и решения их нередко носили антимосковский характер. Еще северная колониальная империя Новгорода, простиравшаяся за Урал, Москве не подчинялась, отрезая ее от доступа к морю. Еще удельные братья великого князя способны были поднять на него меч. Еще жила память о том, как во время предыдущей гражданской войны был ослеплен своим племянником Дмитрием Шемякой отец князя Ивана Василий, прозванный Темным.

Вот из такого разношерстного и неподатливого материала предстояло ему собрать свою «отчину», построить страну, завершая дело предков – собирателей Московской Руси. В этом состояла первая часть его жизни. Он был из рода Ивана Калиты, не только «издавна кровопивственного», как писал впоследствии Курбский, но и наделенного неслыханным фамильным упорством. Деда в этом роду не смущали быстротечностью дней человеческих, веря, что начатое ими доделают внуки и правнуки. От этого рода и пошла на Руси поговорка «не сразу Москва строилась». Каждый умел следовать за счастливой прадедовской звездой, словно внутри у него был политический компас.

И все-таки отличался от них князь Иван кардинально. Классик русской историографии С.Ф. Платонов заметил: «До середины XV века московские князья еще были удельными владельцами, которых трудно назвать политическими деятелями... Политика этих князей не государственная». Другое дело Иван III. «Рожденный и воспитанный данником степной Орды, – пишет о нём Карамзин, – сделался

он одним из знаменитейших государей в Европе... без учения, без наставлений, руководствуемый только природным умом, он дал себе мудрые правила в политике внешней и внутренней».

Добивался своего Иван III смело, но осторожно, с большим политическим тактом и по возможности малой кровью. Во всяком случае, с большим тактом и с меньшей кровью, нежели его французский современник Людовик XI. В этом отношении походил он скорее на английского своего коллегу Генриха VII. Так же, как и тот, был он скуп, расчетлив, сух, лишен предрассудков и дальновиден. Так же, как и тот, считал, что худой мир лучше доброй ссоры. Всюду, где можно было избежать драки, предпочитал уступить.

Не было в его характере ни претенциозного упрямства, ни высокомерия и безумной жажды первенствовать в мире, которыми страдал внук его, Иван Грозный. И трусом, как этот внук, он не был. Но умел льстить без зазрения совести, когда было нужно. Поистине рожден он был великим князем компромисса. Никогда не играл ва-банк, уважал противника, если тот заслуживал уважения, и всегда оставлял ему возможность почетного отступления. Превыше всего ставил князь предание, самый сильный, как мы помним, аргумент средневековой политической логики – «старину».

Николай Иванович Костомаров завещал нам такую характеристику Ивана III: «Холодный, рассудительный, с черствым сердцем, непреклонный в преследовании избранной цели, скрытный, чрезвычайно осторожный; во всех его действиях видна постепенность, даже медлительность... он никогда не увлекался, зато поступал решительно, когда дело созрело до того, что успех несомненен». Откуда мог

знать это Костомаров, если великий князь был скорее всего неграмотным (во всяком случае не оставил нам ни строчки, написанной его рукой, даже подписи не оставил)? Надо полагать, оттуда же, откуда знаю и я. Из монументального памятника, который оставил он после себя.

И памятником этим была не только созданная им великая держава, но и самый процесс ее созидания. Не только то, **что** было сделано, но и то, **как** это было сделано – при помощи каких маневров, подходов, интриг, посольств, браков и переговоров. Нет недостатка в документальном материале, чтобы рассмотреть, как сквозь всю эту хаотическую мозаику, сквозь все словно бы бессвязные курбеты политической акробатики проступают монументальные архитектурные формы, как из разрозненных тактических акций складывается далеко наперед продуманная стратегия, отражающая не только манеру, особенности политического творчества великого зодчего, но и его характер.

Отличало князя Ивана от всех последующих русских царей, кажется мне, непогрешимое, как абсолютный слух у музыканта, чувство стратегии. Не найдете вы у него ни одного политического шага, как бы ни был он незначителен, который в свое время, пусть и много лет спустя, не оказался бы ступенькой к поставленной им себе с самого начала цели. Шел он к ней долго, с упорством и спокойствием государственного мужа, ищущего не сиюминутной, непременно прижизненной выгоды, не сенсационного эффекта, но основания новой, фундаментальной исторической традиции.

Ну, кто мог бы сказать, например, в 1477-м, что конфискация монастырских земель в Новгороде, превратившая Север Руси в «крестьянскую страну»,

окажется на самом деле много лет спустя деталью гигантского плана церковной Реформации, акции общенационального значения, которая и в голову не могла бы прийти его предшественникам? Кто угадал бы наперед, что сентиментальный интерес отнюдь не сентиментального Ивана к скромной секте «заволжских старцев», людей не от мира сего, монахов, покинувших монастыри и живших в одиноких лесных скитах, что интерес этот был на самом деле началом широкого плана создания мощной политической партии «нестяжателей», предназначенной стать идейным штабом этой Реформации?

И вот так во всем, что он делал. Он был живой загадкой для современников. Циничный прагматик, реалист, известный своей цепкостью и практицизмом, он жил словно в каком-то ином, непонятном им измерении. Об этом, впрочем, у нас еще будет случай поговорить. А сейчас – о второй части его жизни.

«ВОТЧИНА» И «ОТЧИНА»

К восьмидесятым годам XV века фамильная звезда, что вела за собою десять поколений московских князей, угасла. Дальше вести она не могла. Русь – то, что осталось от древнего конгломерата варяжских княжеств и вечевых городов после монгольского погрома и не было проглочено Литвой – была собрана, стала единым государством. И что же? На наших глазах человек, исчерпавший прежнюю традицию, тотчас зажигает новую звезду, которая тоже, как мог он думать, станет фамильной. Он создает новое поприще, достойное того, чтобы состязались на нем его внуки и правнуки, как сам он состязался на поприще «собирания Руси» со своими дедами и прадедами.

Очень точно и кратко сформулировал это тот же С.Ф. Платонов: «Когда он начал княжить, его княжество было окружено почти отовсюду русскими владениями... В конце своего княжения он имел лишь иноверных и иноплеменных соседей – шведов, немцев, литву, татар».

И вот что самое во всем этом замечательное: человек, которому суждено было прожить как бы две жизни, в двух абсолютно непохожих мирах – сначала в суетном и склочном мире междукняжеских распрей и удельных раздоров, а затем в мире большой политики и общенациональных задач – человек этот чувствовал себя дома в обоих мирах. Мало того, он уже в первой своей жизни подготовил все важные плацдармы, все исходные точки для второй – не провинциального московского князя, а государя европейской державы. Едва был закончен процесс «собирания», продолжаться могла Русь лишь на арене европейской политики.

До этого она была «вотчиной», родовой собственностью одной княжеской семьи Рюриковичей. Теперь превращалась она в нечто принципиально отличное – в «отчину», в народ, в члена европейской семьи народов. И соответственно, «вотчинная ментальность» становилась анахронизмом. «Отчина» – государство – требовала новой идейной платформы, новых единых стандартов и норм национальной жизни, даже новых слов, обозначающих прежде не существовавшие понятия.

Судя по его действиям, великий князь хорошо это понимал. К сожалению, современным западным экспертам такое понимание дается с трудом. Уж не язык ли тому виною? Даже мы, говорящие по-русски,

не сразу улавливаем разницу между словами «отчина» и «вотчина». Корень у них общий, да и по смыслу они частично совпадают – то, что досталось в наследство от отцов. В реальной политической жизни конца XV века, однако, значение этих слов разошлось – до полной противоположности.

Слово «отчина» употреблялось теперь главным образом во внешнеполитическом контексте и звучало как «отчизна», «отечество». Оно наделялось высоким идейным смыслом: в нем воплощался призыв к восстановлению поруганной родины. А «вотчина» означала теперь не великокняжеский домен, как прежде, но лишь наследственную частную собственность – бояр или крестьян.

Кстати, аналогичную внутреннюю трансформацию пережил и термин «старина». Он тоже стал звучать как политический лозунг, означающий общее прошлое всех русских земель – от Киева до Новгорода. Вместе с лозунгом «отчины», под которым имелось в виду их общее будущее, он создавал цельную идеологическую конструкцию, и этот символ национального единства цементировал всю внешнеполитическую стратегию Ивана III.

А на английский оба слова переводятся одинаково – «patrimony». Случается, впрочем, что путают их и отечественные авторы. Например, Николай Борисов, автор единственной русской биографии Ивана III, цитируя его послание новгородцам, начинавшееся словами «Отчина моя, Великий Новгород», так комментирует реакцию новгородцев: «Им не понравилось, что московский князь называет Новгород своей вотчиной». Перепутал. На самом-то деле не понравилось новгородцам то, что московский князь называет Новгород своей «отчиной».

На этой семантической путанице вырос еще один миф о России как о «патримониальном государстве» – собственности её царей. Но ведь достаточно просто задуматься: почему-то же сохранились в лексиконе оба термина! Ведь «отчина» не вытеснила «вотчину»: на право частной собственности Иван III, в отличие от внука, никогда не покушался. Как иначе мог бы он привлечь к себе князей и бояр из Литвы, из Твери и Рязани, бежавших к нему со своими вотчинами? На этой вотчинной частнособственнической основе и формировал он свою аристократическую элиту. И сформировал ее настолько мощной, что внуку его, действительно воскресившему архаическую «вотчинную» концепцию государства как царской собственности, **понадобились революция и тотальный террор**, чтобы сломить сопротивление аристократической элиты, созданной его дедом.

Но ведь Грозный-то строил совсем другую, самодержавную государственность, где, единственным «вотчинником» в стране должен был, по его мнению, быть он сам. Ничего из этой его попытки, как мы увидим, несмотря на террор, не получилось. Более того, результат оказался прямо противоположный: в вотчины превратились даже вчерашние «поместья». Но об этом разговор у нас еще впереди. Что сказать, однако, о современных экспертах, безоговорочно поверивших именно его, Грозного, патримониальному толкованию «вотчины», даже не заметив жесточайшего конфликта между политическими представлениями внука и деда?

Остался нам последний миф, гласящий, что Иван III якобы «разрушил» Великий Новгород, на самом деле, как мы сейчас увидим, он такая же напраслина, как и прежние, придуманная все теми же изобретателями «антиевропейского консенсуса».

НОВГОРОДСКАЯ КОНТРОВЕРЗА

Сложность истории не всегда усложняет жизнь историка. Порою она облегчает нам споры. Я не знаю, например, как можно было бы сейчас опровергнуть «патримониальный» миф, наглядно продемонстрировав читателю принципиальную разницу между традициями «отчины» и «вотчины», когда бы не аналогичные акции в отношении Новгорода, предпринятые дедом и внуком, и разделенные между собою столетием. Словно бы нарочно поставила история такой эксперимент, чтобы с графической, можно сказать, скульптурной рельефностью запечатлеть эту разницу. Все, что требуется в таких случаях от историка – это просто её заметить.

Однако, поскольку тема новгородской республики и её традиционных вольностей болезненна в сегодняшней России, придется нам предварить разговор о ней заметками о связанной с ней контрверзе.

Когда Иван III вззошел на престол, Новгород, как мы уже знаем, представлял собою автономное политическое тело в том сложном и неуправляемом конгломерате, который условно назывался Московским государством. Так же, как германские торговые города, родственные ему по политической структуре, Новгород, собственно, был олигархической республикой, чем-то вроде русского Карфагена. Формально высшим органом власти считалось в нем всенародное вече. Оно ежегодно избирало посадника (президента республики) и тысяцкого (генерала, командовавшего народным ополчением), и те ведали администрацией, военным делом и юстицией. Реально же это выборное правительство контролировал, говоря словами В.О. Ключевского, считающегося лучшим знатоком

вопроса, «Совет господ, Herrenrath, как называли его немцы, или госпОда, как назывался он в Пскове. В истории политической жизни Новгорода этот боярский совет имел гораздо большее значение, чем вече, бывшее обыкновенно послушным его орудием».

Это тем более бросалось в глаза, что вече, конечно, не было представительным учреждением, делегатов туда не избирали. Просто, заслышав звон колокола, все граждане города бежали на сходку. И потому «на вече не могло быть ни правильного обсуждения вопроса, ни правильного голосования. Решение составлялось на глаз, лучше сказать, на слух, скорее по силе криков, чем по большинству голосов. Когда вече разделялось на партии, приговор вырабатывался насильственным способом, посредством драки: осилившая сторона и признавалась большинством». Еще хуже обстояло дело, когда страсти достигали такого накала, что враждующие партии собирали свои отдельные веча, одно на Софийской стороне, другое на Торговой. В этих случаях исход «голосования» решался буквально побоищем двух огромных толп на большом Волховском мосту.

При всем том, однако, вольности Новгорода были вполне реальны. Выражались они главным образом в двух вещах. Во-первых, новгородцы свободно избирали должностных лиц республики: сменяемость власти была законом. Во-вторых, с князьями, которых они приглашали для защиты своей империи, отношения у них были договорные (и, согласно договору, во внутренние дела республики князья вмешиваться не могли). А поскольку «устройство новгородской земли... было лишь дальнейшим развитием основ, лежавших в общественном быту старших

городов Киевской Руси», то вольности Новгорода были живым свидетельством что, вопреки Карамзину, Русь эта от начала до конца оставалась вполне европейской страной, где самодержавием и не пахло. Так или иначе, новгородцам было что терять. Такова одна сторона контroversы.

Другая состоит в том, что, не присоединив Новгород, новорожденное российское государство практически не имело шансов стать органической частью Европы. Просто потому, что новгородская империя контролировала весь Север страны (самую развитую и процветающую в ту пору её часть), отрезая тем самым России возможность непосредственной коммуникации с Западом. В буквальном смысле: новгородская империя действительно перекрывала все её тогдашние выходы к морям – как к Балтийскому, так и к Белому. А если еще иметь в виду, что от сухопутных связей с Европой Москва была тогда отгорожена, как выразился мой коллега из Вильнюса, «могучим литовским задом», то независимость Новгорода обрекала её на полную изоляцию от Европы.

Короче говоря, не присоединив новгородскую империю, которую князь Иван справедливо считал своей «прародительской отчиной» (в конце концов, страна от самого своего начала была Киевско-Новгородской Русью), Москва не только не могла завершить свою Реконкисту, но и оказывалась безнадежно отброшенной в Азию. Вот и спрашивается: что было важнее для будущего России – **сохранить новгородскую империю или все-таки дать стране шанс стать европейской державой?**

Честно говоря, я не знаю историков, кроме Ключевского, которые всерьез задумывались бы над этой

коварной контроверзой. Для советской историографии, например, проблемы тут вообще не существовало: централизация страны была для неё высшей, безусловной ценностью (как мы еще увидим в Иваняне, именно необходимостью этой централизации ухитрялась она оправдывать даже зверства опричнины, а не только ликвидацию новгородской империи). Для большей части дореволюционной и эмигрантской историографии проблема Новгорода состояла не столько в его вольностях, сколько в том, что он служил яблоком раздора между Литвой и Москвой, чтоб не сказать, между «латинством» и православием. И потому, как с полным сознанием своей правоты восклицал эмигрантский историк Василий Алексеев: «со стороны православной Москвы это была действительно борьба за Родину и за Веру!» Для западной же историографии проблемы тут и вовсе не было, ясно ведь, что не мог московский деспотизм мириться с новгородскими вольностями. Так над чем тут задумываться?

Самое интересное, однако, в другом. Даже в книге, призванной, казалось бы, служить обобщающим итогом постсоветской историографии (с обязывающим названием «История человечества, т. VIII. Россия»), проблема по-прежнему выглядит двусмысленно.

С одной стороны, «объективно победа этой [пролитовской партии в Новгороде] означала бы сохранение городских свобод, избавление от тяжелой руки Москвы и движение по пути других восточно-европейских стран, находящихся в орбите европейского цивилизационного развития». С другой стороны, однако, «для России борьба с католициз-

мом означала защиту от идеологической агрессии западных стран».

Но что означало это для России, отрезанной от Европы? Об этом ни слова. Совсем не та контрверза. Впрочем, имея в виду, что все царствование князя Ивана проходит у авторов этого тома под рубрикой «Формирование государства по **евразийской** модели», изоляция России от «латинской» Европы их нисколько не заботит: всё равно ведь принципиально другая у нее, *евразийская*, «модель государственности», другая, извините, цивилизация. Удивляться ли, если редактором этого тома был все тот же А.Н. Сахаров, срочно перековавшийся из марксиста в евразийца?

Словом, похоже, что единственным серьезным историком, который высказал свою точку зрения на новгородскую контрверзу ясно и недвусмысленно, действительно был все тот же Ключевский. «Уничтожение особенности земских частей независимо от их политической формы, – говорит он, – было жертвой, которую требовало благо земли, становящейся строго централизованным и однообразно устроенным государством». Другими словами, как ни жаль нам новгородских вольностей, но они были обречены. Чего, однако, никто, сколько я знаю, не заметил, это что Иван III, похоже как мы сейчас увидим, думал иначе.

В конце концов, Новгород был богатейшей и процветающей частью его «прародительской отчины», её сокровищницей, живой нитью связывавшей её с Европой. И если для того, чтобы сохранить эту сокровищницу, требовалась даже очень широкая автономия республики, великий князь, судя, во всяком случае, по результатам его первого похода на Нов-

город в 1471 году, был готов и на это – при условии, конечно, что пролитовская партия в Совете господ Новгорода сложит оружие раз и навсегда. Это, конечно, гипотеза. Но судите сами.

Как пишет британский эксперт Джон Феннелл в книге «Иван Великий», «на протяжении шестидесятых напряжение [между Москвой и Новгородом] росло. Раскол Новгорода... становился все более определенным и вел к беспорядкам в городе... пролитовская фракция становилась все более сильной и дерзкой. Она действовала так, словно пыталась спровоцировать Ивана на акт финального возмездия».

Представителей великого князя публично оскорбляли; земли, в прошлом уступленные Москве, были снова захвачены. Платить налоги республика отказывалась. Могла демонстративно пригласить на княжение сына Димитрия Шемяки, ослепившего в свое время отца великого князя. Обычным делом были переговоры с Казимиром литовским. И в довершение ко всему, архиепископ новгородский вступил в контакт с киевским митрополитом, ставленником этого самого Казимира.

Что удивляет тут больше всего – это терпение великого князя. Почему, в самом деле, даже перед лицом открытых провокаций медлил он призвать к порядку мятежную отчину? От нерешительности? Из малодушия? Можно поверить в это, если не знать, какая могучая и беспощадная воля, какой хитрый умысел стояли за этими колебаниями. Ивану III нужно было, чтоб все поверили: он не решается на экспедицию против Новгорода. Это было частью его плана. Так же думает и Феннелл: «Одни лишь оскорбления... вряд ли могли быть использованы как предлог для се-

рьезной экспедиции, предназначенной сокрушить то, что, в конце концов, было русским православным государством».

Если припомнить на минуту, что столетие спустя Иван Грозный тоже предпринял новгородскую экспедицию, превратившую тот же русский православный город в пустыню, – без какого бы то ни было предлога (если не считать, конечно, стандартного обвинения в «измене», какие фабриковались тогда на опричной карательной кухне тысячами), это объяснение может, пожалуй, выглядеть до смешного наивным. Представить Грозного царя спрашивающим себя, достаточно ли у него оснований для карательной экспедиции, – за пределами человеческого воображения.

Тем более необъяснимо, на первый взгляд, что такое словно бы само собою напрашивающееся сравнение даже в голову не пришло Джону Феннеллу. А ведь оно тотчас же продемонстрировало бы пропасть между дедом и внуком, между «отчинным» и «вотчинным» представлением о своей стране, между, если хотите, европейской и патерналистской Россией.

Как бы то ни было, даже когда измена Новгорода, и политическая и конфессиональная, стала очевидной, и тогда великий князь не бросился опростеть его наказывать. Он разыграл эту локальную революцию, как гроссмейстер сложную шахматную партию. И вовсе не новгородцы, которые действовали крайне неуклюже и беспрестанно попадались в великокняжеские ловушки, были его настоящими противниками, а сама «старина» со всем её могущественным авторитетом: новгородские вольности были ее воплощением.

Просто нагрязнуть в один прекрасный день и стереть город с лица земли, как сделал его внук, Иван III не мог. Мысль его работала принципиально иначе. И замысел, как можно понять, заключался в том, чтоб предоставить Новгороду первым нарушить священную «старину». Вот тогда он и выступит – не разрушителем, а охранителем национального предания. Выступит против ниспровергателей «старины». Его атака должна была выглядеть лишь как ответный удар, как акт национальной самозащиты.

И он, конечно, дождался. Новгородцы заключили с Казимиром договор, «докончание». И тогда великий князь выступил против Новгорода. 14 июля 1471-го он нанес сокрушительное поражение республиканской армии на реке Шелони. Республика лежала у его ног, безоружная и беззащитная. Казалось, наступила минута, которую он терпеливо ждал целое десятилетие. И что же? Использовал он свою победу, чтоб разгромить Новгород политически? Разграбить его богатства? Уничтожить его вольности? Читатель мой уже, надеюсь, понимает, что должен был сделать наш герой в этой ситуации. Конечно же, он вступил в переговоры и согласился на компромисс. В договоре рядом со словами, подтверждающими, что Новгород «наша отчина», стояло: «**мужи вольные новгородские**». Другими словами, Новгороду действительно была предложена автономия. Вечевой колокол у него, во всяком случае, остался.

Даже Феннелл, сын страны компромисса, с удивлением замечает: «И все-таки Иван показал замечательное милосердие». Согласитесь, для русского царя получить такой комплимент от британца – дело почти неслыханное. Правда, и это не смогло поколе-

бать его изначальной убежденности в том, что Россия страна от века тоталитарная, и ничего иного строить князю Ивану не было дано, так сказать, по определению. Просто, как и большинство западных историков, Феннелл при всех обстоятельствах сохраняет верность Правящему Стереотипу мировой историографии, даже если обстоятельства ему противоречат. Не вмещается в этот стереотип европейская Россия – и все тут. Оставалось лишь недоумевать: «Почему нужно было терпеть еще семь лет аномалию независимой свободолюбивой республики в том, что становилось централизованным тоталитарным государством?»

Но ведь ответ напрашивается сам собою. В отличие от будущих историков, великий князь подходил к проблеме без всяких стереотипов. Он экспериментировал. Пробовал разные формы сосуществования прошлого с будущим. В 1471 году Новгороду был дан шанс интегрироваться в рождающееся национальное государство на правах автономной республики – расставшись со своей империей, но с максимальным сохранением его вольностей. Окажись Новгород в состоянии при этих условиях разгромить пролитовскую партию в своем Совете господ, так бы, вполне возможно, оно и было.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Но нет, не в силах в это поверить выученики Правящего Стереотипа – ни западные, ни отечественные. Не могут они принять очевидное свидетельство истории, даже когда оно бьёт в глаза. И самое любопытное – объяснения, которые дают они «милосердию» князя Ивана, вполне правдоподобны.

Феннел, например, пишет: «Конечно, жесткие методы на этой стадии не облегчили бы задачу управления городом; его [Ивана] несомненная непопулярность среди определенных членов [новгородской] общины возросла бы; лидеры оппозиции стали бы выглядеть жертвами в глазах публики; торговцы, чьей поддержкой Иван весьма дорожил, могли стать противниками московского дела и таким образом сорвать её [Москвы] экономическую программу».

Нечто подобное предлагает читателю и Борисов: «князь Иван не хотел задевать самолюбие всего Новгорода. Напротив, он надеялся расколоть городскую общину изнутри и привлечь на свою сторону основную её часть. Горожане должны были увидеть в нём не завоевателя, а защитника, не разрушителя всего и вся, а строителя».

Все верно. Но выгляди эти эксперты за пределы своей грядки, они тотчас убедились бы, что ни одно из этих соображений не могло даже возникнуть в уме самодержавного царя, руководившегося «вотчинными» представлениями о принадлежащей ему стране, как не пришло оно на ум Ивану Грозному во время его новгородской экспедиции 1570 года. Новгородских торговцев разграбил он беспощадно, ничуть не заботясь ни о московской экономической программе, ни тем более о своей репутации «среди определенных членов общины». Этих «определенных членов» – вместе, впрочем, с неопределенными – он просто подверг массовой экзекуции. И уж конечно, мысль, что «жесткие методы», если позволительно так назвать устроенную им в Новгороде кровавую баню, не смогут «облегчить задачу управления городом, не остановила его ни на минуту. Все слои насе-

ления города – и бояре, и духовенство, и богатые купцы, и бедные посадские люди, и даже нищие, которые посреди свирепой зимы были изгнаны замерзать заживо за пределы городских стен, – истреблялись методически, безжалостно, целыми семьями.

Так почему же внук пренебрег соображениями, которые, согласно русскому и западному биографам князя Ивана, были для него определяющими? Что лежало в основе этой поразительной разницы? Свести разговор к несходству характеров деда и внука было бы, согласитесь, в нашем случае свехупрощением. Ибо перед нами не просто разные люди, но политики, живущие словно бы в разных временных измерениях. Если политическое мышление деда пронизано заботой о будущем его отчины, внуку, в полном согласии с «евразийской моделью государственности», страна представлялась безгласной собственностью, «вотчиной», которой он вправе распоряжаться, как ему заблагорассудится. Нельзя даже сказать, что он был лишен чувства ответственности за судьбу государства. Просто эта судьба не существовала для него вне его собственной судьбы.

Для того, однако, чтобы удивиться этой ошеломляющей разнице, чтобы сопоставить политическое мышление деда и внука по отношению к Новгороду, чтобы понять различия между их экспедициями как исторический эксперимент, требовалось, если помнит читатель, выйти за пределы своей грядки, не говоря уже о пределах Правящего стереотипа. Увы, этого биографы, что русский что британский, сделать даже не попытались.

Вернемся, впрочем, к деду. Нет, не справился Новгород с условиями своей автономии, не смирилась со

своим поражением антимосковская партия. Опять затеяла она интриги с Литвой – и опять пошло за нею вече. Доказательства были налицо. Через семь лет после первого похода Иван III, вооруженный, как всегда, солидными документальными уликами, снова выступил против мятежной отчины. И снова она была у его ног. И – что вы думаете(?) – он опять дает Феннелу повод воскликнуть: «Можно только удивляться тому терпению, с которым Иван проводил переговоры».

Впрочем, терпение терпением, но на этот раз великий князь расправился с антимосковской партией радикально и жестоко: ее лидеры были сосланы, а некоторые казнены, вечевой колокол снят, целые роды потенциальных крамольников переселены на юг и на их место посажены верные люди.

Что ж, компромиссная комбинация «отчины» с «вольными мужами» не сработала. И признав свое поражение, великий князь ликвидировал «вольности». Но даже и тогда расправился он с антимосковской партией, а не с Новгородом. Пусть и лишенный автономии Новгород нужен был ему как часть «отчины» – живая, здоровая и богатая, а не обращенная в пепел.

Академик М.Н. Тихомиров авторитетно подтверждает, что именно так и обстояло дело после второго новгородского похода князя Ивана: «Присоединение Великого Новгорода к России отнюдь не привело к падению его экономического значения. Наоборот, после присоединения к Российскому государству Новгород поднялся на новую высшую ступень своего экономического развития. И даже остатки прежней новгородской вольности сохранялись еще очень долго».

ФИНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТА

Так или иначе, столетие спустя, перед походом Грозного, это все еще был Великий Новгород, богатейший город земли русской, самый развитый, самый культурный, все еще жемчужина русской короны. Но там, где проходила опричнина, и трава не росла. «Опричные судьи вели дознание с помощью жесточайших пыток... опальных жгли на огне... привязывали к саням длинной веревкой, волокли через весь город к Волхову и спускали под лед. Избивали не только подозреваемых в измене, но и членов их семей... летописец говорит, что одни опричники бросали в Волхов связанных по рукам и ногам женщин и детей, а другие развезжали по реке на лодке и топорами и рогатинами топили тех, кому удавалось всплыть...» Никогда больше не суждено было Новгороду стать Великим.

А между тем, к 1570-му в нем давно уже не было ни республики, ни Совета господ, ни веча, ни автономии, ни вообще антирусской партии. Не было больше врагов Руси в Новгороде. И, тем не менее, армия и полиция, институты, созданные для поддержания общественного порядка, обрушились на собственный, совершенно беззащитный от них народ, православный, заметьте народ, растерзали его, надругались над ним, превратив жемчужину в прах.

Бессмысленная жестокость? Но в том-то и дело, что террор был лишь формой событий, сутью его был обыкновенный грабеж. Сразу же после погрома в городе опричники вдруг принялись за монастыри. Как говорит летописец, «по скончанию того государь со своими воинскими людьми начат ездити около Великого Новгорода по монастырям». Результаты этого вояжа не оставляют сомнений в его целях: «Госу-

дарев разгром явился полной катастрофой для новгородских монастырей. Черное духовенство было ограблено до нитки... Опричники ограбили Софийский собор, забрали драгоценную церковную утварь и иконы, выломали из алтаря древние Корсунские ворота». И словно специально, чтоб продемонстрировать, как мало в этом деле значила новгородская «измена», экспедиция тотчас обрушилась и на монастыри псковские – они тоже были обчищены. У монахов отняли не только деньги, но и кресты, иконы, драгоценную церковную утварь и книги. Даже колокола опричники сняли с соборов и увезли.

Полностью опустошен был, разумеется, и сам бывший Великий Новгород. «Опричники произвели форменное нападение на город. Они разграбили новгородский торг... Простые товары, такие, как сало, воск, лен, они сваливали в большие кучи и сжигали (этой зимой на русском Севере царил страшный голод, именно потому скопилось в Новгороде так много нищих). В дни погрома были уничтожены большие запасы товаров, предназначенные для торговли с Западом. Ограблению подверглись не только торги, но и дома посадских людей. Опричники ломали ворота, выставляли двери, били окна, горожан, которые пытались противиться, убивали на месте». И что еще страшнее, «младенцев к матерям своим вязаху и повеле метати в реку...».

ОЧЕРЕДНОЙ БАСТИОН МИФА

А вот и обещанный тест. Условия такие.

1. Ничего подобного массовым убийствам и тотальному грабежу, учиненному Грозным в 1570 г. в Новгороде во время обеих экспедиций Ивана III не наблюдалось.

2. Кровавые погромы, подобные новгородскому, учинены были на Руси лишь монгольскими завоевателями, например, в Рязани или во Владимире. До Новгорода монголы не дошли.

Вопросы:

1. Исходя из этого, охарактеризовали ли бы вы новгородский погром 1570 года как логическое продолжение политики Ивана III или как завершение того, что не доделали кочевые погромщики?

2. Имея в виду вековое мифотворчество в исторической литературе, какой из этих двух ответов предпочли, вы думаете, *современные* эксперты?

Пусть читатель, познакомившийся с фактами, представленными на его суд, сам ответит на эти вопросы. Замечу лишь, что *современные* эксперты, в согласии с требованиями Правящего Стереотипа, конечно же, обвинили в разрушении Новгорода Ивана III. О кочевых погромщиках они и не вспомнили, рассудили, что внук лишь закончил начатое дедом.

Другими словами, трактуют они новгородские экспедиции деда и внука одинаково. Обе представлены как последовательное изничтожение свободолюбивой республики тоталитарной Москвой. Как ни удивлен был, например, Феннелл милосердием и терпением своего героя, это ничуть не поколебало его изначального убеждения, что строил великий князь не европейскую державу, а именно тоталитарного монстра. Как ни восхищен Борисов «гениальным планом» князя Ивана, всё равно считает он его планом «удушения Новгорода». Короче говоря, имеем мы здесь дело с очередным бастионом мифа. И это обстоятельство вынуждает нас суммировать прошедший перед нами исторический эксперимент в более строгих терминах.

Смешно отрицать то общее, что было между двумя новгородскими акциями. Обе были жестоки, обе связаны с казнями, преследованиями и конфискациями. И, в конечном счете, обе предназначены были обеспечить успешное продолжение определенного государственного курса. Но на этом, как мы видели, сходство их и кончается.

Ибо в первом случае Москву привела в Новгород логика Реконкисты и интеграции в Европу, а во втором – логика самодержавной революции, отрезавшей страну от Европы.

В первом случае акция диктовалась императивом воссоединения страны и государственного строительства; во втором – соображениями экспроприации имущества подданных.

В первом случае режим старался сохранить новгородские богатства, заставив их функционировать как часть национальной экономики; во втором – просто уничтожил все, что не мог присвоить.

Между прочим, опричной экзекуции Новгорода предшествовали любопытные события, подкрепляющие это заключение. Как раз перед походом Грозный инспектировал новую, строящуюся в непроходимых вологодских лесах крепость, чудо современной ему фортификации. А на случай, если и эта твердыня не защитила бы царя, в окрестностях ее была заложена верфь. Английские мастера готовили там целый флот, способный вывезти московские сокровища в Соловки и дальше – в Англию. Посол Андрей Совин привез согласие королевы Елизаветы на просьбу царя предоставить ему политическое убежище.

Вологда расположена так далеко на севере страны, что неприятельское вторжение ей никак угрожать не могло. Значит, не от внешнего врага намеревался в

ней прятаться Грозный. От кого же тогда, если не от собственного народа? Но действительно ли надеялся он в вологодской крепости отсидеться?

Похоже, что нет. Похоже, готовился сбежать. И если так, то новгородская экзекуция могла быть продиктована, во-первых, желанием, что называется, хлопнуть дверью перед тем, как покинуть Россию. А во-вторых, – вполне прозаическим намерением начать жизнь в Англии не с пустыми руками. Это, конечно, всего лишь предположение. Но мне такой финал кажется не только правдоподобным, но и совершенно логичным для этого царствования.

Как бы то ни было, принципиальная разница между результатами двух походов Москвы на Новгород очевидна. Более того, буквально бросается в глаза каждому объективному исследователю тех времен. Вот пример.

Р.Б. Мюллер, историк Карелии (принадлежавшей до московских походов новгородской империи), нечаянно затрагивает нашу тему. Книга издана была еще в сталинские времена, когда Грозный считался героем России и писать о нем правду было опасно. Тем не менее, честный и совершенно аполитичный историк не могла не заметить, что после того, как Иван III включил Карелию в состав Московского государства, стала она «процветающей крестьянской страной». А итогом экспедиции Грозного оказались «небывалое запустение и упадок... Население было разорено». *Согласитесь, что разница между процветанием и разорением не требует комментариев.*

Я это к тому, что исторический эксперимент, так подробно нами здесь рассмотренный, заслуживает места, которое мы ему посвятили: на наших глазах рухнул еще один бастион старого/нового мифа.

Глава 4
**НОВАЯ ПАРАДИГМА?
НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ
СМЕРТЬ РЕФОРМЫ**

Томас Кун, автор знаменитой «Структуры научных революций», категорически не советовал всем, кто может этого избежать, заниматься продвижением новых парадигм. Кто-кто, а он – человек, посвятивший годы изучению трагедий, связанных с этим неблагоприятным занятием, знал, о чем говорил. Жестокое, пугающее сопротивление встречало каждую новую парадигму, начиная с коперниканской. У меня, увы, дело обстоит еще хуже. Если в точных науках есть, по крайней мере, опыт его преодоления, обобщенный Куном, то в гуманитарной сфере нет ни такого опыта, ни обобщений. Нет самого даже представления, что развитие науки происходит не по «накопительной модели» (выражение Куна), т.е. не по мере простого накопления знаний, а фундаментальными скачками, **сменой парадигм**, в ходе которой обесцениваются репутации и рушатся судьбы. Это, собственно, и назвал Кун «научными революциями».

Но я-то пишу как раз об истории и волеу судьб вовлечен именно в то, от чего он предостерегал. И тут, поверьте, не знаешь, с чего и начать, с какой стороны подстерегает опасность, потому что опасность всю-

ду, не говоря уже, что неизвестно, возможно ли вообще в моей области преодолеть единодушное сопротивление коллег, и если возможно, то как?

Мощь этого сопротивления читатель мог представить хотя бы по тем двум вполне дружелюбным обсуждениям трилогии, что я упоминал во вводной главе (я буду приводить образцы). Пока что я понимаю лишь, что идет сопротивление по двум направлениям: теоретическому (не об истории, мол, веду я речь, но лишь о **философии истории**) и конкретному (может ли, например, новая парадигма ДОКАЗАТЬ, опровергает ли какое-либо историческое событие общепринятое представление, что Россия, неспособна к политической модернизации?).

Тут ведь само выражение «способность к политической модернизации» из некоего иного, не общепринятого словаря. В старой парадигме ничего подобного нет. Как нет и выражения «крестьянская вотчинная (т.е. неотчуждаемая) собственность». Во всяком случае, в применении к XVI веку его в общепринятой парадигме **не существует**. А ведь глава, которую предлагаю я сейчас вниманию читателя, именно о таком конкретно-историческом событии. И именно в XVI веке. Какая-то неизвестная Россия, неизвестная, причем, даже классикам русской историографии. Вот и приходится писать длинное скучное вступление, чтоб объяснить, откуда оно в столь неподходящее для него время взялось. Не в моем тексте, а в русской истории.

Разница между парадигмами простирается до таких мелочей, как, что такое «Московия»? Общепринято обозначать этим термином весь период от конца «татарщины» до Петра (вычеркивая, таким образом, из истории европейское столетие России

1480–1560). В новой парадигме обозначает Московия лишь столетие «варварства, из которого варварскими, – по выражению Маркса, – средствами вырвал Россию Петр « (1613 – 1700).

В одном абзаце я употребил сейчас, как видите, по крайней мере, пять понятий, которых в обиходе современной историографии не существует. Так, по Куну, и должно быть. Новая парадигма требует нового инструментария, новой терминологии, нового языка. Ей ведь предстоит объяснить то, чего не смогла объяснить старая. В этом, собственно, и состоит смысл смены парадигм.

Под «старой парадигмой» имею я в виду западную и подпевающую ей отечественную, постсоветскую. Ее исходная позиция, как мы знаем, незамысловата: Российская государственность, изначально неевропейская, деспотическая, если хотите, «ордынская». Но может ли такая парадигма объяснить, например, **одинадцать (!)** «прорывов» и «порывов в Европу», перечисленных во вводной главе (тем более что даже под «порывами» имеются в виду порою события довольно в жизни страны значительные, как, допустим, февральская революция 1917). Так вот, откуда они взялись? И почему ВСЕ они – в Европу? Ни одно ведь столетие, начиная с XVII, как мы видели, без них не проходило. Это исторический паттерн. Как объясняет его старая парадигма? Представьте себе никак. Не могло их быть в «ордынской» России – и баста. Тем более до Петра, прорубившего «окно» для западных идей.

Не объясняет старая парадигма и того, почему ни одна тирания, а их, как мы знаем, в русской истории хватало, не в силах была продлить свой срок дольше жизни своего инициатора, ВО ВСЕХ без исключения

случаях сопровождалась она каким-нибудь «порывом», если не «прорывом в Европу»? А ведь знаем мы еще от Аристотеля, что деспотия – это **перманентная** тирания, тем от обыкновенной тирании и отличается, что не допускает перерывов. А тут перед нами некий полосатый зверь – сплошные перерывы. Выходит, не деспотия. А что тогда? Нет у старой парадигмы ответа на этот вопрос.

И все эти непреодолимые для старой парадигмы трудности во мгновение ока разрешаются, едва предположим мы, что перед нами вовсе не деспотия, а **гибрид**, амальгама «ордынскости», если можно так выразиться, и европейскости. Другими словами, что элементы этой самодержавной государственности, как я этот гибрид называю, находятся в состоянии перманентной гражданской войны между собой. Европейский ее элемент стремится к разрушению гибрида. Тот успешно до сих пор сопротивлялся, беспрестанно меняя, подобно хамелеону, свои формы: петровская государственность не похожа на московитскую, советская не похожа на петровскую, путинская не похожа на советскую. Но ресурсы этого хамелеонского сопротивления, похоже, близки к исчерпанию. Во всяком случае, в последней своей, путинской, ипостаси гибрид уже вынужден, **в отличие от всех прежних своих форм**, **ИМИТИРОВАТЬ** европейскость, официально ее провозглашать. Дальше отступить ему некуда.

Так вкратце обстоит дело с теоретической составляющей новой парадигмы. Мы еще поговорим очень подробно о деталях – и о деспотии, как понятии, в принципе **исключающем** «прорывы» или «порывы» к чему бы то ни было, и о европейской абсолютной монархии, заложившей основы модерна, и о европейском

столетии России, без которого, как без фундамента, был бы **невозможен гибрид** самодержавной государственности, и – главное – о «втором фронте», отчаянно и доблестно, отдадим ему справедливость, защищая старую парадигму. Но в этой и следующей главах останемся мы именно на конкретно-исторических исследованиях, неопровержимо **подтверждающих** как существование в русской истории европейского столетия, так и его способность к саморазвитию (потому и было оно европейское).

Вот и все вступление. А теперь к Великой реформе 1550-х.

Чтобы войти в курс дела, напомним, как управлялась русская земля до реформы. Она делилась на уезды, внутри которых были две совершенно разные категории владений (и собственности). Вотчины крупных лендлордов – церкви и бояр – обрабатывались зависимыми от них (до очередного Юрьева дня) крестьянами и управлялись их собственными холопами, на основании иммунитетов (в Москве их называли по-татарски «тарханами»). Центральная власть контролировать их не могла. Там ее агенты по традиции буквально «не въезжали ни во что», т.е. не имели права вмешиваться. И потому правили здесь не столько «государевы указы», сколько знакомая нам «старина».

Другую половину уезда составляли земли государевы: здесь жили свободные крестьяне, а с 1470-х и служилые помещики-дворяне. Последние были сравнительной новостью: возникли лишь после присоединения Новгородской империи, когда Москва обрела гигантский земельный фонд и у нее появилось, что раздавать. Часть новых земель была остав-

лена крестьянам (Карелия и Поморье стали сплошь «крестьянской страной»), часть – роздана «детям боярским в поместья». Здесь всем распоряжалась центральная власть в лице своих наместников, в просторечии «кормленщиков».

Присылались кормленщики из Москвы, обычно на год или на два. Они обеспечивали порядок, судили и собирали налоги при помощи своей частной администрации, холопов, которых возили с собою из уезда в уезд. Свой «корм», т.е. содержание, они тоже добывали сами, правительство им ничего не платило.

Знатнейшие семьи жестоко конкурировали между собою за «кормления». Что не удивительно: если наместник попадал в богатый уезд, то за какой-нибудь год мог сделать состояние. Не столько за счет лимитированных сверху «кормов», сколько путем злоупотреблений. Гражданские дела в уезде выигрывал обычно тот, кто давал кормленщику большую мзду. Самые бессовестные из них вели себя еще непристойнее. Подбрасывали, например, труп во двор крестьянина побогаче, а потом разоряли его судебными издержками. Несколько сфабрикованных дел давали больше дохода, чем весь «корм». А надзор за торговлей? А таможенный контроль?

Легко представить себе, каков был порядок в уездах, если кормленщики, можно сказать, жили беспорядком. И больше всех страдали, конечно, те, у кого было что отобрать – «лутчие люди» русской деревни. Само собой крестьяне не молчали. Едва наместники «съезжали с кормления», их сопровождали в Москву тучи жалобщиков. Московские суды были завалены исками. Еще со времен Ивана III правительство старалось обуздать кормленщиков. Статья 12 Судеб-

ника 1497 года, например, требовала обязательного участия в суде «добрых черных крестьян-целовальников», другими словами, обыкновенных черносошных (т.е. не освобожденных от налогов) крестьян, целовавших крест для исполнения административных обязанностей.

Но помогало это, видимо, слабо. Во всяком случае, как свидетельствует летопись, «многие грады и волости пусты учинили наместники и волостели. Из многих лет презрев страх Божий и государские уставы, и много злокозненных дел на них учиниша. Не быша им пастыри и учителя, но сотвориша им гонители и разорители»⁴.

Очевидный парадокс. Государство крепло, расходы его росли: разветвлялась столичная бюрократия, началось формирование регулярной армии, неотъемлемой частью войска становилась артиллерия. За все это надо было платить. И страна переживала бурный экономический подъем, люди богатели. Только правительству от этого проку было мало. Одна половина земель была «отарханена» и налогов практически не платила (в связи с гигантским притоком испанского серебра из Южной Америки деньги стремительно обесценивались во всей Европе, на Руси, конечно, тоже), другую часть «пусты учинили» кормленщики. Короче, традиционная административная система оказалась в XVI веке безнадежным анахронизмом, бюджет трещал. Была нужна радикальная реформа. Но какая?

Перед только что пришедшим к власти в 1550-м правительством Адашева открывались две возмож-

⁴ Цит. по: А.А.Зимин. Реформы Ивана Грозного, М., 1960, с. 435.

ности. Первая вполне соответствовала бы патерналистской государственности. Почему бы, в самом деле, не заменить любительскую временную администрацию кормленщиков постоянным правлением воевод, как именовалось это в Москве XVI века, назначаемых сверху, установить вертикаль власти и решить, таким образом, фискальную проблему? Конечно, как всякая административная реформа, это не давало гарантии, что воеводы окажутся добросовестнее кормленщиков, но вертикаль власти предполагала строгий контроль центра.

Вторая возможность была прямо противоположна первой. Состояла она в том, чтобы логически развить выборную традицию Ивана III, превратив «целовальников» из простых присяжных заседателей в наместничьих судах в полноправных судей. Более того, в «земские», т.е. выборные правительства, поручив им управление уездами.

КРЕСТЬЯНСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Тут, согласитесь, решающий тест для определения природы московской государственности в европейское столетие. Пойди административное преобразование по земской линии, оно вполне, я думаю, заслуживало бы титула **Великой реформы**. В условиях середины XVI века, когда крестьянство еще было свободно, а о цензуре и речь не заходила, этот статус пристал бы ей куда больше, нежели одноименной реформе 1860-х. Ведь суть реформы XIX века, собственно, и заключалась, кроме освобождения крестьян и отмены предварительной цензуры, в введении местного земского самоуправления и независимого суда присяжных. В XVI веке то был бы поистине

гигантский шаг вперед от архаической «старины». Ибо из всех социальных страт выигрывали от такой реформы вовсе не помещики, как в 1860-е, но именно «лутчие люди» русской деревни и посадов, больше всех страдавшие от наместничьего произвола.

И что же? Именно по этому пути и пошло правительство Адашева. Только сделать его необратимым оно не успело. Сменившая его опричнина разрушила эту возмутительную либеральную вылазку. Дотла. *Выборы были отменены* и введено правление воеводское. Конечно, при известном усилии воображения можно усмотреть некое родство между земским самоуправлением и воеводской бюрократией. Считают же некоторые историки, что закрепощение крестьян было логическим продолжением Юрьева дня. На самом деле эти формы администрации, конечно, отрицали одна другую напрочь. Во всяком случае, само московское население понимало это именно так. И долго еще – многие десятилетия – вспоминало эту краткую драматическую паузу между кормленщиками и воеводами, как волшебный сон.

Почти столетие спустя, на Земском Соборе 1642 года, когда царь Михаил спрашивал, следует ли вести войну с турками за Азов, представители Рязани, Тулы, Коломны, Мещеры, Алексина, Серпухова, Калуги и Ярославля отвечали, что отдавать Азов не след, но прежде, чем воевать с турками да татарами, надо бы вспомнить, что «разорены мы, холопы твои, пуще турецких и татарских басурманов от неправд и от неправедных воеводских судов». А купцы объясняли еще более откровенно: «в городах всякие люди обнищали до конца от твоих государевых воевод. А при прежних государях... посадские люди судились

между собою, воевод в городах не было, воеводы посылаемы были лишь в украинские (т.е. окраинные) города для бережения от тех же турецких, крымских и нагайских татар»⁵.

Все перепутала народная память: не было этого «при прежних царях», чтоб «посадские люди судились между собою». Было – лишь в краткий миг при правительстве Адашева. Но глубоко, видно, запало это мгновение в благодарную народную память, преобразовавшись в ней в такую мощную «старину», которую даже кровавая опричнина не сумела разрушить. Не на ветер, значит, все-таки брошены были усилия реформаторов 1550-х.

Понятно почему в XVII веке о крестьянах речи больше не было, лишь о «посадских людях», в Московии крестьяне перестали уже тогда быть субъектами права, были наглухо закрепованы, «мертвы в законе». Если нужны были бы еще свидетельства о принципиальных отличиях Московского государства европейского столетия от затхлой Московии, то лучшего доказательства и искать ни к чему. На любезное разъяснение И.М. Клямкина, что ничего, мол, не поделаешь, так принято называть Московией весь период от 1480 до 1700, отведу: да, принято в старой парадигме, но пора бы уж понять, что я-то рассуждаю в терминах новой.

ОТКАЗ ОТ ПРОИЗВОЛА ВЛАСТИ

Итак, два правительства, формально возглавлявшихся одним и тем же лицом, царем Иваном IV, и два

⁵ Н.В. Латкин. Земские Соборы древней Руси, СПб., 1885, с. 228.

не просто разных – противоположных – политических курса. Тем более странно, согласитесь, что естественный вопрос – почему, под влиянием каких именно сил предпочло московское правительство в 1550-е воеводскому правлению земское самоуправление – никем пока, сколько я знаю, задан не был. А.А. Зимин полагал, что дело было в общей обстановке тех лет: введение воеводской администрации он связывал с *Ливонской* войной. Но это никак не может служить объяснением. Ведь и земское самоуправление вводилось в разгар войны

Я говорю, конечно, о войне Казанской. Она, между прочим, длилась четыре года (1547–1552) и прежде чем завершиться победой, дважды приводила к тяжелым поражениям, после которых царь возвращался домой «со многими слезами». И все-таки, несмотря на военное время, **отказалось** тогда правительство Адашева вводить воеводское правление. Почему?

Первые грамоты, передававшие власть в уездах земствам, были лишь ответом на многочисленные просьбы, жалобы и требования «лутчих людей». Например, в Пинежской грамоте от 25 февраля 1552 года, раскопанной в местных архивах А.И. Копаневым, царь соглашается на полное устранение наместника от суда и администрации и указывает впредь «избирать их из тех же волостных крестьян выборных лутчих людей, излюбленных голов», каковым и надлежит «во всех делех земских управы чинить по нашему Судебнику»⁶.

(Обязан решиться здесь, в скобках, на краткое, но первостепенно важное отступление от текста.

⁶ А.И. Копанев. Исторический архив, т. VIII, 1952.

Всем, что знаем мы о Великой реформе 1550-х, обязаны мы неутомимой плеяде советских историков-шестидесятников, буквально раскопавших уцелевшие местные архивы, этим «археологам» советской историографии и, как Генрих Шлиман, раскопавший Трою, открывших для нас неизвестную Россию. Назову здесь лишь несколько имен, чьи «раскопки» в значительной степени сформировали мой взгляд на историю XVI века: А.И. Копанев, Н.Е. Носов, Д.П. Маковский, Ю.И. Бегунов. Были и другие, пытавшиеся, несмотря на все цензурные рогатки осмыслить эпохальные «археологические» находки своих коллег, находки, как я уже говорил, **еще неизвестные классикам XIX века**, и сложить их в «новую национальную схему» русской истории: А.А. Зимин, С.О. Шмидт, С.М. Каштанов, Я.С. Лурье, Н.Я. Казакова, Г.Н. Моисеева. Я пытался в трилогии – см. главу 11 первого тома «Последняя коронация?» – отдать долг благодарности этим своим в некотором роде предшественникам. Но, к сожалению, все эти имена едва ли что-нибудь говорят моим сегодняшним оппонентам).

Теперь могу я с чистым сердцем продолжать свою повесть. Остановились мы на том, что правительство Адашева не придумало земскую реформу. Оно приняло ее под давлением, если можно так выразиться по отношению к тому далекому веку, общественного мнения. Но ведь и сильные противники, как мы знаем, были у крестьянской предбуржуазии (как называли ее шестидесятники), тот самый военно-церковный блок, который впоследствии и станет главным подстрекателем опричной революции. Значит, существовало нечто более важное, способное

подвигнуть царя (в 1550-е он еще был управляем) стать на путь либеральной реформы. Судя по всему, этим нечто были **деньги**.

В грамоте, выданной в сентябре 1556 г. Двинскому уезду (опять А.И. Копанев) царь «наместником своим двинским судити и кормов и всяких своих доходов имати, а доводчиком и праветчиком их въезжати к ним [к уездам] не велел, а за наместничии и за их пошлинных людей и за всякие доходы велел есми их [уезды] пооброчити, давати им в нашу казну на Москве диаку нашему Путиле Нечаеву с сохи по 20 рублей в московское число да пошлин по два алтына с рубля»⁷. В этой формуле, которая, по-видимому, была стандартной (во всяком случае, Д.П. Маковский обнаружил ее и в смоленских архивах) нет, на первый взгляд, ничего особенного. Но лишь до тех пор, покуда мы не сравним ее с размерами «корма», который уезд платил наместникам до реформы и который составлял... 1 рубль 26 денег с сохи! Даже вместе со всеми пошлинами старый налог был все равно меньше двух рублей.

Речь, выходит, шла вовсе не о даровании самоуправления уездам. Правительство **продавало** им самоуправление (точно так же, как в это же время и для той же цели пополнения казны продавались во Франции судебные должности). Причем, продавало самоуправление правительство за цену в **десять (!) раз большую**, нежели платили они до реформы. Казалось бы, такое чудовищное усиление налогового пресса должно было вызвать в уездах если не открытый бунт, то, по крайней мере, взрыв возмущения. Ничего подобного, однако, зарегистрировано не

⁷ Цит. по: А.А. Зимин. Цит. Соч., с. 379.

было. Нет и следа крестьянских жалоб на реформу. Напротив, она была воспринята со вздохом облегчения. Это, впрочем, неудивительно, если вспомнить, что такие крестьянские семьи, как Макаровы, Шульгины, Окуловы, Поплевины или Родионовы, были достаточно богаты, чтоб платить новые налоги за целый уезд.

Для шестидесятников, во всяком случае, выгода, которую принесла реформа сельским и посадским богатым была более чем достаточным объяснением, почему русская деревня приняла ее с воодушевлением. Но не из одних ведь богатеев состояло тогдашнее крестьянское и посадское общество. Большинство, как свидетельствует летопись, были все-таки «люди средние». Они-то чему радовались, десятикратному росту налогов? И почему тот краткий исторический миг Великой реформы, позволявшей «посадским людям судиться между собою», запал в народную память, как счастливейшее из времен? Должно было быть что-то еще, чему радовалось большинство. И это «что-то» станет очевидно, едва сбросим мы шоры «классовых интересов», застывших глаза советским историкам.

Вот как выглядит реформа в описании Н.Е. Носова: «Двинские крестьяне **откупились** от феодального государства и его органов, получив за это широкую судебно-административную автономию. Это была дорогая цена. Но что значил для двинских богатеев «наместничий откуп», когда только одни Кологривовы могли при желании взять на откуп весь Двинский уезд! А зато какие это сулило им выгоды в развитии их наконец-то освобожденной от корыстной опеки феодалов-кормленщиков торговой и промышленной деятельности, а главное, в эксплуатации

не только всех северных богатств, но и двинской бедноты. И разве это не был шаг (и серьезный шаг) в сторону развития на Двине новых буржуазных отношений?»⁸.

Можно и так, наверное, выразиться, но едва ли так уж радовал «среднее» большинство в уездах и посадах «шаг в сторону развития буржуазных отношений». Присутствуют у Носова лишь эксплуататоры-богатеи и эксплуатируемая беднота. Большинства, т.е. «средних», нет. А тон-то задавали они. И обыкновенный здравый смысл подсказывает, что единственное, чему могли они радоваться при десятикратном повышении налогов, было освобождение **ОТ ПРОИЗВОЛА ВЛАСТИ**, т.е. именно право «судиться между собою».

В чем Носов прав, однако, это в том, что уезды покупали себе право не только на независимый суд, но и на то, чтобы крестьяне и посадские люди сами распределяли налоги «меж собя... по животам и по промыслам», т.е. по доходу отдельных семей. Как видим, создание института самоуправления сопровождалось официальным признанием неравенства и введением своего рода подоходного налога, что принципиально отличало новый институт от старой волостной общины, ориентированной на равенство ее членов. А это в свою очередь означало, что правительство впервые в русской истории осознало: появился новый слой собственников-налогоплательщиков, своего рода средний класс, который выгоднее рационально эксплуатировать, нежели отдавать на откуп кормленщикам? Осознало, короче, что эта курочка способна нести золотые яйца.

⁸ Н.Е. Носов. Становление сословно-представительных учреждений в России, Л., 1969, с.344.

Скажу также, предупреждая возражения сегодняшних оппонентов, что распределение налогов «меж себя по животам и промыслам» в сочетании с земским самоуправлением предполагало, разумеется, и **налоговое самообложение** для нужд земства. Как же иначе, на какие, извините, шиши, могла бы новая крестьянская администрация исполнять свои правительственные обязанности? Короче, поразительное сходство этой, промелькнувшей одно историческое мгновение (1552 по 1560 год), реформы с земским законодательством 1860-х, неотразимо. А для меня это, как еще одно важное свидетельство существования европейского столетия России, так и способности государственности тех времен к саморазвитию. Ведь еще при Иване III, в начале XVI века, ничего подобного не было. А уже в середине появилось. Правительство адекватно, по-европейски ответило на вызов истории.

КРЕСТЬЯНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Вот заключение того же А.И. Копанева: «Активная мобилизация земель, явствующая из Двинских документов, привела к гигантской концентрации земель в руках крестьян». И не о каких-то клочках земли шла здесь речь, они покупали целые деревни. И самое интересное в том, что «деревни или части деревень стали объектом купли-продажи **без каких бы то ни было ограничений**». Переходила земля из рук в руки «навсегда, т.е. как собственность, как аллодиум, утративший все следы феодального держания»⁹.

⁹ А.И. Копанев. Вопросы аграрной истории, Материалы научной конференции по истории сельского хозяйства Европейского Севера СССР, Вологда, 1968, с. 450.

Мало того, принадлежали крестьянам как аллодиум, т.е. неотчуждаемая частная собственность, не только пашни, сенокосы, огороды, звериные уловы и скотные дворы, важнее, что покупали они также рыбные и пушные промыслы, ремесленные мастерские и солеварни. Именно это и имею я в виду, когда говорю о крестьянской **вотчинной** собственности. Как бы то ни было, документы свидетельствовали, что была на Руси в ее европейское столетие страта крестьян-собственников, многие из которых были богаче дворян.

Была. Покуда опричная революция не смела с лица земли и Юрьев день, и Великую реформу 1550-х, и правительство Адашева – и крестьянскую собственность. Во всяком случае, сколько бы ни обыскивали местные архивы шестидесятники-«археологи» за десятилетия после опричнины, никаких следов крестьянской «предбуржуазии», как успели они окрестить богатеющую деревню, не обнаружили. Исчезла. Добыли.

ПОПЫТКА РЕКОНСТРУКЦИИ

Единственное, что нам остается, это попытаться, насколько это возможно, реконструировать, как это произошло. Более чем правдоподобно предположить, что богатеющая свободная деревня вкупе с Юрьевым днем стала грозным конкурентом дворянства. Более того, грозила его разорить. Разумно предположить далее, что дворянство искало союзников, заинтересованных, как и оно, в отмене Юрьева дня. Едва ли можно сомневаться, что разорение свободного крестьянства как конкурента входило в число его приоритетов наряду с трансформацией служебных поместий в наследственные вотчины.

Естественным союзником была церковь. И не только потому, что имущественные ее интересы совпадали с интересами дворянства: Юрьев день и процветающая деревня, как магнит притягивающая уходящих от них крестьян, были костью в горле обоих. Но еще и в другом было дело. Ситуация самой церкви обострилась в 1550-е до крайности.

Иосифлянская иерархия, чувствовавшая себя победительницей после того, как отстояла свои монастырские земли на церковном Соборе 1503 года от лобового штурма Ивана III и окончательно, как она полагала, разгромила нестяжателей, приравняв их к еретикам-жидовствующим, почуяла новую и на этот раз, могло показаться, смертельную угрозу. Логика реформы просматривалась совершенно четко. Вслед за первым Земским собором 1549-го, открывшим эру крестьянского самоуправления, принят был в 1550 году Судебник, вводивший, наряду с известным уже читателю пунктом 98, еще одно важное новшество – отмену тарханов. Любопытная, согласитесь, возникала картина. С одной стороны, реформистское правительство решительно ограничивало власть церкви, отменяя тарханы, а с другой, – столь же решительно действовало в интересах посадских людей и крестьянской предбуржуазии. Вот как оно это делало.

По новому Судебнику центральная власть обеспечивала себе право «въезжать» на прежде отарханенные земли. И в то же время, вводя земскую реформу и отменяя «кормления», она отказывалась «въезжать» на земли крестьянские (и в посады). Другими словами, в привилегированном положении оказывались теперь именно крестьяне и посадские

люди (т.е. купцы и городские ремесленники). Но это было еще полбеды.

Настоящей бедой запахло для монастырских владений в 1551 году, когда царь неожиданно выступил на церковном Соборе (известном в истории как Стоглав) с поистине убийственными вопросами иосифлянским иерархам. Вот некоторые из них: «В монастыри поступают не ради спасения души, а чтоб всегда бражничать. Архимандриты и игумены докупаются своих мест, не знают ни службы Божией, ни братства... прикупают себе сёла, а иные угодя у меня выпрашивают. Где те прибыли, и кто ими корытуется? На ком весь этот грех взыщется? И откуда мирским душам получать пользу и отвращение от всякого зла? Если в монастырях всё делается не по Богу, то какого добра ждать от нас, мирской чади? И через кого просить нам милости от Бога?»¹⁰.

Согласитесь, что такие вопросы уместны были бы в устах Нила Сорского или Вассиана Патрикеева. Теперь слышим мы их из уст самого царя. Трудно назвать это иначе, нежели манифестом четвертого поколения нестяжателей, вступившего на политическую арену полстолетия спустя после поражения на Соборе 1503 года? По всему выходило, что на очереди был в начале 1550-х новый – как выяснилось, последний в XVI веке – штурм монастырского землевладения.

Напуганная иерархия во главе с митрополитом Макарием, конечно, сопротивлялась отчаянно. И молодой царь был, разумеется, не чета своему великому деду. Он отступил не для того, чтобы вернуться. Но

¹⁰ А.С. Павлов. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России, Одесса, 1871, с. 113.

перепуг был среди клерикалов страшный. Нестыжательская идея оказалась живой, и так же, как при Иване III, она была опять поддержана правительством. И кто знает, что сулила она церкви в будущем? Ее следовало раздавить – теперь уже навсегда.

И другого способа сделать это, кроме самодержавной революции, призванной раз и навсегда освободить царя от этого реформистского правительства и вообще от еретического наследия Ивана III, которое это правительство пыталось воскресить, придумать иосифляне не смогли.

Для того и понадобился иерархии союз с дворянством, тот самый могущественный военно-церковный блок, создания которого, как я уже писал в главе 2, в «Заметках по следам дискуссии», счастливо избежали, вовремя секуляризовав монастырские земли, Швеция, Дания и Норвегия. Соблазнить внушаемого и тщеславного царя идеей неограниченной власти и «сакрального царствования», тем, что Прицилла Хант назовет впоследствии «персональной мифологией Ивана Грозного», оказалось довольно несложно.

Пригодилась и старая идея о Москве, как о III Риме, предложенная еще в 1517 году Василию III псковским монахом Филофеем и с тех пор основательно подзабытая. Макарий, бывший воспитатель малолетнего Ивана, не только возродил ее, но и истолковал соблазнительно, как обязанность православного царя, наследника вселенского императора Августа, обратить еретическую Европу в истинную веру.

Ничего эффективнее, чтобы вбить клин между царем и Правительством, нежели Ливонская война, и придумать нельзя было. Царь загорелся безумной

идеей «поворота на Германы», означавшей, по сути, вызов Европе. Правительство Адашева, как могло, сопротивлялось, саботировало. Просто потому, что отчетливо понимало гибельность этой затеи. Хотя бы потому, что Москва была решительно не готова к войне с Западом. Это безоговорочно подтвердили впоследствии все без исключения русские историки независимо от их отношения к Грозному.

С.М. Соловьев: «Даже и в войсках литовских, лучше сказать, между вождями литовскими, не говоря уже о шведах, легко было заметить большую степень военного искусства, чем в войсках и воеводах московских. Это было видно из того, что во всех почти значительных столкновениях с западными неприятелями в чистом поле московские войска терпели поражения. Так было в битвах при Орше, при Уле, в битвах при Лоде, при Вендене»¹¹.

Того же мнения и М.Н. Покровский: «Феодалные ополчения московского царя не выдерживали схватки грудь с грудью против регулярных армий Европы. Надо было искать врага по себе, такими казались крымские и поволжские татары»¹².

Еще удивительнее, что то же самое говорил и самый беззаветный певец Ливонской войны акад. Р.Ю. Виппер: «При завоевании Поволжья московские конные армии вели бой с воинством себе подобным... Совсем другое дело – война западная, где приходилось встречаться со сложным военным искусством командиров европейских наемных отрядов.

¹¹ С.М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн.3, М., 1960, с. 651.

¹² М.Н. Покровский. Избранные произведения, М., 1966, кн.1, с. 40.

Московские войска почти неизменно терпят поражения в открытом поле»¹³.

Даже С.П. Бахрушин, сочинявший почти столь же восторженные гимны Ливонской войне, как и Виппер, признается со вздохом: «Да, Россия в XVI веке еще не была готова к решению балтийской проблемы». Другое дело, что и это мрачное признание умудрился почтенный мэтр обернуть похвалой царю: «Тем более поражает проницательность, с какой Иван IV осознал основную жизненную задачу русской внешней политики и на ней сосредоточил все силы своего государства»¹⁴.

Может быть, читатель подскажет мне, где здесь логика? Сосредоточить «все силы своего государства» на решении заведомо неразрешимой проблемы, обрекая тем самым страну на неслыханные жертвы и неслыханное разорение и в конечном счете на эпохальное поражение, это проницательность? Что же в таком случае безрассудство и преступление?

Мы не знаем и никогда не узнаем, что происходило тогда на кремлевском верху, знаем лишь результат. Военно-церковный блок выиграл спор за сердце царя. Вызов Европе был брошен, правительство разогнано. Четверть века спустя, дотла разорив страну войной и террором, царь Иван капитулировал. Крестьянские самоуправление – и крестьянская собственность были лишь попутной жертвой «поворота на Германы».

Победители торжествовали. Церковь сохранила свои гигантские владения. Дворяне стали вотчинниками. Юрьев день был отменен, крестьянство закреп-

¹³ Р.Ю. Виппер. Иван Грозный, Ташкент, 1942, с. 115.

¹⁴ С.В. Бахрушин. Иван Грозный, ОГИЗ, 1945, с. 84.

пощено. Церковь и дворянство торжествовали победу над собственной разоренной страной. Проиграла Россия, открытая всем бурям Смутного времени и московитскому прозябанию.

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ «ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ»

Все это не могло не привести советских историков-шестидесятников к необходимости отвернуть старую парадигму, смешавшую кипящее нововведениями Московское государство, готовое, казалось, к решающей модернизации, с архаической, «выпавшей из Европы» Московией. Увы, не удалось им исполнить завет своего лидера А.А. Зимина, что «**настало время коренного переосмысления политической истории России XVI века**». Отчасти помешала марксистская догматика (отчего и звучат порою их высказывания несколько гротескно), в СССР все-таки происходило дело. Но подошли они к переосмыслению близко. Вот лишь несколько примеров.

Вот заключение Д.П. Маковского (1960): «В XVI веке в сельском хозяйстве Русского государства зародились капиталистические отношения и были подготовлены необходимые экономические условия для их развития... Но в 1570-х произошло активное вмешательство надстройки [мы еще увидим, как оно выглядело, это «вмешательство»] в экономические отношения в интересах помещиков... Это вторжение не только подорвало состояние производительных сил в стране, но и вызвало явления регресса»¹⁵.

¹⁵ Д.П. Маковский. Развитие товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве русского государства, Смоленск, 1960, с. 212.

Вот заключение С.М. Каштанова (1963): «Рассматривая опричнину в социальном аспекте, мы убеждаемся, что главное в ней – ее классовая направленность... проведение мероприятий, содействовавших закреплению крестьянства. В этом смысле опричнина была, конечно, в большей степени антикрестьянской, чем антибоярской политикой»¹⁶.

Вот заключение С.О. Шмидта (1968): «Сегодня становится все более ясным, что политика правительства Адашева в гораздо большей степени способствовала развитию в направлении к абсолютизму европейского типа, чем политика опричнины, облегчившая торжество абсолютизма, пропитанного азиатским варварством»¹⁷.

Вот, наконец, заключение Н.Е. Носова (1969): «Именно тогда решался вопрос, по какому пути пойдет Россия, по пути подновления феодализма “новым изданием” крепостничества или по пути буржуазного развития. Россия была на распутье ... И если в результате ивановой опричнины и “великой крестьянской порухи” все-таки победили крепостничество и самодержавие, то это отнюдь не доказательство их прогрессивности»¹⁸.

В этих высказываниях, суммирующих мнения шестидесятников, уже присутствуют почти все «кирпичи», необходимые для новой логически непротиворечивой исторической парадигмы. Да, им не хватало глубины и связности, не хватало теории, центральной идеи. И потому повисли они в воздухе. Маковский, например, не мог объяснить, откуда взялось

¹⁶ С.М. Каштанов. «История СССР», 1963, № 2, с. 38.

¹⁷ С.О. Шмидт. «Вопросы истории», 1968, № 5, с. 24.

¹⁸ Н.Е. Носов. Цит. соч., с. 344.

«активное вторжение надстройки, вызвавшее явления регресса». Да и можно ли было объяснить это из «развития товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве», которым он занимался?

Каштанов не объяснил антикрестьянскую политику опричнины. И не мог объяснить, не отбросив архаический миф о «реакционности боярства». Шмидт не объяснил политическое различие между двумя «абсолютизмами», поскольку пропасть между абсолютной монархией и деспотией осталась для него темной.

Носов не выяснил, какая комбинация политических сил предопределила победу «подновленного феодализма» и самодержавия и поражение «буржуазного развития». Да можно ли было это сделать без анализа политической, а не только социально-экономической ситуации в тогдашней Руси, которой было посвящено его знаменитое в свое время исследование?

Да и в принципе не прав был Зимин, что время «для коренного переосмысления политической истории XVI века» настало при его жизни (Александр Александрович умер в 1980-м). Должен был еще рухнуть монстр. Должна была в очередной раз восторжествовать эпоха гласности и «буржуазного развития», чтобы могла стать очевидной концепция ГИБРИДНОСТИ самодержавной государственности. Чтобы идея европейского столетия России как **основы** этой гибридности не была отвергнута с порога как бред одинокого безумца. Короче, нельзя было ждать зиминского «переосмысления» лишь от открытия новых исторических фактов, как он думал. Сама жизнь должна была их подтвердить.

Что остается мне к этому добавить? Разве лишь то, что правоту шестидесятников не могли опровергнуть даже самые отчаянные апологеты Грозного. Я уже обращал на это внимание читателя, когда упоминал о нечаянных «проговорах» акад. Р.Ю. Виппера и проф. С.П. Бахрушина (речь шла о готовности Руси к войне с Европой). Но вот уже не проговорка, а развернутое признание одного из самых авторитетных в 1940-е историков проф. И.И. Полосина, не уступавшего в своей преданности опричнине ни Випперу, ни Бахрушину: «Опричнина в своем классовом выражении была оформлением крепостного права, организованным ограблением крестьянства... Дозорная книга 1571–72 годов рассказывает, как в потоках крови опричники топили крестьян-повстанцев, как выжигали целые районы, как по миру нищими бродили «меж двор» те из крестьян, кто выжил после экзекуций».

Так погибла Великая крестьянская реформа европейского столетия России.

ЯЗЫК, НА КОТОРОМ МЫ СПОРИМ

Глава 5

ДЕСПОТОЛОГИЯ

Достаточно ли того, что узнал до сих пор читатель, не только для «коренного переосмысления политической истории XVI века», завещанного нам А.А. Зиминным, но и для обоснования новой парадигмы российской истории **в целом**? Конечно, нет. Но для того, чтобы понять, чего недоставало советским шестидесятникам, чтобы сложить свои «кирпичи», в «новую национальную схему», говоря словами Г.П. Федотова, пожалуй, достаточно.

Две вещи, как уже говорил, бросаются в глаза. Во-первых, недоставало нового «прорыва в Европу», который не оставил бы сомнений, что распутье XVI века не было случайным глюком русской истории. Новый «прорыв» как бы подтверждал их догадку 1960-х, превращал гипотезу в уверенность: Россия действительно оказалась способна **выбирать** свой путь в человечестве. Во-вторых, недоставало теории, которая могла бы связать все их открытия воедино – и вести дальше.

О первом позаботилась сама история, второе осталось на нашу долю. В этом, собственно, и состоит смысл теоретического блока, с которым я сейчас познакомлю читателей. Он разделен на три главы. И тут от них потребуются внимание, ни одну пропу-

стить нельзя. Просто потому, что каждая двумя ногами, так сказать, стоит на плечах предшествующей. На самом деле, впрочем, все просто: сравним по пунктам азиатскую деспотию, о которой мы так много уже слышали, с европейской абсолютной монархией, а потом примерим обе – тоже по пунктам – с главным, что нас интересует, с российской самодержавной государственностью. И посмотрим, что у нас получится.

Предварю я, однако, эти сравнения, гипотезой о национальных **исторических циклах**. Как потому, что она сама по себе первостепенно теоретически важна, так и в память о покойном (мир праху его!) друге и коллеге по кафедре в SUNY, крупнейшем современном американском историке Артуре Шлезингере, который ее, эту гипотезу, собственно, и придумал. Итак...

Книга Шлезингера «Циклы американской истории»¹⁹ – единственная, сколько я знаю, где автор не уклонился от рокового вопроса о месте своей страны в политической вселенной. И «собственный путь» Америки у него очень даже присутствует. В конце концов, родилась она в процессе восстания против своей прародительницы Европы. И многие десятилетия считала её опасным гнездом монархических ястребов. (Почитайте хоть с этой точки зрения Марка Твена или О’Генри и увидите, до какой степени презирали янки Европу). Но годы шли. Европа менялась и, как отчетливо видим мы у Шлезингера, поверхностная отчужденность уступала место осознанию глубинного родства.

Короче, Sonderweg Америки выступает у Шлезингера «собственным путем» к Европе, если хо-

¹⁹ Arthur M. Schlesinger, Jr. The Cycles of American History, Boston, 1986.

тите, а не «особым», отдельным от Европы, как у немецких и русских националистов. И не оставляет его книга сомнений, что в конечном счете Америка – лишь ветвь европейской цивилизации, при всех отклонениях, разделяющая с нею и судьбу ее и грехи. Вот почему подзаголовок его книги вполне мог бы гласить «Путь Америки в Европу» (несмотря даже на то, что никуда не делись остатки первоначальной розни).

Другое дело, что под «циклами» разумел Шлезингер лишь *двухфазовое* чередование динамичных и застойных периодов в американской истории, лишь смену фаз реформы и политической стагнации. В отличие от *трехфазовых* исторических циклов России, не имели американские циклы, во всяком случае, до сих пор, роковой *третьей фазы*, способной снести, подобно гигантскому цунами, всё достигнутое за время ее предшественниц, вынуждая страну снова и снова начинать с чистого листа. Я говорю, конечно, о *фазе русской контрреформы*. Большею частью она совпадает с цивилизационными катаклизмами, хотя порою и затухает на полпути к ним, но всегда грозит обернуться финальным хаосом, небытием, в котором может неожиданно и страшно оборваться историческое путешествие великой страны.

Даже реформы, в особенности те, что связаны с цивилизационными сдвигами, проходят в России, как правило, в *беспощадном и катастрофическом ритме контрреформ*. Из-за этого, в частности, вот уже три столетия никак не могут российские мыслители договориться о роли Петра в истории России. И о роли гайдаровских реформ тоже не могут. По сравнению с этой гигантской повторяющейся драмой цикла Шле-

зингера выглядят ручными, домашними, не более чем перепадами политической активности. И ясно поэтому, что либеральная философия русской истории должна писаться совсем иначе. Но я ведь не о форме сейчас, я о жанре.

(Нельзя не заметить, однако, в 2017 году, десять поколений после своего начала, что Америка, похоже, на наших глазах обретает ту самую роковую *третью фазу*, которую, казалось, присуща была только России. В самом деле пережила она и войну за независимость, затянувшуюся с 1776 до 1812 года, и гражданскую войну 1860-х, но контрреформы до сих пор в ее истории не было. *Приход к власти Трампа означает в моих терминах именно попытку контрреформы*. Означает ли это, что Трампу удастся повернуть вспять все, что было достигнуто за последнее столетие, тем более за все 240 лет ее существования, судить рано. Вполне возможно, что институциональная структура Америки, сложившаяся за эти столетия, блокирует его попытку или, по крайней мере, сведет ее к минимуму. Как бы то ни было, трампизму, по-видимому, суждено войти в историю, как значительному реакционному историческому эксперименту, сопоставимому с большевистской революцией 1917. И станет он испытанием не только для Америки – и для мира – но и для гипотезы Шлезингера).

УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ

Вопросы перед нами такие. Как доказать в отношении России то, что удалось доказать Шлезингеру в отношении Америки? А именно, что при всех своих драматических отклонениях Россия, в конечном счете, такая же заблудшая ветвь европейской цивили-

лизации, как и Америка. И, как у Америки, нет у нее другого пути, кроме пути в Европу, *то есть не в географическую точку на карте, а в полностью сохраняющую ее культурную преемственность, но при этом непрерывно модернизирующуюся как политически, так и технологически цивилизацию.* Как объяснить, что не только не укладывается Россия ни в один из полюсов биполярной модели, очаровавшей историков 1960-х, но и сама эта модель, по сути, анахронизм? Как, по крайней мере, приступить к выработке общего языка, на котором был бы возможен диалог между российскими и западными историками?

Если эта задача в принципе имеет решение, я вижу к нему лишь один подход. И заключается он в том, чтобы максимально *уточнить все термины*, которыми мы оперируем, сделать их не только *прозрачными и строгими*, но и такими, чтобы все рационально мыслящие историки *могли в принципе с ними согласиться.* Я не знаю, возможно ли это, но хочу попытаться.

Понадобится мне для этого совсем не современное, но абсолютно, думаю, необходимое и систематическое описание *обоих полюсов этой модели, т.е.*

- 1) *азиатского деспотизма и*
- 2) *европейской абсолютной монархии.*

Чтобы потом мы с читателем могли сопоставить их с историей *самодержавной государственности России.*

Нет сомнения, это трудоемкий и немодный подход, требующий от читателя почти такого же интеллектуального напряжения, как и от автора. Но боюсь, что ни при каком другом подходе не удастся нам положить конец тому диалогу глухих, невольными участниками которого мы являемся.

СЛОЖНОСТИ

Вот самая из них злобная. За девять с половиной тысяч лет, которые относит к эпохе неподвижных «мир-империй» (в противоположность динамичным «мир-экономикам») – термины Валлерстайна – существовало великое множество деспотических государств. И ни одно из них не походило на другое. Гигантская «мир-империя» Ахеменидов, грозившая раздавить в пятом веке до н.э. крохотную «мир-экономику» Афин, не была похожа на Сафавидскую державу шаха Аббаса, грозившую двадцать столетий спустя проглотить Закавказье. Шиитский халифат Фатимидов в Каире (ливанские друзы и по сей день обожествляют его основателя Аль Хакима) очень мало походил на предшествовавшее ему в том же Египте царство Птолемеев, с которым сравнивал Россию Ричард Пайпс.

Поклонников евразийства заинтересует, наверное, что прославленный ими как прародитель России Чингисхан с гордостью провозглашал: «Величайшее удовлетворение в жизни доставляет мне проливать кровь врагов и видеть слезы на глазах их вдов». Так, по крайней мере, рассказывал китайский мудрец, отшельник Чанг Чун, приглашенный в 1219 г. на аудиенцию к завоевателю. Не знаю, как евразийцы, но Чанг Чун удивился кровожадности «императора варваров»²⁰.

С другой стороны, потомки того же Чингисхана уничтожили не только Киевско-Новгородскую Русь или империю Сунг в Китае, но и государство Ассасинов в Сирии, где убийство возведено было в ранг

²⁰ *Felipe Fernandez-Arnesto*. Millenium, NY, 1995, p. 130.

религиозного ритуала. А халиф Аль Хаким «раздавал деньги, не считая», поскольку был уверен, что с его смертью кончится мир. В XI-то веке...

Всё это были деспотические государства, и найти между ними общее непросто. Приходится создавать их, если хотите, коллективный портрет (или, на языке литературной критики, обобщенный образ). И то же самое с абсолютистскими монархиями Европы, где пропасть отделяла, скажем, Францию Людовика XI (Монтескье считал его родоначальником французского деспотизма) от умиротворенной Англии Генриха VII.

Ясно, что в результате таких обобщений мы получим лишь своего рода, «идеальные типы», которые в чистом виде никогда не существовали. Т.е. анализируем мы скорее цивилизационные парадигмы, нежели реальные государства. Или, на языке математиков, то, как выглядят эти государства «в пределе». Но сопоставлять-то придется нам эти парадигмы именно с реальной историей реального государства. Это серьезная трудность. Зато позволит это нам прояснить терминологический хаос и сделать шаг к осмысленному диалогу с широким кругом оппонентов, которым не безразлична обсуждаемая тема. Что поделаешь, какой бы ни избрали мы подход, он неминуемо будет иметь свои недостатки. Вот и все предварительные замечания. А теперь к делу.

ПЕРВЫЙ ШАГ ДЕСПОТОЛОГИИ

Уже Аристотель знал, что помимо трех правильных и трех неправильных («отклоняющихся», как он их называл) форм политической организации общества, свойственных цивилизованной ойкумене,

существует за ее пределами в непостижимой для свободного человека тьме варварства еще и седьмая – деспотизм. Внешне, говорил он, эта «царская власть у варваров, наследственная и деспотическая»²¹, напоминает очень хорошо известную цивилизованному миру тиранию. Но сходство это поверхностное. Ибо тирания лишь одна из преходящих форм в вечно меняющейся политической вселенной, тогда как деспотизм вечен.

Человеческий ум не в силах постичь, как могут народы терпеть перманентную тиранию. Поэтому воспринимал Аристотель деспотизм как нечто нечеловеческое. В конце концов, человек был для него животным политическим. Главным его признаком считал он участие в суде и в совете, т.е. в управлении обществом. Поскольку деспотизм у варваров ничего подобного не допускает, то считаться людьми они, по его мнению, не могли. Тем не менее, по всем остальным признакам они все-таки люди. Тут была дилемма.

Как разрешил её Аристотель, известно: он привязал деспотизм к рабству. Даже для величайшего из античных мыслителей раб, хоть и походил на человека, был, тем не менее, лишь инструментом, орудием труда. Вот Аристотель и толковал деспотизм как своего рода внешнеполитическое измерение рабства. Подданный деспотического государства для него потенциальный раб (и, стало быть, не человек).

Нельзя, конечно, не сказать, что интерес его к этим потенциальным рабам нисколько не походил на интерес, допустим, современного зоолога к стаду орангутангов. На самом деле отношение Аристотеля к этому феномену было скорее пропагандистским,

²¹ Аристотель. Политика, М., 1911, с. 139.

нежели академическим. И связано оно было с первой известной нам серьезной попыткой «мир-империи» подавить «мир-экономику». Каждый делает, что может. Аристотель не был воином. И, подобно всем либеральным интеллектуалам, пришедшим после него, он защищал свободу своих сограждан единственным оружием, каким владел – идеями.

При всем том, однако, нельзя отрицать, что представив *теоретически* деспотизм как **перманентную тиранию**, он сделал первый шаг к его осмыслению. Еще интереснее его определение тирании, которая «есть в сущности та же монархия, но имеющая в виду интересы одного правителя»²². Представим себе народ, из поколения в поколение живущий «ради интересов одного правителя» – и что мы получим? Ту самую антицивилизацию, которую две с половиной тысячи лет спустя Карл Виттфогель назовет «системой тотальной власти», а Валлерстайн «мир-империей». Но мы забегаем вперед.

«ОТКЛОНЕНИЯ» АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ

Читатель знает, конечно, что замечательное разнообразие политических форм, свойственное греческим полисам, оказалось в исторической перспективе недолговечным. И сменилось оно вовсе не идеальной Политией, о которой мечтал Аристотель, и тем более не утопической Республикой Платона, а монархией, которая на столетия вперед стала доминирующей формой политической организации общества. На первый взгляд случилось именно то, чего так боялся Аристотель: «мир-империи» (мы все еще

²² Аристотель. Цит. соч., с. 112.

рассуждаем в терминах Валлестайна) снова раздавили «мир-экономику». Не будем, однако, торопиться. Ибо европейские абсолютные монархии оказались на самом деле **парадоксом**.

Хотя они и стремились, как предсказывал Аристотель, «отклониться» к тирании (и даже, как казалось современникам, к деспотизму), им это почему-то никогда **не удавалось**. Во всяком случае европейская политическая мысль на протяжении столетий предпринимала экстраординарные усилия, чтоб удержать монархию от этого рокового «отклонения». Мы можем обнаружить следы этого драматического усилия уже в XIII веке у английского юриста эпохи первых парламентов Генри де Брактона, в «Похвале английским законам», Джона Фортескью в XV, у Дю-Плесси Морне и – ярче всех – у Жана Бодена в XVI. Собственно, Боден, практически отлучивший от Европы деспотизм (который он именовал «сеньориальной монархией»), уже торжествовал победу.

Мысль Бодена сводилась к тому, что в Европе осталось лишь два режима, при которых «принц становится господином над вещами и **личностью** своих подданных, управляя ими, как глава семьи своими рабами» (он имел в виду Турцию и Московию). И вот гордый финал: «В Западной Европе народы не потерпели бы такого правительства». Но торжествовал Боден рано. Ибо двумя столетиями позже «отклонение» монархии к тирании достигло в Европе пика. Если верить Мерсье де ла Ривьеру, деспотизм и вовсе стал тогда совершившимся фактом. И самый выдающийся политический мыслитель того времени Шарль-Луи де Секондат, барон де ля Бреде, больше известный как Монтескье, склонен был с этим согласиться.

Старый мэтр был пессимистом и консерватором. Он был убежден, что дни «умеренного правления», как называл он абсолютную монархию (в другом месте именовал он её, как ни странно это сегодня звучит, *etat de droit*, *правовое государство* в переводе на русский) сочтены. Другими словами, полагал Монтескье, что вековая борьба, замеченная еще Аристотелем, близится к трагическому финалу. «Как реки бегут слиться с морем, – писал он, – монархии стремятся раствориться в деспотизме»²³. Конечно, Монтескье не сложил оружия и перед лицом этой неумолимой, как ему казалось, судьбы. Напротив, бросил он ей вызов, написав свой «Дух законов», которому суждено было изменить ход истории, к сожалению, лишь после его смерти (для отцов-основателей Америки книга его стала не только настольной, но и руководством к действию).

Современники упрекали его в том, что он, собственно, так и не дал адекватного описания деспотизма, ограничившись афоризмом: «Когда дикари Луизианы хотят достать плод, они срезают дерево у корня и достают его – вот вам деспотическое правление».²⁴ На самом деле Монтескье сделал второй по важности после Аристотеля теоретический вывод о природе деспотизма. Он указал на его историческую неэффективность, делающую перманентную стагнацию неизбежной. То самое, что заметил столетия спустя Валлерстайн, говоря об эпохе «мир-империй» как о тысячелетнем историческом провале.

Как бы то ни было, вопреки пессимизму мэтра, XVIII век Европа пережила. Она ответила на угрозу

²³ Шарль Монтескье. О духе законов, СПб, 1908, с. 127.

²⁴ Там же, с. 64.

«отклонения» абсолютизма к перманентной тирании изобретением... демократии (поистине новое это хорошо забытое старое). «Мир-империи» снова потерпели поражение. На этот раз, как могло показаться, окончательное. Соответственно и деспотология утратила свое качество идейного оружия в актуальной политической борьбе. Она обрела характер академический.

РАВЕНСТВО БЕЗ СВОБОДЫ

Джон Стюарт Милль ввел для описания деспотизма термин «Восточное общество», Ричард Джонс – «Азиатское общество» (можно лишь пожалеть, что в оборот мировой деспотологии не вошли идеи замечательного русского мыслителя XVII века *Юрия Крижанича*. Между тем, его теория «*умеренной аристократии*» как главного бастиона против деспотизма *предшествовала* аналогичным наблюдениям Дэвида Юма и Алексиса де Токвилля). Но самый знаменитый вклад в деспотологию в период между Монтеスキе и Виттфогелем внесли, конечно, Гегель и Маркс.

Гегель сосредоточился на обличении того, что он называл «равенством без свободы». В Китае, писал он, «мы имеем область абсолютного равенства; все существующие различия возможны лишь в отношениях с властью... Поскольку равенство преобладает в Китае, но без следа свободы, формой правления по необходимости является деспотизм. Император здесь центр, вокруг которого все вертится; следовательно, благосостояние страны и народа зависит только от него [и] различие между рабством и свободой невелико, поскольку все равны перед импера-

тором, т.е. все одинаково унижены... И хотя там нет никакого различия по рождению, и каждый может достичь высших почестей, само равенство свидетельствует не о торжествующем утверждении внутреннего достоинства в человеке, но о рабском сознании»²⁵. Напоминает что-то, не так ли?

При всем уважении к классику, однако, нужно признать, что Крижанич сказал то же самое куда ярче и при том за полтора столетия до него. Хотя моделью для его описания деспотизма служила не Персия, как для Монтескье, и не Китай, как для Гегеля, а *Турция*, заключения его нисколько не отличались от тех, к которым много десятилетий спустя придут классики. «Турки, – писал он, – не обращают никакого внимания на родовитость (поскольку никакого боярства там нет), но говорят, что они смотрят на искусность, ум и храбрость. Однако на деле это не так и часто начальниками бывают негодные люди, умеющие лучше подольститься. Так одним махом из самых низших становятся наивысшими, а из наивысших – наинизшими. Такое дело лишает людей всякой храбрости и порождает ничтожество и отчаяние. Ибо никто не бывает уверен в своем положении, богатстве и безопасности для жизни и не имеет причины трудиться ради высокой чести и славы»²⁶.

Маркс обратил внимание на другую сторону дела. Он ввел в оборот деспотологии понятие «азиатского способа производства», сутью которого было сосредоточение всей собственности на землю в руках государства (то самое, заметим в скобках, что

²⁵ G.W.F. Hegel. Lectures on the Philosophy of History, London, 1861, pp. 130,133–134,137,145.

²⁶ Ю. Крижанич. Политика, М, 1968, с. 438.

и по сей день отстаивают в России националисты). Между тем, именно эта монополия государства и лежала, согласно Марксу, в основе того «равенства без свободы», о котором говорил Гегель, так же как «ничтожества и отчаяния», которые описывал Крижанич, и перманентной экономической стагнации, которую подчеркивал Монтескье. Ибо ясно же, что элиты страны, лишённые собственности, никакие не элиты, но лишь марионетки в руках монополиста, назови его хоть богдыханом, хоть президентом.

РОЛЬ КАРЛА ВИТТФОГЕЛЯ

Так выглядели первые шаги науки о деспотизме. Плеяда блестящих европейских мыслителей работала, как мы видели, на протяжении столетий, чтоб высветить для нас суть этой формы политической организации общества. Оказалось, что большая часть поколений, прошедших по этой земле, жила и умерла, даже не подозревая о существовании «внутреннего достоинства человека». Потрясающее, согласитесь, коллективное открытие.

Но все это были отдельные прозрения, рассеянные по многим книгам и лекциям. Раньше или позже должен был найтись человек, который обобщил бы и систематизировал все эти наблюдения. Создал, если хотите, из них строгую и серьезную науку. У меня нет уверенности, что Виттфогель ставил себе такую задачу. Не уверен я даже, что вообще имел он представление о Бодене или о Юме, не говоря уже о Крижаниче, как о своих предшественниках. Он-то писал свой «Восточный деспотизм» совсем из других побуждений. Просто в его время деспотология в очередной раз перестала быть академическим занятием.

Виттфогель был современником и свидетелем нового бешеного и на этот раз, казалось, неостановимого, наступления «мир-империи» на цивилизацию. Подумайте, человек, умиравший, допустим, в 1940-м в побежденной и растоптанной нацистами Европе вполне ведь мог быть уверен, что мир и впрямь рушится у него на глазах. Стефану Цвейгу, покончившему с собой, или, например, Томасу Манну, продолжавшему творить вопреки, именно так и казалось. По мнению Манна, «два монстра Гитлер и Сталин, объединившиеся в союз, обречены на победу. Демократии оказались слабыми и дезорганизованными и, главное, лишенными той объединяющей цели, которой отличаются тоталитарные режимы»²⁷.

Как историку Виттфогелю должно было, наверное, прийти в голову и то, что точно такое же страшное ощущение конца света могло посетить и афинянина в 490-м до н.э., когда двинулась на его полис Великая Армада «царя царей» Дария. В конце концов, Персидская «мир-империя», простиравшаяся на всю известную грекам варварскую Ойкумену – от Дуная до Евфрата и от Нила до Сыр-Дарьи – была ничуть не менее грозной, нежели нацистская империя 1940-го. И Англия для Гитлера была тем же, что Афины для Дария. Так не было ли деспотическое нашествие нацизма лишь инобытием древнеперсидского?

Смертельный ужас 1940-го и сталинская угроза десятилетия спустя, казавшаяся прямым продолжением нацистского штурма, потрясли конечно, не одного Виттфогеля. Многие в Европе ответили на нее воплем отчаяния. Чем же еще был «1984» Джорджа Оруэл-

²⁷ Quoted in David Gress. From Plato to NATO: The Idea of the West and Its Opponents, NY, 1998, p. 488.

ла? Или «Тьма перед рассветом» Артура Кестлера? Только в отличие от них, Виттфогель был историком, специалистом по Китаю, бывшим сотрудником Коминтерна, знавшим всю эту варварскую кухню не понаслышке. И – что, наверное, в этом контексте не менее важно – был он немцем, человеком систематического ума. По всем этим причинам книга его была не о тоталитарном будущем, но о деспотическом прошлом. И получилось у него методичное, хоть и тяжеловесное объяснение исторической подоплеки того ужаса, что поразил его страну и Европу в самый, казалось бы, разгар её цивилизационного триумфа.

Так, наверное, должно было это выглядеть в его глазах. На самом деле, когда улеглись страсти, оказался его «Восточный деспотизм» просто первым академическим исследованием, специально посвященным феномену тотальной власти, где аккуратно разложен он был по полочкам, инвентаризирован, так сказать, и систематизирован. В этом, говоря объективно, и заключалась роль Карла Виттфогеля.

ФЕНОМЕН ТОТАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Конечно, он сам себе порядочно напортил своим неизжитым марксистским убеждением, что в основе всего на свете должны непременно лежать производительные силы и производственные отношения. Отсюда вся его «гидравлика», то есть попытка объяснить деспотизм исключительно ирригационными потребностями и концентрацией власти в руках элиты, контролирующей воду. Но это безнадежно все запутывало. Ну, какое, спрашивается, могла в этом случае иметь к азиатскому деспотизму Русь, где гидравлика никакой роли не играла, и которая вообще расположена

в Европе. Пришлось бедняге строить громоздкую и неправдоподобную «пираиду “деспотизмов”».

«Ядерным», конечно, был Китай. Потом его завоевали монголы. Но по причине своего полного безразличия к земледелию, тем более ирригационному, удостоились они лишь статуса «полумаргинального» и годились лишь в переносчики заразы. И, завоевав Русь, превратили ее в «подтип полумаргинального деспотизма». Совсем уже чепуха какая-то. Удивительно ли, что стала она для экспертов, набросившихся на него с разных сторон и вполне равнодушных как к производительным силам, так и к производственным отношениям, чем-то вроде красной тряпки?²⁸ Особенно усердствовал Тойнби (что понятно: Виттфогель игнорировал роль церкви и вообще религии, которые исполняли для Тойнби примерно ту же роль, что производительные силы для соперника).

Разумеется, Виттфогель был здесь не прав. Но не правы были и преследователи, проглядевшие в пылу охоты главное в его работе. Я рад, однако, что нашлись среди его оппонентов и трезвые головы. Вот что писал один из них, известный историк и специалист по древнему Египту С. Андрески, заключивший свою филиппику неожиданным признанием: «“Восточный деспотизм” Виттфогеля – важная книга, не-

²⁸ Книга Виттфогеля была встречена буквально в штыки многими серьезными специалистами, включая историка А. Тойнби (“American Political Science Review,” March 1958, vol. 52, No. 1), социолога С. Эйзенштадта (“Journal of Asian Studies,” May 1958, vol. 17, No. 3), синолога В. Эберхардта (“American Sociological Review,” 1958, vol. 23, No. 4), специалиста по Золотой Орде Б. Шпулера (“Slavic Review,” Dec. 1963) и специалиста по сравнительной социологии С. Андрески (Elements of Comparative Sociology, London, 1964).

заменяемая для социологов, заинтересованных в сравнительных исследованиях»²⁹. Дай Бог каждому таких оппонентов.

Так или иначе, я попытаюсь здесь изложить по возможности кратко и доступно десять главных характеристик, суммирующих, по мнению Виттфогеля, сущность феномена тотальной власти (дополняя их, где уместно, наблюдениями его предшественников и опуская «гидравлические» аллюзии).

1. Деспотизм основан на **тотальном** присвоении государством результатов хозяйственного процесса страны. С современной точки зрения, можно было бы назвать его постоянным имущественным грабежом.

2. В экономических терминах это означает простое воспроизводство национального продукта, т.е. перманентную экономическую стагнацию (так подтверждается наблюдение Маркса).

3. Отсюда следует отсутствие модернизации политической. Возникает то, что можно было бы назвать простым политическим воспроизводством или, если угодно, перманентной политической стагнацией (так подтверждается наблюдение Монтескье).

4. Экономической и политической иммобильности деспотизма соответствует и его социальная структура. Общество сведено к двум *полярным* классам. «Государственный аппарат представляет собой управляющий класс в самом недвусмысленном значении этого термина; остальное население представляет второй класс – управляемых»³⁰.

²⁹ S. Andresky. Op. cit., p. 164.

³⁰ Karl A. Wittfogel. Oriental Despotism, Yale University Press, 1957, p. 303.

5. Масса «управляемых» однородна. Их равенство перед лицом деспота воспринимается как нормальный порядок вещей (так подтверждается наблюдение Гегеля).

6. Обратной стороной однородности «управляемых» является абсолютная атомизация и нестабильность класса «управляющих», полная хаотичность того, что социологи называют процессом вертикальной мобильности. Селекция руководящих кадров происходит вне связи с их корпоративной принадлежностью (деспотизм исключает какие бы то ни было корпорации), с привилегиями сословия (он исключает наследственные привилегии), с богатством или способностями. Так подтверждается наблюдение Крижанича.

7. С этим связано отсутствие при деспотизме понятия «политической смерти». Совершив служебную ошибку, любой член управляющего класса, независимо от его ранга, расплачивался за нее, как правило, не только потерей привилегий и нажитым богатством, но и головой. **Ошибка равнялась смерти.** Атомизированная, всю жизнь бродящая по минному полю капризов деспота, нестабильная элита «мир-империй» не могла превратиться в наследственную аристократию (или, если она, в конечном счете, в этом преуспевала, деспотия, как, например, в случае Византии, становилась легкой добычей более последовательных «мир-империй»). Другими словами, независимость деспота от обоих классов «мир-империи» была абсолютной (так подтверждается наблюдение Аристотеля о деспотизме как перманентной тирании).

8. Конечно, такая странная в глазах нашего современника политическая конструкция не протяну-

ла бы и месяца, если бы не воспринималась всеми её участниками как естественное устройство общества, как явление природы (подобно рождению или смерти). И как смерть внушала она страх. Причем, *страх универсальный, страх всех и каждого* – от последнего крестьянина до самого деспота. Страх, по выражению Монтескье, как «принцип общества». «Умеренное правительство, – писал он, обобщая современный ему европейский политический опыт, – может сколько угодно и без опасности для себя ослаблять вожжи... Но если при деспотическом правлении государь хоть на минуту опускает руки, если он не может сразу же уничтожить людей, занимающих в государстве первые места, то все потеряно»³¹. Другими словами, конец страха означал **физический конец деспота, порою династии**.

9. Но парадоксальным образом не означал он конец системы тотальной власти. Ибо главной структурной характеристикой деспотизма был не только универсальный страх, но и полное **отсутствии политической оппозиции**. Оно и объясняет его чудовищную стабильность. Не только сундуки своих подданных обкрадывала в «мир-империях» власть, но и их головы. Грабеж идейный оказывался оборотной стороной грабежа имущественного. Монтескье описывал это метафорой: «Все должно вертеться на двух-трех идеях, а новых отнюдь не нужно. Когда вы дрессируете животное, вы очень остерегаетесь менять его учителя и приемы обучения: вы ударяете по его мозгу двумя-тремя движениями, не больше»³².

³¹ Шарль Монтескье. Цит. соч., с. 31–32.

³² Там же, с. 64.

В результате альтернативных моделей политической организации общества просто не существовало. Не только в реальности, но и в головах подданных «мир-империи». Вот что говорит по этому поводу Виттфогель: «В отличие от независимых писателей, которые при западном абсолютизме бросали вызов не только крайностям, но и самим основаниям деспотического порядка, критики гидравлического общества жаловались лишь на злоупотребления отдельных чиновников или на специфические акции правительства. Конечно, были мистики, учившие отречению от мира сего. Но критики правительства ставили себе, в конечном счете, целью лишь оздоровление тотальной власти, принципиальную желательность которой они не оспаривали. Они могли разгромить вооруженных защитников режима, даже свергнуть шатающееся правительство. Но, в конце концов, они неизменно возрождали агроменеджеральный деспотизм, некомпетентных представителей которого они устранили. Герои знаменитого китайского бандитского романа “Чжу-ху-чуан” не могли придумать ничего лучшего, чем устроить на своем острове миниатюрную версию той же бюрократической иерархии, с которой они так яростно боролись»³³.

10. По этой причине *единственным* механизмом исправления ошибок власти в «мир-империях» оказывалось *убийство деспота*. Отсюда еще один парадокс. Неограниченность персональной власти деспота делала *его* власть столь же *абсолютно нестабильной*, сколь *абсолютно стабильным* был деспотизм как *политическая система*.

³³ К. А. Wittfogel. Op. cit., p. 134

Естественно, поэтому, что в фокусе политической активности деспота оказывалась не столько безопасность империи, сколько его собственная. Это вынуждало его отдавать предпочтение людям, которые его охраняли, – назовите их хоть преторианцами, как в Риме, или янычарами, как в Стамбуле, хоть национальной гвардией, как в Гаити, – и в результате... становился марионеткой в их руках. Вот наблюдение Крижанича: «У французов и испанцев бояре имеют пристойные, переходящие по роду привилегии. И поэтому там ни простой народ, ни воинство не чинят королям никакого бесчестья. А у турок, где никаких привилегий благородным людям, короли зависят от глуподерзия простых пеших стрельцов. Ибо что захотят янычары, то и должен делать король»³⁴.

Вот почему начались и кончились «мир-империи» как парадоксальная сверхстабильная система с нестабильным лидерством. Не случайно же, что за 1000 лет существования Византии 50 ее императоров было утоплено, ослеплено или задушено – в среднем один каждые двадцать лет.

Учитывая, что перманентная стагнация ставила систему тотальной власти в полную зависимость от стихийных бедствий и вражеских нашествий, а полное отсутствие ограничений власти создавало ситуацию непредсказуемости и хаоса, где каждый, начиная от самого деспота, постоянно балансировал между жизнью и смертью, можно сказать, что деспотизм напоминает скорее явление природы, нежели человеческое сообщество. И в этом смысле Аристотель опять прав, отказав ему в статусе политического феномена.

³⁴ Ю. Крижанич. Цит. соч., с. 599.

* * *

Таким предстал перед читателем Виттфогеля коллективный портрет великих «мир-империй» – Китайской, Египетской, Ассирийской, Персидской, Арабской, Монгольской, Византийской, Оттоманской и многих-многих других. При всей суетливой пестроте дворцовых переворотов, преторианских заговоров и янычарских бунтов воспроизводили они себя на протяжении тысячелетий во всей своей политической безжизненности. Мир их был замкнут, лишен выбора, лишен вероятности. И в этом смысле он был призраком. Он существовал вне истории. Разумеется, он, как и все на свете, двигался. Но ведь движутся и планеты – только орбиты их постоянны.

Действительно важно для Виттфогеля было показать в его описании деспотизма по сути лишь одно: этот мир был антицивилизацией, если понимать под цивилизацией не все, что историку попадет под руку, а систему, способную к политическому и экономическому саморазвитию. Деспотизм не способен сам из себя произвести политическую культуру – с её «осознанием свободы» и «внутренним достоинством человека». Для этого нужен был совершенно другой мир, способный к политической модернизации.

На наше счастье он возник в Европе, тут прав Валлерстайн (во избежание разночтений повторю здесь свое определение Европы, в принципе это и есть *способность к самопроизвольной политической модернизации*). В отличие от всех других форм модернизации – экономической, культурной, церковной – политическая модернизация, если отвлечься от всех ее сложных параферналий, вроде разделения властей

или независимого суда, сводится к чему-то вполне элементарному: к **гарантиям от произвола власти**).

Так или иначе, с момента выхода на политическую арену Европы (Валлерстайн предлагает дату: XV век) деспотии были обречены.

Глава 6

ПАРАДОКС АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ

Невозможно, однако, обнаружить существование этого парадокса, руководясь лишь соображениями формально-юридическими. Невозможно, ибо именно в юридическом смысле все древние и средневековые монархии и в Азии, и в Европе похожи друг на друга, как близнецы. Все они на папирусе, на пергаменте или на бумаге – абсолютны. Во всех источником суверенитета является персона властителя (императора, султана, короля или богдыхана), которому Бог непосредственно делегировал функцию управления, полностью освободив его тем самым от контроля общества. Все эти государи одинаково провозглашали неограниченность своей власти. И все одинаково на нее претендовали.

Тем не менее Джон Фортеस्कью уже в XV веке отличал «королевское правление» от «политического». Для Жана Бодена существенно важным – и даже, предметом гордости – было различие между абсолютной монархией и «сеньориальным правлением». Мерсье де ла Ривьер противопоставлял «легальный» деспотизм «произвольному», а Монтескье вообще предсказывал всеевропейскую политическую катастрофу в случае, если абсолютная монархия дегенерирует в деспотизм. Иначе говоря,

несмотря на формальное, юридическое подобие всех монархических государств, европейские мыслители, в отличие от многих позднейших историков, видели и чувствовали, более того, считали жизненно важным не их сходство, но их различия.

Если суммировать все их попытки, можно сказать, что пытались они создать нечто вроде *типологии абсолютных монархий*, способной служить базой для политических рекомендаций и прогнозов. Типологии, которая, если они желали оставаться в пределах реальности, должна была основываться на чем-то совершенно *отличном от юридических дефиниций* (ибо признать их формально не согласился бы ни один уважающий себя абсолютный монарх). На чем же в таком случае должна она была основываться?

Разумеется, не было в XVI–XVIII веках у цитированных нами мыслителей ничего подобного книге Виттфогеля, снабдившей нас своего рода политической картой, более или менее адекватно описывающей один, по крайней мере, из полюсов будущей биполярной модели. Но у нас-то она есть. Так почему бы нам не использовать наше преимущество, сопоставив с этой картой основные параметры европейского абсолютизма? Посмотрим, что мы получим от такого сопоставления.

1. В отличие от деспотизма, абсолютизм не был основан на тотальном присвоении государством результатов хозяйственного процесса. Собственность подданных оставалась в Европе их собственностью. Это *не было записано* ни в каком юридическом кодексе, но входило в состав *неписаного* общественного контракта, того самого *etat de droit*, о котором говорил Монтескье. Именно попытки королей нарушить ус-

ловия этого «виртуального» контракта и возрождали первым делом в европейском сознании образ деспотизма. Китай, Персия и особенно Турция немедленно приходили в таких случаях на ум европейцу. Таков был ассоциативный и последовательный механизм его мышления (что на самом деле ничуть не менее значительно, чем любые документальные материалы).

Рассказывают, что когда французский дипломат сослался в беседе с английским коллегой на известную, и вполне надо сказать, деспотическую декларацию Людовика XIV о богатстве королей («все, что находится в пределах их государств, принадлежит им... и деньги в казне, и те, что они оставляют в обороте у подданных»), то услышал в ответ надменное: «Вы что, учились государственному праву в Турции?» Одними высокомерными выговорами дело, впрочем, не ограничивалось. *Общество активно сопротивлялось «турецкой правде» (то есть нарушению негласного, «виртуального» общественного договора)* – прежде всего на практике, затем и в теории.

Кончалось это для королей печально. Вот лишь некоторые вехи такого сопротивления: Великая Хартия вольностей в Англии XIII века и аналогичная Золотая Булла в современной ей Венгрии. Нидерландская революция XVI века и отторжение от Испании ее богатейшей провинции. Плаха, на которой сложил голову Карл I в Англии XVII века, и эшафот, на котором столетием позже суждено было окончить свои земные дни его французскому коллеге Людовику XVI. И, наконец, Американская революция 1776 года.

Что до теории, сошлюсь лишь на один пример. Известный уже нам Жан Боден – современник Грозного и автор классической апологии абсолютной

монархии, оказавшей огромное влияние на всю ее идеологическую традицию, – выступил в своей «Республике» ничуть не меньшим, на первый взгляд, радикалом, нежели Грозный в посланиях Курбскому. Боден тоже был уверен, что «на земле нет ничего более высокого после Бога, чем суверенные государи, установленные им как его лейтенанты для управления людьми». И не было у него сомнений, что всякий, кто, подобно Курбскому, «отказывает в уважении суверенному государю, отказывает в уважении самому Богу, образом которого является он на земле»³⁵. Более того, вопреки Аристотелю, главным признаком человека считал Боден вовсе не участие в суде и совете, а совсем даже наоборот – безусловное повиновение власти монарха. До сих пор впечатление такое, что хоть и был Боден приверженцем «латинской» ереси, Грозный, пожалуй, дорого бы дал за такого знаменитого советника.

И просчитался бы. Ибо оказалось, что при всем своем монархическом радикализме *имущество* подданных рассматривал, тем не менее, Боден как их *неотчуждаемое* достояние. Более того, он категорически утверждал, что в распоряжении своим имуществом подданные так же *суверенны*, как государь в распоряжении страной. И потому *облагать их налогами без их добровольного согласия означало, по его мнению, обыкновенный грабеж.* Можно себе представить, что сказал бы он по поводу разбойничьего похода Грозного на Новгород.

Но Грозный, с его изощренным умом, в свою очередь, несомненно, усмотрел бы в концепции Бодена

³⁵ Н.Н. Кареев. Западно-европейская абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII веков, Спб., 1908, с. 330.

вопиющее логическое противоречие. И был бы прав. Ибо и впрямь, согласитесь, нелепо воспевать неограниченную власть наместника Бога, *ограничивая* ее в то же время имущественным суверенитетом подданных.

Но именно в этом логическом противоречии и заключалась суть феномена абсолютизма. Феномен этот действительно был логическим парадоксом. Но он *был живым и продуктивным* парадоксом, просуществовавшим столетия. Более того, именно ему, этому живому парадоксу, и суждено было сокрушить диктатуру «мир-империй», безраздельно властвовавшую до него на этой земле.

НЕОГРАНИЧЕННО/ОГРАНИЧЕННАЯ МОНАРХИЯ

Этот логический, но жизненно-реальный парадокс заставляет нас сделать совершенно определенные и неизбежные *теоретические* выводы. А именно: самим своим существованием абсолютизм продемонстрировал, что кроме писанных и потому *очевидных* юридических ограничений власти, существовали еще и другие, не записанные ни в каких конституциях и потому простому глазу невидимые, в буквальном физическом смысле *виртуальные*. Но, тем не менее, столь же ненарушимые *на практике*, как ненарушима *в теории* любая конституция, или законы квантовой механики. Я вывожу этот факт из тени и открыто ввожу его в теорию, то есть называю эти виртуальные, но постоянно работающие ограничения власти **ЛАТЕНТНЫМИ**.

Они-то и создали парадокс *неограниченной в теории и ограниченной на практике* монархии, той, которую Монтескье называл «умеренным правлением». В случае с противоречием Бодена мы наблюдали лишь первое из этих ограничений – экономическое.

Поскольку выглядит это всё так странно и так же противоречит нашей повседневной интуиции, как, скажем, вращение земли вокруг солнца, попробую объяснить это на практическом примере. Современник Ивана III французский король Франциск I, отчаянно нуждаясь в деньгах, не пошел почему-то походом, допустим, на Марсель, чтоб разграбить его дотла и таким образом пополнить казну. Вместо этого оборотистый монарх принялся *торговать* судебными должностями. Тем самым он невольно создал новую *привилегированную страту* – *наследственных судей*. А *заодно и новый институт* – *судебные парламенты*.

Причем, нашлось сколько угодно охотников эти должности купить. Это свидетельствовало, что покупатели правительству *доверяли*. Но еще более красноречив другой факт. Даже в глубочайшие тиранические сумерки Франции, даже при Людовике XIV, *судебная привилегия эта не была нарушена НИ РАЗУ*. Иначе говоря, правительство никогда за три столетия не нарушило свое обещание, данное еще в XV веке. Выходит, что совершенно вроде бы эфемерный политический парадокс абсолютизма был вполне, так сказать, материальным.

Вот как описывал его Николай Иванович Кареев: «Неограниченная монархия вынуждена была терпеть около себя самостоятельные корпорации наследственных судей; каждого из них и всех их вместе можно было, пожалуй, сослать куда угодно, но прогнать с занимаемого поста было нельзя, потому что это означало бы **нарушить право собственности**»³⁶. Как видим, Боден вовсе не был политическим путаником и фантазером, как могло бы показаться

³⁶ Н.Н. Кареев. Цит. соч., с. 130.

уверенному в своем абсолютном праве на имущество поданных Ивану IV. Боден лишь честно суммировал реальную практику своего времени. Курбский, заметив на полях, опирался на ту же аристократическую практику, что и Боден, в этом и был смысл его полемики с Грозным.

Между тем, эта реальная практика вносила резкую деформацию, трещину в гранитную, казалось, цельность неограниченного *по замыслу* политического тела, непрестанно декларировавшего свою божественную абсолютность. Так или иначе, теперь мы знаем, на чем основывали свою *типологию* монархии европейские мыслители XV–XVIII веков: **на латентных ограничениях власти**. Разумеется, они их так не называли, но как практический критерий для различения использовали. Тревога за судьбу реальных ограничений власти монарха, которую европейские политические мыслители постоянно испытывали, свидетельствует, что они, в отличие от некоторых современных экспертов, прекрасно понимали, о чем речь.

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ»

Нам нужно было сосредоточиться в описании абсолютизма именно на этом первом пункте, потому что он решает дело. Без латентных, но постоянно реально работающих в политическом «монолите» ограничений власти, Европа, а вместе с ней и человечество никогда не вырвалось бы из тысячелетней исторической черной дыры «мир-империй». Дальше дело пойдет быстрее.

2. Что означало для экономической *хозяйственной самостоятельности* Европы отсутствие постоян-

ного государственного грабежа, понятно без комментариев. В отличие от принципиально неподвижной экономики деспотизма, хозяйство здесь оказалось способно к экономической модернизации и экспансии. Иначе говоря, к расширенному воспроизводству национального продукта.

3. Экономическая экспансия, создавая сильный средний класс, должна была раньше или позже потребовать *модернизации политической. Или, если хотите, расширенного политического воспроизводства.* Подтверждением этому служит сам факт, что представительная демократия изобретена была именно *мыслителями абсолютных монархий*, идеологами среднего класса.

4. Вместо характерной для деспотизма *поляризации общества*, абсолютным монархиям была свойственна *многоступенчатая иерархия* социальных слоев.

5. В той же степени, в какой *деспотизм был основан на равенстве* всех перед лицом деспота, в основе европейского абсолютизма лежало *неравенство* – не только имущественное, но и политическое.

6. Поскольку к XV веку социальные процессы, которые мы наблюдали в Москве времен Ивана III (т.е. распад традиционной волостной общины и бурная дифференциация крестьянства), были в Европе закончены, ничто не препятствовало там стремительному перетеканию населения в города. Обратной стороной этой широкой горизонтальной, как говорят социологи, мобильности населения была упорядоченность мобильности вертикальной.

Проще говоря, означало это, что усиление новой бюрократической элиты в централизуемых государ-

ствах влекло за собою не устранение наследственной аристократии, как в деспотии, но лишь жестокую конкуренцию новой и старой элит. В этом состояло одно из самых драматических отличий абсолютной монархии от деспотизма, который, как мы уже знаем, наследственных привилегий не признавал (именно потому, между прочим, что манипуляция привилегиями была едва ли не главным рычагом власти деспота). Абсолютизм же – несмотря на множество конфликтов и жестокую, порой кровавую конкуренцию элит – боролся с аристократией как с противником политическим, а не физическим.

В этом пункте и возникает перед нами впервые еще одно мощное латентное ограничение власти (назовем его социальным). Если деспотизм старался не допустить возникновения наследственной аристократии, то абсолютизм вынужден был с нею **сосуществовать**. Ну, допустим, нашкодившего британского лорда можно было лишить всех придворных должностей и сослать хоть к черту на кулички, в самое дальнее из его поместий. В случае если шкода оказывалась государственной изменой, его можно было и обезглавить. Но лишить его наследника титула и этого самого поместья было нельзя. И эта практика ни в каких писанных законах не выражена. Она просто была.

7. Это решающее обстоятельство не только обеспечивало элитам страны право на «политическую смерть» (что, как вы понимаете, отнюдь не то же самое, что смерть физическая), лишая, тем самым, их борьбу между собою характера вульгарной драки за физическое выживание, оно создавало **возможность политической борьбы** и независимого поведения. Что еще важнее, с моей точки зрения, создавало оно условия для возникновения независимой мысли.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЕНТАВР

Я не говорю уже о том, что самым радикальным образом меняет этот пункт все наши представления о *роли аристократии* в неожиданном прорыве от застойных «мир-империй» к динамичной «мир-экономике», который так озадачил Эммануила Валлерстайна.

Это правда, что все дальнейшие сравнительно быстрые политические трансформации, вплоть до изобретения и триумфа демократии, записываются обычно в кредит среднему классу. И правильно записываются. Проблема лишь в том, что никто при этом не спрашивает, каким, собственно, образом могла возникнуть та *парадоксальная неограниченно/ограниченная форма* государственности, что позволила сформироваться и встать на ноги этому самому среднему классу. Никто, иначе говоря, не спрашивает, что помешало этой очередной вспышке «горячей» мир-экономики угаснуть и раствориться в «холодном» (вспомним Леви-Строса) застойном мире деспотии, как неизменно происходило до этого со *всеми* прежними ее вспышками.

Теперь мы знаем ответ на этот драматический вопрос. **Аристократия помешала. Она предохранила логически парадоксальную абсолютистскую государственность от превращения в логически непротиворечивый деспотизм.**

Другими словами, парадокс абсолютизма с его латентными ограничениями власти привел нас к еще более неожиданному парадоксу. Оказалось, что *аристократия и демократия*, которые принято жестко противопоставлять друг другу со времен Аристотеля, и чья взаимная вражда была причиной стольких

революций, на поверку не просто связаны друг с другом, но буквально *сращены, как своего рода политический кентавр*.

Человеческая («народная») его голова (демократия) могла вырасти лишь из его лошадиного корпуса (аристократии). И та, и другая – части *одного политического тела*. В одной фразе это можно было бы сформулировать так: аристократия была необходимым – и достаточным – условием возникновения демократии; без первой не было бы последней.

Но опять-таки важнее для нас в теоретическом смысле, что *обе выросли из неписанных, виртуальных, латентных ограничений власти* – средний класс из экономических, аристократия из социальных. И только **вместе** смогли они покончить с тысячелетней «холодной» (то есть неподвижной) диктатурой деспотических «мир-империй».

ГЕРЦЕН ПРИ ДЕСПОТИЗМЕ?

8. *Универсальный страх*, объяснил нам Монтескье, был доминирующим принципом деспотизма. Он *нужен* был деспоту для того, как уточнил Виттфогель, чтобы создать перманентную ситуацию «непредсказуемости, [которая] есть основное орудие террора»³⁷. Благодаря латентным (еще и еще раз – неписанным, значит *традиционным*) ограничениям власти европейская политика стала в принципе *предсказуемой*. И потому не испытывала нужды в том, что тот же Виттфогель называл «рутинным террором»³⁸.

9. Деспотизм, как опять-таки объяснил нам Монтескье, обкрадывал головы своих подданных с той же

³⁷ К.А. Wittfogel. Op. cit., p. 141.

³⁸ Там же, с. 143.

тщательностью, что и их сундуки. Для того именно и обкрадывал, чтоб не могла в них даже возникнуть крамольная мысль о неестественности рутинного, как и террор, хозяйственного ограбления. И потому ничего подобного не было при абсолютизме: отсутствие *грабежа* отменяло нужду в *идейной* монополии власти. Отсюда еще одна специфика латентных ограничений власти – идеологическая.

Немудрено, что те, для кого вся разница между монархиями сводилась к писаной хартии, конституции, не умели объяснить этот неожиданный либерализм абсолютных монархов. Даже такой сильный ум, как Герцен, заметил однажды, что в Европе тоже был деспотизм, но там никому не пришлось в голову высечь Спинозу или отдать в солдаты Лессинга. И странным образом не заподозрил, что *при деспотизме просто не могло быть ни Спинозы, ни Лессинга.*

Нет слов, история знает немало «просвещенных деспотов», покровительствовавших придворным архитекторам, поэтам или астрономам. И те, работая в *политически нечувствительных* областях, достигали выдающихся, порою бессмертных успехов. Только никому из них не было позволено, да, собственно, и в голову не приходило заняться, скажем, выработкой альтернативных моделей организации общества и тем более государства. Вот почему ни Спинозы, ни Лессинга не могло быть при деспотизме так же, как не могло быть при нем Герцена. Между тем, как мы уже знаем, лишь присутствие политической оппозиции делало возможным качественное изменение общества, его саморазвитие.

10. Удивительно, что о главных отличиях абсолютистской государственности от деспотизма Крижанич (он, впрочем, называл его «людодерством»)

знал уже за столетие до Монтескье и за три до Витт-фогеля. Совершенно ясна ему была связь этих отличий с ролью, которую играли в политической системе привилегии аристократии (или, на моем языке, **социальные ограничения власти**). Они были в его глазах «единственным способом обеспечить в королевстве правосудие». И, следовательно, «единственным средством, которым подданные могут защититься от злодеяний королевских слуг»³⁹.

Более того, именно Крижанич был первым, кто сделал следующий шаг в развитии *науки об абсолютизме*. Он **дифференцировал** привилегии. В то время как их отсутствие, писал он, неизбежно ведет к «людодержавству» (Турция), «неумеренность привилегий» ведет к анархии (Польша). «Европейские короли поступают лучше, ибо наряду с другими достоинствами смотрят и на родовитость» и в то же время не дают родовитым сесть себе на шею⁴⁰. Поэтому, с точки зрения Крижанича, лишь «умеренные привилегии» могут служить гарантией от **нестабильности лидерства** и «глуподержавия» янычар, которые он считал главной характеристикой деспотии.

ФИНАНСОВЫЙ ХАОС

Мне очень не хотелось бы, чтоб читатель заключил из всего этого, что пишу я некую апологию абсолютизма. Ничего подобного. Абсолютизм был далеко не подарок. Да, ему приходилось терпеть латентные ограничения власти, но, как и любой авторитаризм, контроля общества над государством он не допускал. И потому чаще всего был жестоким, не-

³⁹ Ю. Крижанич. Цит. соч., с. 438.

⁴⁰ Там же, с. 593.

редко, как мы видели, тираническим режимом, стремившимся, насколько это было для него возможно, и наживаться за счет подданных, и попирать их гражданские права. Не говоря уже о том, что бесконечные династические войны, некомпетентная бюрократия и пережитки средневековья в организации хозяйства, как правило, оборачивались при этом режиме перманентным финансовым хаосом.

Абсолютные монархии всегда были в долгу, как в шелку, и доходы их никогда не сходились с расходами. В сущности именно финансовая безвыходность подтолкнула одного английского короля к созыву Долгого парламента и одного французского к созыву Генеральных Штатов, что стоило обоим головы. Конституционные учреждения Австрии тоже родились на свет по причине финансового краха, совпавшего с поражением в войне. Долг Австрии превышал ее годовой доход в три с половиной раза, а долг Франции в восемнадцать (!) раз.

Деспотизм таких бед не ведал, в долгах не бывал. Деспоты, как мы знаем, не жили за счет кредита. Когда им не хватало денег, они грабили народ или повышали налоги – иногда настолько, что курочка, несущая для них золотые яйца, издыхала. Короче, если абсолютизм **декларировал** свою неограниченность, деспотизм ее **практиковал**. Но если первый лишь паразитировал на теле общества, то последний его парализовал, не давал ему встать на ноги.

КУЛЬТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЛАСТИ

Но так это выглядит лишь в исторической ретроспективе. Для современников Людовик XI несколько не был гуманнее шаха Аббаса и Генрих VIII был

ничуть не менее жесток, чем султан Баязет. Каждого диктатора влечет к деспотизму, как магнитную стрелку к северу. Деспотизм – его идеал, его мечта, его венец. Другое дело, что для абсолютистских монархов мечта эта была недостижима, и сколько б ни примеряли они деспотический венец, удержать его на голове им никогда не удавалось.

Это обстоятельство заставляет нас предположить, что кроме описанных выше трех типов латентных ограничений власти – *экономических, социальных и идеологических* – существовал еще где-то в глубине европейского сознания и четвертый, самый трудноуловимый пласт ограничений – назовем их *культурными*. Я не уверен, что сумею описать их столь же рельефно, как остальные. Тем более что нет у меня здесь возможности сослаться на знаменитых предшественников. Рассмотрим поэтому самый близкий и понятный читателю пример.

Допустим, в какой-нибудь стране власти усматривали в длине платья или бород подданных политическую проблему – мятеж и государственную измену. Допустим, считали они своим долгом регулировать эти интимные подробности посредством административных указов и полицейских мер. Хотя, честно говоря, трудно себе представить, чтобы даже такой очевидный тиран, как Людовик XIV, претендовал на монополию в определении длины шлейфов дам или бород их кавалеров.

А вот в России, например, власти никогда не сомневались в своем праве диктовать подданным сколькими перстами положено им креститься и какой длины бороды носить. Царь Алексей Михайлович жестоко ополчился на брадобритие, а Петр Алексеевич наоборот усматривал в ношении бороды оскорбле-

ние общественных приличий, если не бунт. Михаил Федорович строжайше запретил на Руси курение. А его внук продал маркизу Кармартену монопольную привилегию отравлять легкие россиян никотином. В 1692 г. издан был указ, запрещающий госслужащим хорошо одеваться, ибо «знатно, что те, у которых такое платье есть, делают его не от правого своего пожитку, а кражею нашея великого государя казны».

Но дело ведь не только в поведении властей. Куда важнее другое – подданные *признавали за ними право* контролировать детали их частной жизни, соглашались, что не только их дом не был их крепостью, но и бороды не считались их собственностью, и вкусы их им не принадлежали. И не потому, что им было чуждо чувство собственного достоинства или что они не умели ответить на оскорбление.

Когда царский опричник Кирибеевич покусился на честь прекрасной Алены Дмитриевны, он заплатил за это, как мы знаем от Лермонтова, жизнью, муж красавицы купец Степан Калашников убил его в честном поединке. И так же без сомнения отомстили бы за покушение на их семейную честь герои Вальтера Скотта в Шотландии или Александра Дюма во Франции. Так сделали бы в те далекие времена, наверное, все уважающие себя мужчины в любой европейской стране. Но в любой ли стране возможны были опричники? Где еще в Европе собрались бы тысячи Кирибеевичей «в берлоге, где царь устроил, – по словам В.О. Ключевского, – дикую пародию монастыря», обязавшись «страшными клятвами не знаться не только с друзьями и братьями, но и с родителями», и все это лишь затем, чтоб творить по приказу Грозного «людодерство», т.е. грабить и убивать свой народ без разбора,

включая друзей, братьев, а порою и родителей? В любой ли стране довольно было одного царского слова, чтоб превратить ее молодежь «в штатных, – по выражению того же Ключевского, – разбойников»?⁴¹

Просто порог чувствительности, за которым включались защитные механизмы от произвола власти, оказался в российской культурной традиции ниже, чем в абсолютных монархиях. *Если что-то в ней и можно отнести за счет страшных последствий двухвекового варварского ига, то, наверное, именно это. Как бы то ни было, культурные ограничения власти были в России существенно ослаблены.*

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ

Здесь подошли мы вплотную к понятию и феномену *политической культуры*. В контексте нашего разговора удобнее всего было бы определить её (во всяком случае, в Европе), как *совокупность латентных ограничений власти, отраженную в автоматизме повседневного поведения и унаследованную от предшествующих поколений в качестве культурной традиции*. Не это ли считали основным предметом исследования французские историки «Школы Анналов», вводя строгие (а не фальсифицированные) понятия ментальности и *longue durée*?

С этой точки зрения, «Янки при дворе короля Артура» – классическое исследование конфликта двух типов политической культуры, сошедшихся лицом к лицу волею литературного гения. Янки поражен, что попал «в страну, где право высказывать свой взгляд на управление государством принадлежало

⁴¹ В.О. Ключевский. Сочинения (изд. первое), т. 2, с. 188.

всего шести человекам из каждой тысячи. Если бы остальные 994 человека выразили свое недовольство образом правления и предложили изменить его, эта шестерка содрогнулась бы, ужаснувшись таким отсутствием верности и чести и признала бы всех недовольных черными изменниками. Иными словами, я был акционером компании, 994 участника которой вкладывают все деньги и делают всю работу, а остальные шестеро, избрав себя несменяемыми членами правления, получают все дивиденды. Мне казалось, что 994 оставшихся в дураках должны перетасовать карты и снова сдать их»⁴².

Биржевая терминология, примененная к анализу абсолютистской государственности, только кажется комичной. На самом деле она анатомирует авторитаризм с предельной точностью. У нашего янки не больше здравого смысла (*common sense*), чем у «994 оставшихся в дураках». Просто это **ИНОЙ** здравый смысл, взращенный другой политической культурой. Той, что герой Марка Твена унаследовал от своих пуританских предков, записавших в конституции штата Коннектикут, что «вся политическая власть принадлежит народу, и народ имеет неоспоримое и неотъемлемое право во всякое время изменять форму правления, как найдет нужным»⁴³.

Отдадим должное справедливому негодованию янки, но обратим также внимание на интересную деталь, которую никто, кажется, еще не заметил. Допустим на минуту, что попал наш янки не в страну короля Артура, но в империю Птолемеев или в рези-

⁴² *Марк Твен*. Янки при дворе короля Артура, Рига, 1949, с. 43.

⁴³ Там же, с. 130.

денцию внука Чингисхана, китайского императора Хубилая. Возмущался бы он ведь там вовсе не тем, что скажет несменяемая шестерка в ответ на предложение изменить образ правления. Не было там никакой «шестерки». Был ОДИН несменяемый деспот. И потому потрясло бы нашего янки другое. А именно, что подобное предложение («перетасовать карты и сдать их снова») просто не могло никому прийти в голову. Самая запредельная фантазия не простиралась там дальше того, чтоб задушить плохого императора и посадить на его место хорошего. Никто, кроме деспота, не сдавал карты в «мир-империях». И сама биржевая терминология в них спасовала бы.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ АБСОЛЮТИЗМА

Конечно, мысль о том, чтоб перетасовать карты и сдать их снова, несовместима и с политической культурой абсолютизма. Но что же еще, кроме неограниченно/ограниченной монархии, могло создать для нее предпосылки? Неотчуждаемая собственность (по Бодену) означала независимые от государства источники существования. «Принцип чести», как объяснил нам Монтескье, занял в ней место деспотического «принципа страха» – и никакого царского слова не было больше достаточно для молодежи страны, чтоб облачившись в шутовские скуфейки и рясы, стать палачами собственного народа. Феномен «политической смерти» освободил элиты страны от перманентного ужаса перед физической гибелью рода, от «ничтожества и отчаяния», говоря словами Крижанича. И что ничуть не менее важно, независимая политическая мысль *перестала быть государственным преступлением.*

Короче, культурная традиция *впитывала в себя неписанные латентные ограничения власти столетиями (longue durée)*, покуда идея, что «народ имеет неотъемлемое право изменить форму правления во всякое время, как найдёт нужным» не стала нормой социального сознания. Так в исторической реальности выглядел гегелевский «прогресс в осознании свободы».

Конституция штата Коннектикут означала, что неписанные латентные ограничения власти, наконец, стали явными, *были записаны*, то есть окончательно превратились в открытый, закреплённый в праве и гарантированный законом контроль общества над государством. Произошла величайшая в истории революция политического сознания. И вовсе не в том только было здесь дело, что очередная «мир-экономика» Валлерстайна по неизвестной причине выскользнул на этот раз из смертельных объятий «мир-империи» и восторжествовала над ним. Несопоставимо важнее, что в ходе этой великой революции государство превратилось из хозяина народа в нанятого им на определённый срок служащего.

Наверное, именно в этом – в *постепенном наращивании практик осознания латентных ограничений власти, в превращении их в полностью осознанную, наконец, записанную в хартиях и конституциях культурную традицию* – и состоит политический прогресс в гегелевском понимании. И если читатель со мною согласен, то политическая модернизация предстанет перед ним как история рождения, созревания латентных ограничений власти, их осознания, и превращения в юридические, конституционные (писанные и печатные) правила социального сосуществования.

С этой точки зрения, абсолютизм был культурной школой (со всем ее богатым ассоциативным шлейфом) человечества. Его историческая функция состояла в том, чтоб создать предпосылки цивилизации. И тем самым положить начало современной истории.

Глава 7

САМОДЕРЖАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

Даже если бы это детальное сопоставление двух форм абсолютной монархии – азиатской и европейской – не дало нам ничего, кроме уверенности, что язык, на котором спорили на наших глазах советские и западные историки, был неадекватен задаче, игра, я думаю, стоила свеч. Мы увидели поистине драматическое различие между двумя *неотличимыми друг от друга в юридическом смысле* формами практической государственности. Различие этих двух социальных практик таково, что одна из них положила начало «осознанию свободы», а в другой сама мысль о свободе не могла прийти людям в голову. И, соответственно, одна жила постепенным саморазвитием, а другая застыла в вечном страхе и неспособна была даже к саморазрушению.

Ну, мыслимо ли, право, после нашего сопоставления утверждать, как А.Я. Аврех в дискуссии об абсолютизме (История СССР, 1968–1971), а вслед за ним уже в наши дни И.М. Клямкин, что русский деспотизм эволюционировал со временем в абсолютизм? Или как С.М. Троицкий (в той же старой дискуссии), что абсолютизм в России постепенно развился в деспотизм? Деспотизм, как мы выяснили, не

способен к внутренней эволюции, а абсолютизм ни разу в истории не деградировал в деспотизм, несмотря на опасения Монтескье. Возможно ли теперь говорить всерьез об «азиатской деспотии» Елизаветы Английской, как А.Н. Сахаров (все в той же дискуссии) на том лишь основании, что «камеры Тауэра не уступали по крепости казематам Шлиссельбурга»? Несуразность таких утверждений должна теперь быть очевидна и для школьника.

Понятно теперь, в частности, что хотя Виттфогелевская «гидравлика» и играла существенную роль в формировании деспотической государственности в Египте, в Месопотамии или в Китае, возникнуть могла эта государственность и по многим другим причинам, главным из которых были военный по преимуществу характер «мир-империй» и – что не менее важно – вытекавшее из него **отсутствие латентных ограничений власти**. Оказалось, что государственность, которая жила исключительно войной и грабежом, была не в силах вырваться из ловушки политической стагнации, нестабильного лидерства и «рутинного террора», которые, собственно, и являлись душой деспотизма.

Короче, *дефиниционному хаосу*, сделавшему возможным все эти и тысячи других несуразиц в повседневной практике экспертов, едва берутся они за обсуждение вопросов теории, мы можем уже, надеюсь, положить конец. А ведь он, этот хаос, и не давал нам возможности остановить мифотворческий поток, затопивший реальные очертания нашего предмета. Ничего, собственно, другого и не надеялся я получить от всего этого трудоемкого сопоставления, кроме того, чтоб *расчистить теоретическую площадку* для серьезного разговора о природе и происхождении рос-

сийской государственности. По крайней мере, есть у нас теперь, надеюсь, достаточно строгая база для сравнения его с другими созвездиями политической вселенной.

Замечу, однако, с самого начала, что под *российской государственностью* будем мы иметь здесь в виду лишь ту ее форму, которую приняла она на том отрезке исторического путешествия России, когда в ходе революции Грозного царя и было, собственно, изобретено самодержавие. Я имею в виду, короче говоря, **самодержавную государственность**, которая при всех своих головокружительных метаморфозах просуществовала все-таки в России с 1560-х до наших дней (450 с лишним лет «долгого рабства», говоря словами Герцена, или без «внутреннего достоинства человека», если вспомнить Гегеля). И впрямь долго, вы не находите?

Мы будем говорить здесь исключительно об этом отрезке потому, что досамодержавную и докрепостническую, другими словами, европейскую форму российской государственности я отношу в строгом смысле слова к абсолютистской эре русской истории. Все, что я могу пока что посоветовать сомневающимся, это просто сопоставить ее описание с тем набором латентных ограничений власти, с которым мы только что познакомились. Не говоря уже о ее культурном «наследстве», о преследовавших Россию из века в век «прорывах» (или «порывах») в Европу. Не прошло ведь без них ни одного столетия в истории самодержавия (1606, 1610, 1700, 1730, 1801, 1881 1825, 1857, 1881, 1917 /февраль/, 1989).

Подчеркну лишь, что ни открытая политическая борьба нестяжательства против иосифлянства, ни секуляризационный штурм Ивана III в 1503 году,

ни его «крестьянская конституция» (Юрьев день), ни земское самоуправление и налоговое самообложение, **проданное** русскому крестьянству в 1550-е точно так же, как продавались судебные должности во Франции, ни Боярская дума как учреждение «не государево, а государственное», ни статья 98 Судебника 1550 года (которую назвал я в трилогии русской Magna Carta), *просто не могли бы существовать ни при каком политическом строе, кроме абсолютизма*. Именно в этих словах и говорит о нем Ключевский: «Это была абсолютная монархия, но с аристократическим управлением... которое признавала сама власть»⁴⁴. В этом смысле утверждение, что в русской истории «вначале была Европа», не только логически оправдано, но и документировано.

Нет сомнения, что окинуть одним взглядом несколько столетий самодержавной государственности со всеми ее реформами и контрреформами, задача не из легких. В принципе, однако, она не сложнее обобщения основных черт эры «мир-империй», длившейся тысячелетиями. Тем более что имеем мы теперь своего рода лекало, с которым можем сверяться. Вот и посмотрим, как выглядит самодержавная государственность в сравнении с обоими полюсами биполярной модели.

ПЕРВЫЕ СТРАННОСТИ

1. Мы видели, что в «мир-империях» государство попросту присваивало себе весь национальный продукт страны. При абсолютизме, благодаря экономическим ограничениям власти, приходилось ему

⁴⁴ Ключевский. Цит. соч. с. 170.

обходиться лишь частью этого продукта. Как же вело себя в этом отношении *самодержавное* государство?

Оно действительно вмешивалось в хозяйственный процесс, а временами и впрямь присваивало национальный продукт. Но в отличие от «мир-империй», не перманентно, а лишь периодически. Если в эпохи Грозного или Петра, ленинского военного коммунизма или сталинского Госплана присвоение это было максимально, порою тотально, то во времена первых Романовых, допустим, или послепетровских императриц, НЭПа или Горбачева оно (насколько позволял исторический контекст) минимизировалось. Во всяком случае, теряло свой тотальный характер.

Впервые это странное непостоянство самодержавной государственности проявилось в драматической разнице между режимами Ивана IV и Михаила I, при котором не только решения о новых налогах, но и оборонная политика определялись на Земских Соборах, заседавших порою месяцами. В дальнейшем эта пульсирующая кривая – от резкого, *приближающегося к деспотическому* ужесточения налогового пресса и контроля, к столь же резкому их расслаблению, когда *вступали в действие латентные ограничения власти*, свойственные абсолютизму, и обратно – стала постоянной. Странность тут, как видим, в том, что самодержавная государственность вела себя порою как деспотическая «мир-империя», а порою как абсолютистская монархия. Она уподоблялась им, **но никогда в них не превращалась**. Хотя бы потому, что за каждой фазой цикла ее ужесточения неминуемо следовала фаза расслабления (что, впрочем, заметим в скобках, отнюдь не препятствовало повторению этих фаз снова и снова).

2. Деспотическим «мир-империям» была, как мы помним, свойственна более или менее перманентная хозяйственная стагнация. Для абсолютистской «мир-экономики» характерно было наоборот расширенное воспроизводство, т.е. более или менее поступательное развитие хозяйства. Самодержавная государственность и здесь вела себя до крайности странно. Она выработала свой, совершенно отличный от обоих, образец экономического процесса, сочетающий **сравнительно короткие фазы лихорадочной модернизационной активности с длинными периодами прострации, застоя.**

Впервые заметил эту странность еще в 1962 г. Александр Гершенкрон в наделавшей в свое время много шума монографии «Экономическая отсталость в исторической перспективе»⁴⁵. Как экономист он, однако, не связал этот парадокс с особенностями самодержавной государственности.

УДЕРЖАТЬ ОТ КРОВИ ВЛАСТЬ

3. Точно так же нельзя описать и тип политического развития самодержавной России ни в терминах тотального политического воспроизводства, как обстояло дело в азиатских деспотиях, ни в терминах последовательного наращивания латентных ограничений власти и их осознания, как обстояло оно в европейских абсолютных монархиях. Нельзя потому, что и здесь вела себя самодержавная государственность в высшей степени странно. Её политический процесс парадоксальным образом умудрился сочетать **ради-**

⁴⁵ *Alexander Gershenkron. Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge, Mass., 1962.*

кальные изменение институциональной структуры государства (и даже смену цивилизационной парадигмы) с сохранением основных параметров политической конструкции, заданной еще в ходе самодержавной революции Ивана Грозного.

Достаточно сравнить Россию допетровскую (с её дьяками, приказами и «духовным оцепенением», по выражению И.В. Киреевского) с петровской (с её шталмейстерами, коллегиями и вообще европейской культурно-политической ориентацией); дореформенную (с насквозь коррумпированной, на весь мир осмеянной Гоголем бюрократией и драконовской цензурой) с пореформенной (с её земствами и цветением литературных журналов); дореволюционную с советской (тут иллюстраций, наверное, не требуется) – и всё это при неизменно самодержавной структуре власти, – чтоб уловить странность такого политического процесса. Соблазнительно описать его как доминанту политической наследственности над институциональной изменчивостью.

4. Читателя уже не удивит после всего этого, что и социальная структура самодержавной России тоже пульсировала – то сжимаясь, как в «мир-империях», то расслабляясь, как при абсолютизме. Замечательно здесь лишь то, что, хотя горизонтальная мобильность населения не прекращалась даже в мрачные времена сталинского «второго издания крепостничества», она никогда не достигала той интенсивности, которая в Европе (или, если хотите, в досамодержавной Москве) вела к образованию сильного среднего класса. В результате **роль, которую традиционно играл там средний класс, исполняла в России интеллигенция, неспособная, в отличие от среднего класса,**

выступить в качестве соединительного звена между народом и элитными слоями общества.

5. Еще более странно протекал в самодержавной России процесс образования элит. Единого образца вертикальной мобильности и здесь, как легко догадается читатель, конечно, не было – ни относительно упорядоченного, как в абсолютных монархиях Европы, ни полностью произвольного, как в «мир-империях». Было, как во всем остальном, и то и другое. Самое здесь интересное, впрочем, вот что: опыт словно бы ничему не учил российские элиты. Они как-то безнадежно *не осознавали непредсказуемость своей судьбы*. И потому неизбежное при самодержавной государственности возвращение произвола, повторявшееся столько раз, что к нему вроде бы пора уже было привыкнуть, снова и снова оказывалось для них *громом с ясного неба*. Один пример даст читателю более точное представление об этой очередной странности самодержавной государственности, чем любые формулировки.

За долгое царствование Екатерины II, длившееся целое поколение, люди «наверху» привыкли к стабильности. Пугачевщина в России и якобинство во Франции убедили их, что угроза их благополучию исходит от обездоленных масс. Они были уверены, что главная их забота – *«удержать от крови народ»*. И, конечно же, как и другие поколения российской элиты, успели забыть, что действительная их задача *для собственной безопасности* в самодержавной стране – **удержать от крови власть**.

Так или иначе, несметно расплодившимся екатерининским дельцам казалось, что они вполне надежно окопались за своими письмоводительными фор-

тециями и аппаратными бастионами. И, как другие поколения российской элиты до них, они проглядели опасность. Не успеет еще остыть тело покойной императрицы, как скажет во всеуслышание Аракчеев прославленному Екатеринославскому кирасирскому полку, что знамена его – «екатерининские юбки». А новый государь велит А.И. Тургеневу передать офицерам: «Скажите в полку, а там скажут далее, что я из вас потемкинский дух вышибу. Я вас туда зашлю, куда ворон ваших костей не занесет»⁴⁶.

Если так обращался новый самодержец с гвардейскими офицерами, легко представить, что делал он со «штафирками». Оба любимых камердинера Екатерины, в высшей степени благополучные люди, наказаны были тотчас после воцарения Павла: Захар Зотов – «Захарушка» – заключен в Петропавловку, где и сошел с ума, а Секретарев сослан в Сибирь. Оба референта князя Таврического – Попов и Гарновский, только что всемогущие правительственные дельцы, от одного слова которых зависели карьеры сотен чиновников, были немедленно упрятаны в тюрьму. И хотя последнего фаворита императрицы Платона Зубова ждала судьба по тем временам мягкая – высылка за границу – секретари его Альтести и Грабовский, угодили, конечно, в ту же Петропавловку.

Во мгновение ока вчерашняя *стабильность сменилась умопомрачительным произволом*. Как рассказывает тот же Тургенев, «в несколько часов весь государственный и правовой порядок был перевернут вверх дном; все пружины государственной власти были поломаны; все перепуталось: что было внизу,

⁴⁶ К.Ф. Валишевский. Сын великой Екатерины, изд. А.С. Суворина, с. 132.

оказалось наверху, и так и оставалось на протяжении целых четырех лет. Высшие назначения получили люди еле-еле грамотные, совершенно необразованные, никогда не имевшие случая видеть что-нибудь, способствующее общему благу; они знали только Гатчину и тамошние казармы, ничего не слышали, кроме барабанного боя и сигнальных свистков».

А высшему военному руководству выпала судьба уж и вовсе ни с чем несообразная. «Лакею генерала Апраксина, Клейнмихелю, поручено было обучать военному искусству фельдмаршалов. Шесть или семь из них, находившихся в то время в Петербурге, сидели за столом под председательством бывшего лакея, который на ломаном русском языке обучал так называемой тактике полководцев, поседевших в походах»⁴⁷.

И тем более было все это парадоксально, что, несмотря на такие вопиющие странности, самодержавная государственность, точно так же, как абсолютистские монархии Европы, **вынуждена была сосуществовать с аристократией.**

ДРАМА РУССКОЙ АРИСТОКРАТИИ

6. Но это уже особая, самая, быть может, необыкновенная глава всей нашей истории. Что русские самодержцы пытались добиться полной независимости от «верхнего» класса ничуть не меньше какого-нибудь Надир-шаха, не подлежит сомнению. Достаточно вспомнить только что описанную попытку императора Павла в ходе *одной из самых безобидных*, во всяком случае, кратковременных российских

⁴⁷ А.Г. Брикнер. Смерть Павла I, СПб., 1907, с. 36.

контрреформ заменить екатерининскую аристократию гатчинскими преторианцами. Тем более удивительно, что *ни одна из таких попыток почему-то не удалась*. Мы видели, что после Грозного помещики, призванные заменить вотчинное боярство, очень быстро сами превратились в новых вотчинников, а гатчинские преторианцы так же быстро ушли со смертью своего «безумного султана» в политическое небытие.

Еще показательнее, однако, то, что произошло с русским «верхним классом» в промежутке между Петром, попытавшимся возродить служебную элиту времен Грозного, и Екатериной. Яростный штурм, которому подвергла государственную власть эта новоиспеченная служебная элита на протяжении полувека, когда, как доносил своему правительству английский посланник Финч, кирасирский полк, проезжающий по Гайд-парку, производит больше шума, нежели государственный переворот в России, представляет сюжет скорее для авантюрного романа, чем для политической истории. Вот лишь один его эпизод.

Императрица Анна Иоанновна умерла 17 октября 1740 г. и, согласно легенде, последние слова, которые услышал от неё регент при наследнике престола малолетнем Иване Антоновиче герцог Бирон, были «не бойся». Так же, как для вельмож, присутствовавших при последнем вздохе Екатерины II, означать это, естественно, должно было «не бойся народа». И так же, как в 1794 году, опасность поджидала, конечно, с другой стороны. И трех недель не прошло после октября 1740, как фельдмаршал Миних с ротой гренадер сверг Бирона и провозгласил регентшей мать

наследника Анну Леопольдовну. Но не успел Миних утвердить новый режим, как был, в свою очередь, свергнут лейб-гвардейцами, подученными канцлером Остерманом. Увы, и тот оказался калифом на час. 25 ноября 1741 г. гренадеры взяли реванш, посадив на престол Елизавету Петровну (наследника убили в тюрьме). И всё это на протяжении одного года!

В этом безумии была, однако, система. Ибо в отличие от стамбульских янычар, петербургские гренадеры, или лейб-гвардейцы, как и вся стоявшая за ними петровская служебная элита, ставили себе целью вовсе не воцарение очередного «султана», но **отмену обязательной службы**. Другими словами, возвращения утраченного в очередной раз при Петре *аристократического статуса*. Они не успокоились, пока не добились своего. И едва *додумалась до истинной причины всей этой необыкновенной политической сумятицы* единственная среди плеяды русских императриц политически грамотная женщина Софья Ангальт-Цербстская, больше известная под именем Екатерины Великой, как страсти тотчас улеглись и вчерашний произвол сменился стабильностью.

А попытка Павла возродить его после смерти матери стоила ему жизни. Словно бы услышала, наконец, Россия голос Крижанича, завещавшего ей из своей тобольской ссылки, что «всеконечная область [т.е. неограниченная власть] есть супротивна Божьему уроженному законоставию». Или формулу Монтескье, которая легла в основу знаменитого екатерининского Наказа: «Где нет аристократии, там нет и монархии. Там деспот».

Так или иначе, драма аристократии в России на наших глазах оказалась неожиданным – и мощ-

ным – подтверждением европейского происхождения российской государственности. Не успевал еще закончиться очередной приступ «людодержства», как **процесс аристократизации вчерашней служебной элиты** неизменно стартовал заново. *На месте только что уничтоженной аристократии выростала новая. И ничего самодержавная государственность не могла с этим поделать.*

Другой вопрос, что она исказила и мистифицировала этот процесс, как и всё, к чему прикасалась. Ибо в отличие от абсолютистских монархий, екатерининская аристократия, в очередной раз восставшая из праха обязательной службы, была **РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ**. И потому *зависимой* от самодержавной власти. Она не поддержала попытку декабристов избавить страну от самодержавия и крепостничества. *Она не воспользовалась «прорывом в Европу» во времена Великой Реформы, чтоб радикально ограничить самодержавие. Связав с ним свою судьбу, вместе с ним она и погибла.*

ПОСТСКРИПТУМ

Пришедшая ей на смену советская элита была, само собою, опять служебной, как и послепетровская. И так же попыталась аристократизироваться, как и при императрицах XVIII века. Пусть не вполне, пусть на первых порах лишь в смысле «стабильности кадров», т.е. **пожизненного** пребывания в элите. Ясное дело, нашелся и на нее свой Павел. Только на этот раз «всеконечная область» продолжалась не четыре года, а тридцать. Последовательно освободившись от контроля советского аналога Земских Соборов – Центрального Комитета партии, и аналога Боярской

думы – Политбюро, – Сталин истребил нарождавшуюся «комиссарскую» аристократию в зародыше. С этой точки зрения, террор 1937-го и был, собственно, очередной попыткой **положить конец процессу аристократизации имперской элиты**. Нужно ли говорить, что закончилась она столь же бесславно, как и павловская?

Постсталинская служебная элита, как и послепетровская, тотчас и начала все тот же традиционный процесс аристократизации. Режим Брежнева с его «номенклатурой» был решающим шагом в этом направлении. Короче, *и в советском своем инобытии самодержавная государственность, как могла, продолжала воспроизводить исконные российские образцы формирования элиты*. Можно сказать, что политическое лицо самодержавной России определялось *повторяющимся процессом аристократизации, его темпом, его формой, его историческими катастрофами и ренессансами*. Процесс *и тут пульсировал, то ужесточаясь, то расслабляясь, то «отклоняясь» от европейских образцов, то возвращаясь к ним*. Но продолжим наше сопоставление.

ТЕРРОР

Были ли страхи «рутинный террор» доминирующим принципом самодержавной государственности? Как и во всем другом, *иногда был, иногда не был*. И не только масштабы, но и сама функция террора видоизменялась – синхронно с циклами ужесточения или расслабления самодержавия. Если в жестких фазах цикла становилось оно террористическим по преимуществу, то в расслабленных, уподобляясь абсолютным монархиям Европы, употребляло террор лишь

по отношению к тем, чье поведение могло рассматриваться как угроза режиму.

Первым из русских интеллектуалов заметил эту странную пульсацию террора Гавриил Державин в знаменитой оде «К Фелице»:

Там можно пошептать в беседах
И, казни не боясь, в обедах
За здравие царей не пить.
Там с именем Фелицы можно
В строке описку поскоблить,
Или портрет неосторожно
Ее на землю уронить,
Там свадеб шутовских не парят,
В ледовых банях их не жарят,
Не щелкают в усы вельмож;
Князья насадками не клохчут,
Любимцы вьявь им не хохочут
И сажей не марают рож.

Десятилетие спустя озорное державинское описание попытался строже сформулировать Николай Карамзин: «Екатерина очистила самодержавие от примесов тиранства». И уже в XX веке, анализируя екатерининское «расслабление», Плеханов пришел к выводу: «Кто не становился матушке-государыне поперек дороги, кто не мешался в дела, до него не принадлежавшие, тот чувствовал себя спокойным»⁴⁸. Проще говоря, в расслабленных фазах самодержавия судьба человека в России зависела от его поведения. **В жестких, однако, не зависела.**

И нет нам решительно никакой нужды обращаться к опричному террору Грозного или к произволу «бироновищины», описанному Державиным, или к ужа-

⁴⁸ Г.В. Плеханов. Собр. соч., М., 1925, т. 21, с. 36–37.

сам 37-го, чтоб это показать. Ибо «примесы тиранства», от которых Екатерина якобы очистила самодержавие, тотчас же и явились, как мы уже слышали, на сцену со смертью матушки-государыни. Да какого еще тиранства!

Подражая Фридриху Великому, Павел будет вставать в 3 часа утра – и странное впечатление станет производить ночной чиновный Петербург с пылающими в окнах всех учреждений лампами и трепещущими за своими столами чиновниками – а вдруг вызовет государь? И зачем вызовет? Не в Сибирь ли прямо из кабинета, не в каземат ли?

А если не вызвали ночью, значит утром рано пожалуйте на плац-парад. А там уже было все сразу – и канцелярия, и аудиенц-зал, и суд – и расправа. Там выслушивались все доносы, там было решение судеб. И, как напишет историк: «сюда, в это чистилище, всякое утро должен являться каждый, от поручика до генерала, от столоначальника до вице-канцлера. И всякий приходит с замиранием сердца, не зная, что его ожидает: внезапное повышение или ссылка в Сибирь, постыдное исключение из службы или производство в следующий чин. Шансов на скверное несравненно больше. Неверный шаг, минута невнимания или **даже без всякой причины**, раз маленькое подозрение промелькнет в голове государя, человек погиб. Офицеры приходят в сопровождении слуг или вестовых, несущих чемоданы, так как всегда стоящие наготове кибитки тут же на месте собирают тех, кого одно слово императора отправило в крепость или в ссылку, а по уставу мундиры настолько узки, что нет возможности положить в карман даже малую толику денег»⁴⁹.

⁴⁹ К.Ф. Валишевский. Цит. соч., с. 158.

Чтоб не создалось у читателя впечатления, что все эти ужасы были преувеличены врагами императора, пытавшимися задним числом оправдать царевубийство, вот несколько свидетельств ближайших его сотрудников, написанных в разгар «рутинного террора». Вице-канцлер Виктор Кочубей, третье лицо в государстве, пишет в апреле 1799-го послу в Лондоне Семену Воронцову – дипломатической, конечно, почтой: «Тот страх, в каком мы здесь пребываем, нельзя описать. Все дрожат... Доносы, верные или ложные, всегда выслушиваются. Крепости переполнены жертвами. Черная меланхолия охватила всех... Все мучаются самым невероятным образом»⁵⁰. В октябре того же года Кочубей был заменен Никитой Паниным, который в свою очередь писал в Лондон: «В России нет никого, в буквальном смысле этого слова, кто был бы избавлен от притеснений и несправедливостей. Тирания достигла своего апогея»⁵¹.

Если бились в приступах паники такие важные люди, то что уж говорить о бедной Екатерине Дашковой, бывшем президенте Российской Академии Наук? Она пряталась все эти годы в крестьянской избе в забытом богом селе Коротове, но даже там не избежала встречи с родственником, гвардейским офицером, которому вывихнули на дыбе руки в камере пыток. Дашкова прожила еще десять лет после убийства Павла, но никогда уже не могла освободиться от ночных кошмаров. Вот ее свидетельство: «Ссылки и аресты пощадили едва ли несколько семей, которые не плакали бы хоть над одним из своих членов. Муж,

⁵⁰ К.Ф. Валишевский. Цит. соч., с. 159

⁵¹ Там же.

отец, дядя видит в жене, в сыне, в наследнике донощика, из-за которого может погибнуть в тюрьме»⁵².

А потом Павла убили – и страна вдруг изменилась до неузнаваемости: начался, очередной «порыв в Европу», Ну, про «дней Александровых прекрасное начало» в школе учили. Вот я и говорю, бывало в России самодержавие «без примесов тиранства» (сопоставьте хоть «екатериненское» правление Брежнева с «павловской» эрой Сталина), когда судьба человека и впрямь зависела от его поведения, но бывало и с «примесами», когда не зависела. И самое ужасное, что не было никаких защитных механизмов, способных предотвратить превращение «беспримесного» самодержавия в «примесное». Или, наоборот, в столь же неожиданный «прорыв в Европу», как после Брежнева.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Честно сказать, я не думаю, что подробное обсуждение последних пунктов нашего сопоставления – об идеологических ограничениях власти и о стабильности лидерства – добавило бы что-нибудь существенное к нашему представлению о самодержавной государственности. Та же нервная пульсация сменяющих друг друга режимов присутствовала всюду. Лишь одно обстоятельство имеет смысл отметить здесь специально. Я говорю о том, что, начиная от князя Андрея Михайловича Курбского и кончая академиком Андреем Дмитриевичем Сахаровым, **политическая оппозиция была, в отличие от «мир-империй», столь же неотъемлемой чертой**

⁵² «Архив князя Воронцова», М., 1970, т. XXI, с. 323.

самодержавной государственности, как и аристократизация элиты. Так или иначе, можно, наверное, теперь подвести предварительные итоги нашему сопоставлению – в трех фразах. Вот они...

Если «мир-империи» (или азиатские деспотии, на языке Виттфогеля и Яковенко) в принципе отрицали латентные ограничения власти, а европейские монархии были на них основаны, то самодержавная государственность *и отрицала их, и признавала* (в зависимости от фазы исторического цикла). Иначе говоря, даже в самые мрачные времена своей истории Россия **никогда** не была азиатской деспотией.

Если европейские монархии модернизировались более или менее последовательно, а «мир-империи» тысячелетиями топтались на месте, то *самодержавие и модернизировалось, порою бурно и стремительно* (в институциональном и технико-производственном смысле), *и топталось на месте.* Другими словами, на самодержавном отрезке её прошлого в России не было – и не могло быть – европейского абсолютизма.

Невольно создается впечатление, что в какой-то момент своей истории (и мы теперь точно знаем в какой) Россия отчалила от одного политического берега (с относительно полным набором ограничений власти) *и так до сих пор не причалила к другому* (где власть напрочь освободилась бы от каких бы то ни было ограничений). Вопрос о том, почему из обыкновенного европейского корня, извините за столь резкую смену метафоры, выросла блудная уродливая ветвь, пожелавшая забыть о своих корнях, мы, надеюсь, еще обсудим.

**МОЙ «ВТОРОЙ ФРОНТ»
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПЕРЕПИСКА СО СТАРЫМ ДРУГОМ**

Глава 8 В ДИСКУССИИ

Почему так упорно, так настойчиво, цепляясь за любую выбоину и колдобину, сопротивляется постсоветская историография самой идее изначальной европейскости России? Нет, слов, отстала Россия от Европы к XVI веку отчаянно. Могло ли это быть иначе, если лежала она, отрезанная от мира, под копытами монгольских коней, когда бушевало в Европе Возрождение? Удивительно ли в такой ситуации, что не было в ней университетов, ремесленных цехов, Магдебургского права в городах и всего длинного списка «нетей», что с удовольствием перечисляют мои оппоненты? Удивительно другое, удивительно, что несмотря на все это сохранила **она европейскую способность к политическому саморазвитию**, с которым вышла она из-под ига. По крайней мере, на столетие сохранила. А о том, что она его сохранила, свидетельствует многое.

Откуда иначе **взялся бы гибрид самодержавной государственности**, оседлавлавший Россию на века, вплоть до сего дня и амальгамировавший в себе «ордынские» элементы наряду с европейскими (см. гл. 7)? Откуда вектор миграции, **доказанный М.А. Дьяковым**? Почему-то же комфортно и естественно чувствовали себя в постордынской Москве вельможные беглецы из вполне европейской Литвы (см. гл.3). Разве

чувствовали бы они себя так в Орде? И разве **не доказали** советские историки-шестидесятники, что появилась в постордынской России и расцвела крестьянская собственность (см. гл. 4)? Откуда законодательная роль Думы, **доказанная** В.О. Ключевским (см. гл. 1)? Откуда, наконец, статья 98 в Судебнике 1550 года? Документально ведь доказано. Попробуйте все это опровергнуть. Или, по крайней мере, объяснить как-нибудь иначе. Но нет, не пробуют, даже не пытаются объяснить. Просто стоят на своем.

Иные из них, И.Г. Яковенко пример, делают это грубально: «Что такое российское государство и российская власть? Как я понимаю, это идеологически санкционированная деспотия». И в доказательство совсем уж абсурд, противоречащий даже элементарному, общеизвестному: «И я настаиваю на том, что ни в Московии, ни в Российской империи, ни в Советском Союзе, ни в постсоветской России частной собственности не было и нет». Мои возражения? «Предзаданная исследуемому материалу теоретическая конструкция и сугубо идеологический текст». Того же сорта, видимо, что и возражения В.О. Ключевского, М.А. Дьяконова или А.И. Копанева.

Об этой нигилистической критике я, впрочем, уже упоминал в «Заметках по следам дискуссии» (см. гл. 2) и буду еще говорить очень подробно. Сейчас речь о другой версии «второго фронта», о дружественной, казалось бы, критике, представленной в дискуссии И.М. Клямкиным. Когда я впервые услышал его (он был ведущим в дискуссии 2009 года), вздохнул с облегчением: ну вот, наконец, и в отечестве своем встретил я единомышленника. Удивительно ли, подумал, ведь знакомы мы едва ли не полвека, родная душа, шестидесятник.

А вы, читатель, не подумали бы, услышав такие слова: «Если такой [европейской] традиции... у нас не было, если история страны – это история «тысячелетнего рабства» или унаследованного от монголов и ставшего русским генетическим кодом «ордынства», то в отечественном прошлом нам с вами опереться не на что. Тогда наше историческое сознание обречено быть исключительно негативистским. А это значит, что тогда у нас нет в стране своего прошлого и, следовательно, нет и будущего?» Как музыка звучали в моих ушах эти слова.

И меня не забыл старый друг представить публике в лучшем свете: «Либерально-демократическое сознание не может быть сформировано при отсутствии осмысленной с либерально-демократических позиций истории России. Я имею в виду всю историю страны, а не отдельные периоды, изучаемые изолированно друг от друга. Если не ошибаюсь, Александр Янов был первым нашим соотечественником, который поставил перед собой такую задачу еще в советское время... лет 40 назад. Ее первые результаты были представлены им в самиздате, что стало одной из причин выдворения автора из СССР. Тогда его рукопись, несмотря на внушительный объем, читалась очень многими и на многих оказала серьезное влияние».

Почему же, после всей этой замечательно великодушной предыстории, отношу я позицию И.М. Клямкина ко «второму фронту»? Потому что, как увидит читатель нашей переписки (главы 8–12), я ошибся. Не решился старый друг идти со мной до логического конца. Я готов понять его позицию: неуютно, чтоб не сказать страшно, оказаться одними против всех – даже вдвоем. И он остановился на полпути. Да, мол, есть в России «европейская тенденция», но начало берет

она почему-то в самый разгар ее самодержавной, имперской, крепостнической государственности, когда Петр III и Екатерина отменили обязательную службу дворянства.

Забавный ведь парадокс получается: в досамодержавном, докрепостническом, доимперском столетии никакой европейскости на Руси не было, сплошная деспотия, несмотря даже на **доказанную** ее способность к политической модернизации, а когда она эту способность частично утратила, вот тогда как раз она европейскость и обрела? Слишком похоже на пьесу абсурда, чтобы я не вступил со старым другом в спор. Вот и представляю я на суд читателя всю эту переписку в полном ее объеме – от начала до конца. Все аргументы с обеих сторон положены на стол. И я готов принять приговор читателя, каков бы он ни был.

ЕВРОПЕЙСКАЯ И «ХОЛОПСКАЯ» ТРАДИЦИИ В РОССИИ

(вступительное слово)

Игорь КЛЯМКИН (вице-президент фонда «Либеральная миссия»):

Уважаемые коллеги, сегодня нам предстоит обсудить доклад Александра Янова, подготовленный им на основе его недавно вышедшего трехтомника «Россия и Европа. 1462–1921». Мы делаем это по предложению самого автора и, к сожалению, в его отсутствие – он живет в Нью-Йорке и приехать в Москву не смог. Причину, которая побудила Александра Львовича обратиться к нам с упомянутым предложением, он изложил в своем обращении к читателям. Оно, как и текст доклада, было заранее размещено на нашем сайте, и вы могли с ним ознакомиться.

Любой автор, очень долго работающий над какой-то темой и развивающий один и тот же круг идей, которые считает общественно значимыми, хочет быть услышанным, хочет обратной связи с теми, кому адресует свою работу. Возможно, не все знают, что Александр Львович начал эту работу, насколько помню, лет 40 назад. Ее первые результаты были представлены им в самиздате, что стало одной из причин выдворения автора из Советского Союза. Тогда его рукопись, несмотря на ее внушительный объем, читалась очень многими и на многих оказала серьезное влияние.

Но сегодняшнее обсуждение продиктовано не только нашим искренним желанием воздать дань уважения известному историку и привлечь дополнительное внимание к его идеям. Дело в том, что либерально-демократическое историческое сознание не может быть сформировано при отсутствии осмысленной с либерально-демократических позиций истории России. Я имею в виду всю историю страны, а не отдельные ее периоды, изучаемые изолированно друг от друга.

Если не ошибаюсь, Александр Янов был первым нашим соотечественником, который поставил перед собой такую задачу еще в советское время и последовательно решал ее на протяжении десятилетий. У его оригинальной концепции есть сторонники (их, по его собственному признанию, немного) и есть противники, которых гораздо больше и которые, как правило, предпочитают его труды не замечать. Я же убежден в том, что их надо обсуждать.

И опять-таки не только в знак уважения к интеллектуальному мужеству Александра Львовича,

подвижнически отстаивающему свою концепцию, которая амбициозно именуется им революционной и сознательно противопоставляется чуть ли не всей отечественной и западной русистской историографии. Нельзя продвигаться вперед в осмыслении нашего прошлого, игнорируя то, что уже сделано, те вопросы, которые уже поставлены, – независимо от того, какие на них даны ответы. Тем более в ситуации сегодняшнего публичного противоборства вокруг отечественной истории, в котором сталкиваются не только разные образы прошлого, но и несовместимые образы желаемого будущего.

Сейчас это противоборство разворачивается в основном по поводу оценок советской эпохи. Но не исключено, что вскоре оно может затронуть и времена, которые у Янова находятся в центре внимания. Речь идет о конце XV – первой половине XVI века, т.е. о начальном периоде независимой московской государственности, который Александр Львович называет «европейским столетием России».

Если происходит «государственническое» переосмысление сталинской эпохи, то не заставит себя долго ждать и аналогичное переосмысление эпох более давних. Оно уже и началось – достаточно упомянуть почти тысячестраничный труд известного историка Игоря Фроянова, в котором террор Ивана Грозного интерпретируется даже более «государственнически», чем это было при Сталине. Опричнина рассматривается автором как спасительная для России политика, как единственно возможная в те времена альтернатива губительному западному влиянию.

Что мне кажется наиболее продуктивным в концепции Янова? Наиболее продуктивным кажется

мне то, что он связывает перспективы европеизации России с наличием в ней европейской традиции. Традиции (точнее, мне кажется, все же говорить о тенденции, никогда не прорывавшей самодержавную оболочку), которая имела место не только в оппозиционной политической мысли, но и в государственной практике. Ведь если такой традиции или тенденции не было, если история страны – это история «тысячелетнего рабства» или унаследованного от монголов и ставшего русским генетическим кодом «ордынства», то в отечественном прошлом нам с вами опереться не на что. Тогда наше историческое сознание обречено быть исключительно негативистским. А это значит, что тогда у нас нет в стране своего прошлого и, следовательно, нет и будущего.

Другое дело, где искать эту европейскую традицию. Александр Янов ищет и находит ее в периоде, начавшемся с правления Ивана III и продолжавшемся до опричного террора его внука. В свою очередь, полагает Александр Львович, «европейское столетие» только потому и могло состояться в послеордынской Московии, что она унаследовала традицию «вольных дружинников» Киево-Новгородской Руси – дружинников, служащих князю по договору. То есть так, как было и в феодальной Европе. Тут, однако, начинают возникать вопросы, которые хотелось бы обсудить.

Во-первых, вопрос о том, насколько корректно уподоблять сюзерен-вассальные отношения в феодальной Европе, бывшие там правовыми – с оговариванием взаимных прав и обязанностей и судебной процедурой разрешения конфликтов, – отношениям между князем и дружинниками на Руси. Ведь здесь, как известно, никаких фиксированных правовых от-

ношений между ними не было, а «договор» предполагал лишь возможность беспрепятственного и немотивированного ухода дружинника от одного князя к другому – благо все князья принадлежали к монополюбно правившему Русью роду Рюриковичей. Можно ли, кстати, считать, что такое коллективное родовое правление имело европейские аналоги?

Во-вторых, насколько правомерно говорить о том, что традиция «вольных дружинников» – в том виде, в каком она первоначально сложилась, – пережила монгольскую колонизацию и сохранилась в послемонгольской Московии? О каких свободных переходах от князя к князю может идти речь в государстве, ставшем централизованным?

В-третьих, «европейское столетие» охватывает четыре разных типа правления – Ивана III, Василия III и Ивана IV (первый период его царствования), а в годы несовершеннолетия последнего было еще и так называемое боярское правление. Александр Львович все это объединяет в один исторический цикл, и хотелось бы услышать ваше мнение – прежде всего я имею в виду присутствующих здесь историков – о том, насколько такое объединение оправданно.

В-четвертых, в Европе к началу этого периода уже давно утвердилось римское право, уже был Ренессанс, а примерно в середине данного периода произошла Реформация. И вопрос заключается в том, правомерно ли говорить о «европейском столетии» применительно к стране, таких явлений и событий не знавшей.

На чем строит Александр Львович свою концепцию, какими конкретными фактами ее обосновывает? Основные среди них следующие:

1. Учреждение Юрьева дня в Судебнике 1497 года, в чем автор усматривает своего рода «крестьянскую конституцию», т.е. альтернативу будущему крепостному праву.

2. Наделение в Судебнике 1550 года Боярской думы законодательными полномочиями – 98-я статья Судебника, закреплявшая за Думой такие полномочия, трактуется Яновым как русская Magna Carta, как аналог Великой хартии вольностей.

3. Учреждение при Иване Грозном (в доопричный период его царствования) местного самоуправления, что тоже рассматривается как важный шаг в европейском цивилизационном направлении.

Давайте обсудим, насколько все это убедительно. Не оставим без внимания и факты более позднего времени, которые Александр Львович приводит для обоснования жизненной силы европейской традиции, сложившейся в XV–XVI веках.

Он ссылается, в частности, на проект «конституционной монархии» 1610 года, подготовленный под влиянием трагических событий Смуты боярином Михаилом Салтыковым, – документ, в котором оговаривались условия приглашения на московский престол польского королевича Владислава. Этот проект предполагал существенные ограничения самодержавной власти, но реализован не был. Ссылается Янов и на замысел «верховников» (членов Верховного тайного совета при императоре) 1730 года, тоже намеревавшихся ограничить самодержавие, но тоже безуспешно. Тем не менее, такие попытки, по мнению Александра Львовича, свидетельствуют об органичности европейской традиции в России. Или, пользуясь его терминологией, о том, что традиция

«вольных дружинников» всегда противостояла в стране традиции «холопской».

Думаю, что и здесь предмет для разговора наличествует. Зная позиции многих из присутствующих, я предвижу, что концепция Янова и ее обоснования будут подвергаться критике. И хочу заранее попросить такой критикой не ограничиваться, а попытаться ответить на вопрос, была ли все же в истории российской государственности европейская политическая традиция (или хотя бы заметная европейская тенденция). И если да, то когда именно и в чем она проявлялась.

Повторю еще раз: если ничего такого в российской истории не было, а были лишь «тысячелетнее рабство» и «ордынство», то у нас с вами нет не только прошлого, но и будущего. С нуля в истории ничего не начинается, преемственная нить в ней даже при самых резких переменах никогда не рвется, при них всегда что-то из уходящего наследуется. А потому наше идеологическое обнуление прошлого, т.е. признание его полностью чужим и чуждым, может означать лишь добровольное согласие на сохранение или возрождение «ордынства» в новых формах.

Впрочем, такое обнуление и сопутствующее ему последовательно негативистское историческое сознание в нашей среде пока еще всеобщим не стало. Кто-то ищет и находит европейскую традицию (или тенденцию) в Новгородской вечековой республике, видя, в отличие от Янова, в послемонгольской Московии не продолжение, а отрицание этой традиции. Кто-то – в деятельности Петра I: напомним, что в начале 1990-х эмблемой партии «Выбор России», объединившей Егора Гайдара и его единомышленников, был Медный всадник...

**«Основные вехи политической европеизации России –
жалованные грамоты Екатерины II,
реформы Александра II
и октябрьский Манифест 1905 года»
(Заключение)**

Все, кто хотел, выступили. Я тоже хочу высказать свое мнение. По крайней мере, по некоторым вопросам. Конечно, трилогия Александра Янова охватывает не только «европейское столетие», что справедливо отмечалось в некоторых выступлениях. Но, думаю, не ошибусь, если скажу, что концептуальное своеобразие авторского подхода наиболее заметно проявляется именно в анализе этого периода. Да и для своего доклада Александр Львович предпочел отобразить, прежде всего, то, что относится к данному периоду. Отсюда и характер нашего обсуждения: он был предзадан акцентами, расставленными в докладе самим автором.

Сразу скажу, что концепция «европейского столетия» мне не близка. Истоки российской либеральной государственной тенденции я вижу не в XV столетии, а в столетии XVIII, во временах Петра III и Екатерины II. Эта позиция, представленная некоторыми выступавшими, обосновывается и в книге «История России: конец или новое начало?», написанной мной в соавторстве с Александром Ахиезером и присутствующим здесь Игорем Яковенко. Вспоминаю о ней только потому, что Александр Янов не преминул нас в своем трехтомнике раскритиковать: мол, законодательное освобождение дворян от обязательной государственной службы в XVIII веке могло иметь место лишь потому и постольку, поскольку такая служба ранее была узаконена, а узаконена она

была не в «европейское столетие», а гораздо позже. Ивану III и его ближайшим преемникам закон об обязательной службе не надо было отменять по той простой причине, что его в их времена еще не существовало вообще!

С этим, конечно, спорить трудно. Но можно ли было такой незаконной службы в XV–XVI веках избежать? Можно ли было ее избежать, учитывая, что она была условием наделения дворян землей и ее сохранения за ними? Можно ли было ее избежать, если именно на этой служилой основе выстраивалась, начиная с Ивана III, послемонгольская московская государственность? И похоже то было, по-моему, больше на султанистскую Османскую империю, чем на переходившую к использованию наемной армии Европу. Разве не так?

Повторяю: принуждение к службе, не опосредованное правом (договором сторон), с европейскостью в моем сознании не совмещается. Ничего общего не вижу я также в отношениях между московскими правителями и служилыми людьми в «европейском столетии» и отношениях князя и «вольных дружинников» в Киевско-Новгородской Руси. Кроме того, разумеется, что в том и другом случае отношения эти строились в отсутствие договорно-правовой основы. Вот почему я и веду отсчет либеральной тенденции в России не с Ивана III, а с Петра III и Екатерины II. И если Александру Львовичу эти аргументы не кажутся убедительными, то очень интересно было бы услышать его возражения.

Дело не только в том, что дворяне в XVIII веке были раскрепощены, получив право не служить. Дело и в том, что в жалованной грамоте Екатерины II дво-

рянству было впервые сказано: законы, гарантирующие его права, не могут быть изменены и отменены, они являются постоянными, дарованными «на вечные времена». Имелось в виду и право собственности на землю. Другое дело – и здесь я соглашусь скорее с Игорем Яковенко, чем с его оппонентами, – что легитимным в глазах подавляющего большинства населения, т.е. крестьянства, оно при этом не стало. Напомню, что ликвидация частной собственности на землю была осуществлена большевиками в соответствии с заимствованной ими эсеровской программой, которая, в свою очередь, находилась в соответствии с наказами самих крестьян...

Но, как бы то ни было, неотменяемость екатеринских законов делала их, по сути, конституционными, ибо они ограничивали монополию самодержцев на законотворчество. Причем ограничивали в той сфере, в которой Судебником 1550 года правовое упорядочивание не предусматривалось вообще; в этой сфере сохранялись отношения доправовые. Это во-первых. А во-вторых, ограничения самодержавия в XVIII веке, в отличие от ограничений века XVI, оказались необратимыми: когда Павел I по старой традиции попробовал ими пренебречь, он кончил тем, чем кончил.

Евгений ЯСИН:

Дворянство почувствовало вкус свободы...

Игорь КЛЯМКИН:

Оно почувствовало, что за ним – закон, отмене не подлежащий. Отменить его можно было только посредством ликвидации всей дворянской элиты и

замены ее другой, что и сделали впоследствии большевики.

А в досоветский период обозначившаяся в XVIII веке европейско-либеральная тенденция получила продолжение и углубление в реформах Александра II, освободившего от крепостной зависимости крестьян. Хочу особо упомянуть и об учреждении им земств, т.е. местного самоуправления.

Леонид ВАСИЛЬЕВ:

Не менее важна была и судебная реформа ...

Игорь КЛЯМКИН:

Разумеется, как и реформирование армии, отказ от рекрутчины, существовавшей в стране со времен Петра I. Но я вспоминаю именно о земстве, потому что Александр Львович усматривает европейскость первоначальных реформ Ивана Грозного как раз в учреждении местного самоуправления.

Но насколько корректно говорить о таком самоуправлении в России до эпохи Александра II? Ведь только при этом правителе у органов самоуправления появилась собственная экономическая база: им было предоставлено право самообложения, т.е. установления местных налогов. А раньше этого не было.

И сейчас, между прочим, нет ...

Евгений ЯСИН:

Да, реально этого нет, хотя в Конституции такое право записано ...

Игорь КЛЯМКИН:

А местное самоуправление при Иване Грозном, как отмечал и почитаемый Александром Львовичем

Василий Ключевский, таковым, строго говоря, не являлось. И дело не только в отсутствии права на самообложение. Дело и в том, что местные выборные органы призваны были восполнять дефицит чиновничества, выполняя и общегосударственные функции. Или, говоря иначе, будучи выборной местной разновидностью государственной бюрократии.

Во всяком случае, ничего похожего на европейское городское самоуправление, как неоднократно отмечалось в ходе дискуссии, в Московии не наблюдалось. Никита Павлович Соколов мог бы, правда, сослаться на Новгород, но после походов на него Ивана III и самоуправляющийся Новгород остался в прошлом. И я спрашиваю: можно ли считать выравнивание порядков в этом городе с порядками в других городах Московии движением в европейском направлении?

У новгородцев, желавших сохранить свои вольности, наблюдалось, как известно, сильное тяготение к Литве, за что они и были Москвой наказаны. Но какая страна была в то время больше Европой – Литва или Московия?

Могли ли литовские магнаты позволить себе, скажем, то беззаконие в отношении своих соотечественников, которое позволял себе там бежавший в Литву от произвола Ивана Грозного московский «европеец» Андрей Курбский, причисляемый Александром Яновым к числу самых выдающихся фигур отечественного либерализма?

И наконец, третья важнейшая веха европеизации, если ограничиться досоветскими временами, – октябрьский Манифест 1905 года и Основные законы 1906-го, положившие начало российскому парламентаризму. По сути, это был уже реальный выход

за политические границы самодержавия, так как оно впервые частично урезалось в своих полномочиях выборным народным представительством. Но если первые две либерализации системы синхронизировались с существенными расширениями имперского пространства, то третья явилась, помимо прочего, и реакцией на исчерпанность экспансионистского ресурса, что и продемонстрировала убедительно война с Японией.

Так вот: можно ли утверждать, что все эти три вехи, начиная с екатерининской жалованной грамоты дворянству, были продолжением традиции, заложенной в «европейском столетии»? Возникло ли тогда нечто похожее на то, чем отмечена каждая из этих вех?

Я адресую эти вопросы Александру Янову. И руководствуюсь отнюдь не желанием во всем его опровергнуть. Мне хочется, чтобы позиция, которая вызывает у меня сомнения, была максимально прояснена. Не исключаю, что Александр Львович в чем-то меня переубедит. И потому продолжу перечень своих вопросов.

Мне непонятно, правомерно ли вообще начальный период государственности выдвигать в качестве альтернативы ее более поздним формам. В данном случае государство доопричной Московии – государству опричному и послеопричному. Интересно, кстати, что Янов в одном месте проводит параллель между Иваном III и Лениным периода НЭПа, с одной стороны, и между Иваном IV и Сталиным – с другой. Надо ли понимать это так, что нам предлагается вернуться к идее советских шестидесятников, вроде бы преодоленной, т.е. к идее о ленинизме как исторической альтернативе сталинизму? Если же нет, то

почему такой подход оправдан применительно к другой эпохе? Почему оправданно искать историческую альтернативу самодержавию Ивана Грозного в более ранних, начальных формах российского государства?

Лев РЕГЕЛЬСОН:

Чтобы ответить на такого рода вопросы, придется писать четвертый том...

Игорь КЛЯМКИН:

Не знаю, не уверен. По-моему, ответ может быть очень коротким.

Возможно, несколько больше места потребуется для того, чтобы показать, в каком направлении эволюционировало Московское государство в границах самого «европейского столетия». Какая тенденция доминировала, скажем, при Василии III, который в глазах европейца Герберштейна выглядел правителем, власть которого превосходила власть любого монарха? Европейская тенденция или «холопская»? И какую роль в этой эволюции сыграло прервавшее ее боярское правление? Интересно: не будь этого системного сбоя, понадобилось бы наследнику Василия III искать поначалу компромисс с боярством, поделившись с ним законодательными полномочиями, а потом вырезать его, когда эти полномочия стали восприниматься как чрезмерные ограничители полномочий царских?

Вопрос не покажется таким уж странным, если учесть, что наделение Боярской думы законодательными полномочиями было не подтверждением и закреплением сложившейся до того практики, а отступлением от нее, ее, если угодно, ревизией. Предшественники Грозного не были очень уж щепетильны в своих отношениях с Думой. И «латентные ограни-

чения власти», о которых пишет Янов и о которых вслед за ним говорил Лев Львович Регельсон, действовали при них далеко не гарантированно.

Напомню, что и истинный «европеец» Иван III (не говоря уже о сменившем его Василии III) позволял себе с Думой не считаться. И самочинными казнями не пренебрегал, когда думские бояре очень уж сопротивлялись, я имею в виду ситуацию, когда он решил вместо уже коронованного внука Дмитрия назначить своим наследником сына от второго брака Василия. Конечно, масштабы репрессий были несопоставимы с теми, которые учинил потом Иван Грозный, конечно, речь шла не о тысячах, а о единицах, но прецеденты были и до Грозного.

А это значит, что никакой обязательной нормы, никакой традиции, исключавшей бессудные репрессии, в послемонгольской Московии изначально не утвердилось. Когда же законодательное ограничение после эволюционного сбоя, имевшего место при боярском правлении, было наложено, царь, этим ограничением тяготившийся, нашел способ его ликвидировать – столь же насильственный, сколь и «законный». Ведь сама же Боярская дума, уstraшенная Грозным и, что немаловажно, поддержавшим царя московским людом, его опричнину и санкционировала. Отсюда и мой вопрос: сложилась ли на ранних стадиях Московского государства традиция, исключавшая произвол правителя и принятие им самовластных, т.е. в обход Боярской думы, решений?

И в каком все-таки направлении эволюционировала московская власть до того, как эволюция эта была прервана боярским правлением?

А теперь – по поводу самой 98-й статьи Судебника 1550 года, наделявшей Боярскую думу законо-

дательными полномочиями. У Александра Львовича эта статья фигурирует как русская Magna Carta. Не буду останавливаться на том, что никакой законодательной процедуры формирования Думы той статьей не предусматривалось – царь мог вводить в нее тех, кого хотел, по своему усмотрению. Меня в данном случае интересует другое.

Меня интересует, есть ли разница между английскими баронами начала XIII века, представлявшими свои территории, и московскими думскими боярами XVI столетия, которые были сосредоточены в столице и никого – кроме самих себя и своих семейных кланов – не представляли? Поэтому английские бароны добивались в первую очередь права влиять на размеры налогов со своих земель, которое и узаконила Magna Carta. Разве в Московии XVI века было то же самое? И могло ли из московской Боярской думы произрасти нечто похожее на английский парламент, который возник уже через несколько десятилетий после принятия Хартии вольностей? Парламент, в котором заседали не только бароны, но и по два выборных представителя от рыцарства и городов. И почему различные группы английского общества это свое право на такое представительство отстаивали и отстаивали в жесткой, временами кровавой, борьбе, а русское общество три века спустя перед произволом Ивана Грозного оказалось бессильным и всерьез даже не сопротивлявшимся?

Леонид ПОЛЯКОВ:

В России тоже было выборное представительство. В 1613 году Земский собор избрал царя Михаила Романова...

Игорь КЛЯМКИН:

Александр Янов этот эпизод для иллюстрации своей концепции не использует, а потому и я не буду на нем останавливаться. Что касается отличий российского Земского собора от европейского парламентского представительства, то они хорошо показаны у того же Ключевского. Советую почитать.

Правда, Янов, как я уже говорил, ссылается на подготовленный Михаилом Салтыковым договор 1610 года с поляками, в котором предусматривались не только Боярская дума, но и Земский собор, существенно ограничивавшие власть царя. Но в том договоре есть не только это. В нем – цитирую по Ключевскому – написано и такое: «Мужикам крестьянам не дозволяется переход ни из Руси в Литву, ни из Литвы на Русь, а также и между русскими людьми всяких чинов, то есть между землевладельцами». Насколько понимаю, это называется крепостным правом.

Так что если и правомерно в данном случае говорить о конституции, то разве что о крепостнической. И я хочу понять: как сочетаются у Александра Львовича жесткие обвинения в адрес тех, кто отменил «крестьянскую конституцию» Ивана III (кстати, документов об официальной отмене при Иване Грозном Юрьева дня обнаружить, насколько знаю, так и не удалось), с апологией проекта Салтыкова? Проекта, где ни о каком Юрьевом дне не упоминается, а крепостничество предполагается узаконить? И с «верховниками» 1730 года, кстати, то же самое: самодержавие они действительно хотели ограничить, но на крепостное право, к тому времени давно уже узаконенное, не покушались.

Также не очень понятно мне – это в каком-то смысле возвращает меня к реплике Леонида Поля-

кова, – почему Александр Львович придает такое большое значение проекту Салтыкова и не придает никакого значения тому, что положения этого проекта, хотя и без ссылок на него, были реализованы при первых Романовых. К тому же своими, русскими царями, а не иноземными. Тогда и Боярская дума была, и Земский собор работал (первые десять лет – фактически на постоянной основе). Может быть, потому, что в реальной московской политической жизни все оказалось не так привлекательно, как на бумаге? Или потому, что именно при первых Романовых было юридически окончательно закреплено и крепостное право? Но ведь и Михаил Салтыков намечал сделать то же самое! Правда, об этом сегодня почти никто не знает, а о закреплении крестьян при Алексее Михайловиче Романове известно каждому школьнику. А значит, и каждому взрослому...

И наконец, последнее. Чтобы лучше понять, что же все-таки представляла собой государственная традиция «европейского столетия», какую именно альтернативу самодержавию она в себе заключала, хотелось бы получить ответ еще на один вопрос. У Александра Львовича есть замечательный, по-моему, анализ содержания таких понятий, как «деспотия» (восточная), «абсолютизм» (европейский) и «самодержавие» (российское). Он убедительно показывает, что вещи это разные. Но чем все же было Московское государство «европейского столетия»?

Ответ Янова: ни деспотией, ни самодержавием. Но чем же тогда? Европейским абсолютизмом? Европейской сословно-представительной монархией? И если речь идет о последней, то насколько соответствовал московский вариант такой монархии известным к тому времени (и уже уступавшим историче-

скую дорогу абсолютизму) европейским моделям? А если в Московии тогда был абсолютизм европейского типа, как трактует Янова Лев Регельсон, то какой смысл сравнивать ее с доабсолютистской Англией времен Великой хартии вольностей? И мог ли абсолютизм такого типа возникнуть на той стадии развития общенационального внутреннего рынка, на которой находилась Московия в «европейском столетии»?

Я солидаризируюсь с призывом Льва Львовича к поддержке друг друга, к объединению вокруг общих ценностей. Наше сегодняшнее обсуждение я именно в этом ключе и рассматриваю. Самим фактом публичной дискуссии мы хотим привлечь к работам близкого нам по ценностям автора, идеи которого почти не обсуждаются, общественное внимание.

Да, они здесь оспаривались, но оспаривать интерпретацию событий пятисотлетней давности – не значит оспаривать ценности. Наше историческое сознание пребывает сегодня в таком состоянии, что без столкновения разных мнений и подходов нам не обойтись. При этом они могут еще больше расходиться, но могут и сближаться, что в какой-то степени, как мне показалось, произошло сегодня в споре Регельсона и Данилевского о нестяжателях.

Но в любом случае они будут проясняться, освобождаясь от чрезмерной порой идеологизации и инструментализации.

Мы опубликуем стенограмму этой дискуссии на нашем сайте. Разумеется, если Александр Львович сочтет нужным ответить на прозвучавшие здесь возражения и вопросы, то мы будем рады предоставить ему слово. А нашу сегодняшнюю встречу разрешите

завершить. Благодарю всех участников обсуждения за содержательные выступления. Их расшифровки будут каждому из вас представлены для авторизации и для внесения уточнений и дополнений. Думаю, не только вы, но и Александр Львович Янов заинтересован в том, чтобы реакция на его идеи была представлена максимально полно и внятно. Хочу также надеяться, что ему эта реакция покажется заслуживающей внимания. Еще раз всех благодарю.

Глава 9

О ДРУЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКЕ: «АРТИЛЛЕРИЯ БЬЕТ ПО СВОИМ?»

Клямкин:

Судя по реакции Янова на эту дискуссию (его размышления о ней тоже представлены в книге), она может получить продолжение. И это было бы хорошо, так как без таких дискуссий историческое сознание российских европейцев рискует еще долго оставаться в том расхристанном подростковом состоянии, в котором оно пребывает сегодня.

Не исключаю, правда, что полемическая манера Александра Янова не станет очень уж мощным стимулом для дальнейшего обсуждения. В основном он не столько спорит с аргументами, прозвучавшими в дискуссии, сколько сетует на то, что дискутанты не прочитали его трилогию, а потому некоторые важные для автора места оставили без внимания. И это можно было бы понять и принять, если бы Александр Львович проявил чуть больше интереса к тому, что в дискуссии было.

Между тем ему гораздо важнее в очередной раз поспорить с Ричардом Пайпсом, который с ним спорить не собирался и не собирается, по поводу роли Михаила Салтыкова в российской истории, чем разъяснить, что же все-таки означает европейскость Салтыкова,

сочетающаяся у того с приверженностью крепостному праву. В данном случае, как и во многих других, Янов предпочитает отсылать участников дискуссии за ответами на их вопросы к своему трехтомнику, забыв указать, в каком месте ответы эти можно найти. А ведь если вопросы возникают, то это может свидетельствовать и о том, что отыскать на них ответы непросто даже очень доброжелательному и добросовестному читателю. Где искать, скажем, обоснование мысли об утверждении на Руси европейского местного самоуправления и, соответственно, опровержение мысли Ключевского о том, что оно было инструментом центральной власти?

В результате же сомнения относительно правомерности считать столетие, начавшееся с правления Ивана III, европейским, так и не были развеяны. В том числе, повторяю, и потому, что на большинство из них Александр Львович просто не отреагировал, сославшись еще и на ограничивающий его формат его заметок, им же и установленный. Но такого рода сомнения у меня лично не исчезли и по поводу тех немногих вопросов, на которые Янов счел нужным отреагировать.

Он, например, доказывает, что право частной собственности было в Московии гарантировано задолго до Екатерины II, не будучи формально узаконенным. И ссылается на пример Франции, где такого узаконивания не было тоже, причем аж до XIX века. Но это, по-моему, еще не делало Московию Францией. Потому что открытым остается вопрос о том, почему же во Франции ни более крутому, чем Иван III, Людовику XI, ни его преемникам устои собственности поколебать не удалось, а у Ивана Грозного это получилось. Может быть, как раз потому, что частная собственность в

Московии существовала, а идея этой собственности, ее неприкосновенности и священности укорененной не была, о чем и говорил в ходе дискуссии Игорь Яковенко? Кстати, и роль в конечном утверждении этой идеи, сыгранная европейскими городами, об отличиях которых от городов Московии напоминали многие участники дискуссии, в историческую схему Янова, судя по всему, не вписывается: все доводы на сей счет не произвели на него никакого впечатления.

Ну а утверждение, что отсчитывать европейскую тенденцию с XVIII века неразумно по политическим соображениям (не поймут, мол, люди, если европейскость представлять им не как свою, а как заимствованную), выглядит странным не только с аналитической, но и с политической точки зрения. Потому что политические оппоненты всегда смогут привести те аргументы против концепции «европейского столетия», которые прозвучали в ходе обсуждения, но отклика у автора концепции не нашли. Он, правда, пообещал ответить на них в «рабочем порядке», но что такой «порядок» означает в публичном споре, мне, признаюсь, не очень понятно.

Кстати, коли уж Екатерина II, как полагает Янов, приступила к юридическому оформлению европейской традиции даже раньше, чем это произошло во Франции и других странах континентальной Европы, то она, выходит, была в данном отношении пионером, в своей европейскости Европу опередившей, что и вообще вроде бы не оставляет места для политических опасений Александра Львовича. Разве не так?

Показательно, что Янов на место Екатерины в позицию своих оппонентов подставляет Петра I, навязавшего России чужие для нее правовые принципы. Но Петр-то здесь совсем уже ни при чем. Потому что он

использовал закон для разверстки обязанностей, а не для гарантии прав. Похоже, такая подмена свидетельствует о том, что юридически правовая тенденция в России выглядит в глазах Александра Львовича менее важным признаком европейскости, чем «латентные ограничения власти» в «европейском столетии». И этот доюридический «либерализм» нам предлагается наследовать в XXI веке? Ведь именно нормы правового государства до сих пор не приживаются в России, что и вызывает у многих настороженное отношение к идее ее европейскости.

МОЙ КОММЕНТАРИЙ

Важнейший недостаток дискуссии усмотрел, как мы видели, Игорь Моисеевич Клямкин в моей «полемической манере». В том, что «Янов предпочитает отсылать участников дискуссии за ответами на их вопросы к своему трехтомнику, забыв указать, в каком месте ответы эти можно найти».

Грешен, забывал. Могу напомнить только, исправляя свой недосмотр тогда, что глава «Язык, на котором мы спорим» (отрывок из которой здесь опубликован), самим своим названием приглашала читателей заглянуть в нее за ответами на свои вопросы. Многие ли в нее заглянули? Между тем, без сомнения нашли бы они в ней ответы на основные свои вопросы, в том числе и на главный из них в этой дискуссии, пожалуй: выдерживает ли критику полемическая конструкция, предложенная самим Игорем Моисеевичем?

Едва произнес он первую ее ключевую фразу: «Я веду отсчет либеральной традиции [в России] не с Ивана III, а с Петра III и с Екатерины II», не по-

интересовавшись при этом, что ей, этой либеральной традиции, предшествовало, как тотчас вступил в непримиримое противоречие с тем выводом о природе деспотизма, к которому пришли на протяжении столетий лучшие умы человечества – от Аристотеля до Валлерстайна. Согласно их выводу (см. главу 5), деспотизм как безжизненное политическое тело без души, т.е. без прошлого и без будущего, вне истории, неспособен произвести ровно ничего пригодного для жизни современного человека, не то что либеральную традицию.

А теперь послушаем соавтора Игоря Моисеевича И.Г. Яковенко. Вот что говорил он в дискуссии: «Что такое русское государство и русская власть? Как я понимаю, это идеологически санкционированная деспотия». И Игорь Моисеевич не только не опроверг соавтора, но и сам дал понять, что порядки в доекатерининской России «походили... больше на султанистскую Османскую империю», т.е. на ту же деспотию. И, тем не менее, вопреки всем канонам деспотологии, произвела эта деспотия, по его мнению, либеральную традицию России? А брошенный мне вызов, которым завершается эта ключевая фраза: «И если Александру Львовичу эта аргументация не кажется убедительной, то очень интересно было бы услышать его возражения», лишь захлопывает ловушку.

Сегодняшний читатель, имеющий возможность заглянуть в главу 5, – в том и состоит смысла этой публикации, – сам может судить, следует ли мне возражать на аргументацию Игоря Моисеевича, или достаточно убедительно ответили на нее Гегель с Монтескье и Крижанич с Виттфогелем? И не разумнее ли было просто отослать диспутантов к ИХ воз-

ражениям? Ибо ясно же, как день, было, что либо не читали их возражений дискуссионты, либо, читая их, не поняли, что они в принципе **ИСКЛЮЧАЮТ** аргументацию Игоря Моисеевича. Косвенно подтвердил это и сам Игорь Моисеевич в том же заключительном слове дискуссии. Вот что он сказал: « У Александра Львовича есть замечательный анализ таких понятий, как «деспотизм» (восточный), «абсолютизм» (европейский) и «самодержавие» (русское). Он убедительно показал, что это не одно и то же».

Так именно ведь в том смысле они «не одно и то же», что одно из них непригодно для объяснения либеральной традиции, а другое пригодно. Ничего другого не доказал мой анализ, кроме того, что **НЕ МОГЛА** либеральная традиция родиться в деспотической России, на чем настаивает Игорь Моисеевич.

Отсюда ведь и моя «полемиическая манера». От отчаяния она происходила. От того, что, несмотря на очевидную нелепость этого утверждения, деспотия как характеристика российской государственности не сходилась с языка как не читавших трилогию, так и тех, кто, казалось бы, читал. Предпочтительнее уж, право, позиция И.Г. Яковенко, прямо, по-унтерпришибеевски настаивающего, что **НИКАКОЙ** серьезной либеральной традиции в России нет и не было. Доминировать, во всяком случае, европейская традиция, по мнению Яковенко, не могла **ни при каких обстоятельствах**.

Между тем введение в дискуссию категории «самодержавной государственности», о которой дискуссионты забыли (или не знали) меняет дело. Кардинально. Ибо она, пронизанная как европейскими, так и евразийскими тенденциями, может, подобно Протею, как видим мы в главе 5, быть **ВСЯКОЙ**. В после-

петровской «оттепельной» России (1725–1730) доминировала тенденция европейская (М.Н. Покровский даже назвал это «буржуазным поветрием»), а при Анне и Елизавете – «ордынская». При Екатерине опять доминировала тенденция европейская, при Павле – снова «ордынская». И так продолжалось всю дорогу: при Александре I – европейская, при Николае I – «ордынская», при Александре II – опять европейская, при Александре III – «ордынская». И так вплоть до противопоставления России брежневской и ельцинской. А потом – путинской.

И важен здесь не момент, когда латентные ограничения власти становились юридическими, как думает Игорь Моисеевич, а то, что европейская традиция ВСЕГДА присутствовала в истории русской государственности. И что даже тотальный террор, подобный опричному или сталинскому, не смог ее истребить. Вот почему действительная сложность для историка России в том, чтобы объяснить *происхождение этой странной гибридной структуры*, независимо от того, возрождалась ли в ней, как феникс из пепла (извините, не смог найти менее тривиального сравнения), европейская традиция, опираясь на латентные или на юридические ограничения власти.

Ох, уж эти латентные ограничения! Вволю посмеялся над ними Игорь Моисеевич, решив почему-то, что «юридическая правовая тенденция выглядит в глазах Александра Львовича менее важным признаком европейскости, чем «латентные ограничения» в «европейском столетии» (все в кавычках, конечно). И даже позволил себе не совсем удачную шутку: «И этот доюридический “либерализм” нам предлагается наследовать в XXI веке». Пусть эта

«шутка» останется на его совести. Но предшественники у Игоря Моисеевича и впрямь в русской историографии были.

Я имею в виду т.н. юридическую (она же государственная) школу. В 1840-е входили в нее такие почтенные (хотя сейчас многими забытые) историки, как К.Д. Кавелин, П.З. Анненков, С.Ф. Корш, впоследствии В.И. Сергеевич, П.Н. Милюков, Г.М. Плеханов. В частности, «правые западники», как именует их в своей «Русской историографии» Н.Л. Рубинштейн, в полемике со славянофилами настаивали на приоритете права над «народностью», объявили эфемерными любые проявления «народности», не зафиксированные юридически, в правовых документах.

Но ведь достаточно было заглянуть в главу 6 «Парадокс абсолютизма», чтобы не осталось у читателя ни малейших сомнений, что не о славянофильской «народности» в ней речь, но о фундаментальной категории, на которой были основаны ВСЕ европейские абсолютные монархии Европы, включая Московское государство XV – первой половины XVI веков, которое, не знаю уж сознательно или бессознательно, Игорь Моисеевич и его соавтор путают со снулой автаркической послеопричной Московией века XVII.

Именно латентные ограничения власти, как увидит читатель, отличали их, как мы видели, от столь же абсолютных азиатских деспотий. Да, эта категория принадлежит мне, но основана она на прозрениях многих поколений европейских мыслителей. И уж менее всего заслуживает она того, чтобы над нею посмеяться.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГИБРИДА

Вернемся, однако, к объяснению нашей гибридной государственности, попеременно, как мы видели, демонстрирующей миру то «ордынские» свои традиции, то европейские. Откуда она взялась такая? Тут мы выходим за пределы спора с Игорем Моисеевичем. Допустим, он прав, и юридически европейская традиция России действительно впервые была оформлена при Екатерине. Но откуда-то должны были взяться те 13 (!) проектов конституции, что соревновались за умы и сердца послепетровского шляхетства (так тогда называлось русское дворянство) в 1730 году, т.е. за три с лишним десятилетия до Екатерины? И все ведь до единого были эти проекты европейские! Я подробно их описал в книжке «Тень грозного царя» (М., 1996), и здесь им не место. Но они откуда-то взялись. Откуда полноформатная конституция европейской монархии с юридическими (!), заметьте, гарантиями от произвола власти – в 1610 году, почти за столетие до Петра (о «приверженности» ее автора боярина Салтыкова крепостному праву, которую, конечно же, не простил ему Игорь Моисеевич, мы еще поговорим подробно). Откуда, одним словом, гибрид?

Воля ваша, но я просто не вижу другого способа объяснить происхождение этого «полосатого зверя», кроме как допустить, что в самом зачатке русской государственности, до самодержавной революции Грозного царя, собственно, и превратившей страну в гибридную «испорченную» Европу, существовало некое политическое образование, максимально близкое европейской монархии. Я назвал это «Европейским столетием России». Это его неутраченные им-

пульсы мы с читателем сегодня чувствуем и переживаем. Чьи же еще? Предложите другое объяснение. Так не предлагают же.

Разумеется, импульсы самодержавной государственности не менее мощны, а порою, когда страна максимально приближается к азиатской деспотии, в фазах контрреформы, эти импульсы доминируют, Россия становится духовной пустыней и международным изгоем. И говорю я не только о временах тотального террора, как опричнина или сталинизм, когда находилась она, по сути, в состоянии клинической смерти, и лишь гибель тирана спасала страну от небытия. Знала она и «мягкие» контрреформы, когда предпочитала власть опираться на новый мощный ресурс легитимации – массовый «патриотизм». Достаточно вспомнить николаевскую Россию, когда русским европейцам вдруг стало нечем дышать, и «патриотическая» нечисть полезла из всех щелей. Об этом, впрочем, довольно рассказано в первой книге «Русской идеи».

При всем том *гибрид оставался гибридом*. И впереди ожидали страну Великая реформа и гласность. За считанные месяцы Россия стала другой страной. Случалось такое и в других государствах, Но чтобы ПОВТОРЯЛОСЬ это из столетия в столетие, начиная с 1606 года (с исторической «Записи» царя Василия Шуйского, положившей конец террору), такого нигде больше не бывало.

Здесь и проходит граница между тем, что волнует меня, и тем, что Игоря Моисеевича. Ему важно, когда была юридически оформлена независимость русской аристократии (*рабовладельческой*, заметьте, аристократии), а мне – как ВОЗНИК столь необык-

новенный гибрид, как самодержавная государственность. Мы просто говорим о разных вещах. Точно уж не мог ни с того ни с сего возникнуть гибрид в середине исторического процесса УКРЕПЛЕНИЯ самовластья. А вот самодержавная революция, камня на камне не оставившая от европейской абсолютной монархии, завещанной Грозному дедом, начиная от разгрома Боярской думы и кончая отменой Юрьева дня, она-то как раз и могла создать гибрид. Других кандидатов на эту вакансию не предложили ни Игорь Моисеевич, ни кто-либо другой из участников дискуссии. А больше я ведь ничего и не хочу сказать.

ТЕПЕРЬ О КОНСТИТУЦИИ САЛТЫКОВА

О ней и о моем споре с Ричардом Пайпсом, который, вопреки ироническому тону Игоря Моисеевича, пытался-таки спорить со мной на Би-би-си. Очень серьезно пытался и, что интересно, опираясь на тот же аргумент, что и Игорь Моисеевич. И не удивительно: для Пайпса это вопрос принципиальный. Согласно его концепции, изложенной в классической книге «Россия при старом режиме», до Петра она была азиатской деспотией (он сравнивал ее, как мы помним, с государством Птолемея в Египте). Лишь после того, как Петр проломил окно в Европу, и через это «окно» ворвались в Россию западные идеи, начинает она становиться страной европейской. Соответственно, никаких конституций и вообще никаких реформ в ней до Петра быть не могло. А тут я – перед лицом всей русскоязычной аудитории Би-би-си – предъявляю ему конституцию, о которой и слова нет в его книге. Почти за столетие до Петра! Как тут было не спорить?

Собственно, конституцией документ, подготовленный новгородским боярином Михаилом Салтыковым 4 февраля 1610 года для *переговоров* с гетманом Жолковским о воцарении в Москве польского королевича Владислава, принято в русской историографии считать условно. Никогда этот документ конституцией страны так и не стал. Это был *проект*. Но проект «целого основного закона конституционной монархии, устанавливающего, – по словам В.О. Ключевского, – как устройство верховной власти, так и основные права ее подданных». Не больше, чем *идея*. Одобренная, правда, меньшинством Боярской думы, тогдашнего правительства страны. Но откуда, *из какого западного источника*, – ехидно спрашивал я Пайпса, – могла взяться в Москве такая странная идея, если НИГДЕ в Европе ничего подобного тогда не было? Даже в проекте не было?

Понятно, что оппонент мой был ошеломлен. И попытался перевести разговор в другую плоскость. Вот, мол, в документе Салтыкова сохранился декрет Грозного от 1581 года о запрете крестьянских переходов, т.е. Юрьева дня. Крепостником он был, ваш «либерал» Салтыков. Интересно, не правда ли, что именно этот аргумент о «приверженности Салтыкова крепостному праву» употребляет против меня и Игорь Моисеевич (во всяком случае, это единственный пункт документа, на который он ссылается). Слово пункт этот обесценивает проект конституционной монархии, впервые заговоривший о правах, ограждающих свободу личности от произвола (и совсем уже странно, почему в таком случае резкое уже сточения крепостничества Екатериной не обесценило в глазах Игоря Моисеевича ее Жалованную грамоту рабовладельческому дворянству?).

Так или иначе, углубившись в ходе спора в ситуацию Смуты, в которой выдвинул свой проект Салтыков, Пайпс как человек прагматичный вынужден был уступить, что, сохраняя в тексте документа этот злополучный пункт, руководился его автор не столько «приверженностью крепостному праву», сколько *резвым анализом своих шансов*.

А ситуация была такая. Единственной вооруженной силой правительства оставалось после низложения царя Василия дворянство под водительством братьев Ляпуновых. Оно только что добилось превращения своих служебных поместий в наследственные вотчины, и запрет Юрьева дня был альфой и омегой всей его идеологии. Любое покушение на этот запрет было равносильно смертному приговору. Перед Салтыковым был выбор – *либо конституция, либо Юрьев день*. Он выбрал конституцию. В надежде, надо полагать, что со временем конституция все поставит на свои места.

Возможно, он был наивен. Но объяснить происхождение его *беспрецедентно* дерзкого по тем временам проекта довольно просто лишь в свете, однако, гипотезы о Европейском столетии России. Оно свидетельствовало о способности тогдашней, *еще не рабовладельческой*, русской аристократии учиться на своем – страшном – опыте. В 1550 году полагало оно, что 98 статья в Судебнике – а она и сама по себе была беспрецедентным экспериментом – дает достаточно надежную гарантию от произвола власти. Выяснилось, однако, что обезумевший тиран, способный поставить страну вверх дном, мог растоптать эту статью вместе с Судебником. Значит, рассудили уцелевшие после терроров аристократические умы, *одной статьи в одном Судебнике недостаточно*.

Отсюда Конституция, да еще включенная в текст *международного договора*. Большой гарантии от произвола придумать они не могли. Увы, по многим причинам, обсуждать которые здесь не место, сбыться ей в 1610-е было не суждено. Слишком далеко забежал со своим проектом новгородский боярин. Три столетия должны были пройти прежде, чем проект его в октябре 1905 года осуществился. Но он **БЫЛ**. За столетие до Петра (разрушив тем самым концепцию Пайпса), и за полтора столетия до Екатерины (разрушая концепцию Игоря Моисеевича Клямкина). А для меня самое важное в том, что *объяснить* возникновение столь немыслимого в XVII проекта именно в послеопричной Москве *вне контекста Европейского столетия России* – невозможно.

БЫЛА ЛИ В РОССИИ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ?

Как ни странно, этот абсурдный вроде бы вопрос оказался спорным в дискуссии. Преобладали две точки зрения. Первую, радикально-нигилистическую, высказал соавтор Игоря Моисеевича И.Г. Яковенко: «Я настаиваю на том, что ни в Московии, ни в Российской империи, ни в Советском союзе частной собственности НИКОГДА НЕ БЫЛО». Вторую, половинчатую, защищал Игорь Моисеевич: «Он [то есть я] доказывает, что права собственности были в Московии гарантированы задолго до Екатерины, гарантированы, не будучи формально узаконенными. И ссылается на пример Франции, где такого узаконения тоже не было... Но это по-моему, еще не делает Францию Московией [Ирония? На этом месте следовало слушателям надо мной посмеяться?]. Пото-

му что остается открытым вопрос о том, почему же ни более крутому, чем Иван III, Людовику XI, ни его преемникам устои собственности поколебать не удалось, а у Ивана Грозного это получилось?

О том, что «получилось» у Грозного, и основы ЧЬЕЙ собственности ему «удалось поколебать», мы сейчас поговорим. Вопросы собственности были очень тщательно проработаны в дореволюционной и советской историографии. И если попытаться охарактеризовать то, что говорилось о них в дискуссии одним словом, ничего другого, кроме слова «абракадабра», в голову просто не приходит. Но прежде позволю себе две маленькие реплики, так сказать, в сторону.

Во-первых, я необыкновенно рад, что у читателя есть под рукой мои тексты и он без труда может сверить то, что я писал, с тем, как это изображено в дискуссии. Словно душу из текстов вынули.

Во-вторых, для тех, кто прочитал трилогию, решительно невозможно перепутать *живое, процветающее, кипящее* страстной идейной борьбой и охваченное зудом реформы Московское государство XV – первой половины XVI века с полумертвой, пребывающей, даже по словам славянофила Ивана Киреевского, в «оцепенении духовной деятельности» Московией века XVII. Я готов понять эту путаницу в устах соавтора Игоря Моисеевича И.Г. Яковенко, имеющего лишь смутное представление о русской истории, но зачем постоянно делает это сам Игорь Моисеевич?

А теперь о том, что «получилось» у Ивана Грозного. В Европейском столетии в Москве было *три вида частной, т.е. наследственной, неотчуждаемой собственности* (по латыни она называлась аллодиум,

в Москве ее называли вотчинной): *церковная, боярская и крестьянская* – и одна служебная (*поместье*). Что «получилось» в результате самодержавной революции? *Церковные* вотчины отделались испугом (за исключением новгородских и псковских, которые были разграблены опричниками), и просуществовали еще три столетия, *боярские* пострадали (порою серьезно), но уцелели, *добиты были только крестьянские*. Но самым неожиданным – и чреватым для будущего – оказался другой результат самодержавного переворота: **поместья превратились в вотчины.**

Хотел было процитировать в доказательство крупнейшего знатока этой проблематики Анатолия Михайловича Сахарова. Но цитата длинная, полная ненужных подробностей и, честно говоря, скучная. Обойдемся, думаю, заключением: «Нужда казны в деньгах и попытка добиться твердой поддержки дворянства были причинами этой трансформации поместий в вотчины, которая постоянно возрастала в XVI и в начале XVII века».

Добавьте к этому, что уничтожение крестьянской собственности и возведение помещицей в ранг неотчуждаемой, вотчинной, привело к роковому заблуждению новой, рабовладельческой аристократии, вообразившей себя *единственным собственником ВСЕЙ* земли в России, а крестьян чем-то вроде рабочего скота, необходимого для обработки ее «священной собственности». В более условных терминах привело оно к *диктатуре новых вотчинников*.

А это, в свою в свою очередь, не могло не привести к гигантским *крестьянским войнам*, начиная с восстания Болотникова в начале XVII века и кончая пугачевщиной 1917, возглавленной большевиками. Другими словами, похоронило это заблуждение, и

именно оно, петровскую Россию. Вот и все, что «получилось» у Ивана Грозного. Никаких устоев частной собственности он, как видим, «не поколебал». Напротив, усилил их, превратив в помещичью диктатуру, попутно породив затянувшееся на полтысячелетия недоверие большинства, потомков того самого порабощенного крестьянства, к самому феномену частной собственности. Мудрено ли, если стала она для него – чужой? И не просто чужой, а ненавистной, так как крестьянин столетиями был не человеком, а вещью, вот этой самой частной собственностью.

КОРЕНЬ ДЕЛА

Не удивительно, что все эти сложнейшие метаморфозы собственности в России прошли мимо как И.Г. Яковенко, так и И.М. Клямкина. Ошибка в обоих случаях коренится в методологии. В первом случае предполагается, что Россия с самого начала азиатская деспотия. А в деспотиях по определению лишь один собственник – царь (назови его хоть султаном, хоть падишахом). Какие тут могут быть метаморфозы? Иначе говоря, существование самодержавной государственности кардинально отличной, как от азиатской деспотии, так и от европейской абсолютной монархии, отрицается.

Эту радикально-нигилистическую позицию И.Г. Яковенко разделяет со своим соавтором А.А. Пелипенко (да-да, я не ошибся, Игорь Григорьевич умудрился быть одновременно соавтором двух участников дискуссии, несмотря на то, что их позиции довольно существенно, как мы видели, расходятся).

Игорь Моисеевич Клямкин допускает, что до Петра III и Екатерины Россия была деспотией, но с

момента издания «Указа о вольности дворянства» она вдруг перестала ею быть и наоборот, двинулась в сторону «либерализации». Его не смущает, что никогда ничего подобного во всемирной истории не случилось. И правильно не смущает: в конце концов, все когда-нибудь случается в первый раз. Другое дело, что в условиях полного отсутствия в деспотии альтернативных моделей политической организации общества *даже в умах ее подданных* такого поворота просто НЕ МОГЛО быть. Тут закавыка.

Никакого объяснения столь невероятного феномена Игорь Моисеевич нам не предлагает. Вместо этого он сосредоточивается на всевозможных аргументах, опровергающих, по его мнению, мою позицию, что реформы Екатерины возникли не на пустом месте, что у нее были предшественники, что никакой деспотии в прошлом России не существовало. Другими словами, на *опровержении того единственного*, что может в методологическом смысле *объяснить его собственную* позицию. Иначе она просто повисла бы в воздухе.

Что же, в таком случае, у нас Вами получается, милый Игорь Моисеевич? Не то же ли, что когда-то описал в знаменитом стихотворении Александр Межиров «Артиллерия бьет по своим»?

Глава 10

О «ЕВРОПЕЙСКОМ СТОЛЕТИИ» ОТВЕТ АЛЕКСАНДРУ ЯНОВУ

Игорь КЛЯМКИН:

Александр Янов решил отреагировать на мои суждения семилетней давности о его концепции. Большого смысла в продолжении этой полемики не вижу, так как не вижу ее предмета. Но раз старый друг того желает, значит, ему это зачем-то нужно, и на его желание грех не отозваться. Мне, как и Янову, тоже хотелось бы, чтобы в истории страны, в пору становления московской государственности, было «европейское столетие», которое обнаружил Александр Львович, обозначив его начало великим княжением Ивана III, а завершение – допричным царствованием Ивана Грозного. Если так, то в своих истоках Россия – страна европейская. Но если не так, то это очередной обман себя и других.

Семь лет назад я говорил, что не могу принять версию Янова уже потому, что в то столетие, помимо Ивана III и раннего Грозного, был Василий III, было пятнадцатилетнее боярское правление, и просил объяснить, что между ними политически общего, и в чем европейскость этого общего. Александр Львович объяснять не стал, отослав к своему трехтомнику. Но его полемическая манера не понравилась мне тогда

и не нравится сейчас не потому вовсе, что отослал, не указав место поиска, а потому, что ни на одной из полутора тысяч страниц его трехтомного труда ответ обнаружить нельзя. И не только в этом, но и в других случаях.

Я, скажем, пытался привлечь внимание оппонента к тому, что одной из самых выразительных особенностей Западной Европы, отличающей ее от Московии Ивана III и его преемников, были торгово-ремесленные самоуправляющиеся города. Их аналогом в ней были Новгород и Псков, которые именно в «европейское столетие» не по своей воле самоуправляющимися быть перестали. Я склонен считать, что при отсутствии европейского города, которое сказывается по сей день, не могло быть никакой европейской России. Что думает на сей счет Александр Львович, судить не возьмусь, ибо в свои думы он не считает полезным посвящать оппонентов ни в полемике с ними, ни в трехтомнике, в котором советует искать ответы на все их вопросы и сомнения.

Единственный намек на его интерес к этой теме я обнаружил в утверждении, что в «европейском столетии» имело место быть и европейское самоуправление. Меня это смутило, так как ни о каких русских местных лантагах, кортесах, сеймах или чем-то подобном я до того не слышал. Да, столетие это было отмечено курсом на замену присылаемых из центра чиновников-«кормленцев» выборными должностными лицами, но есть ведь и мнение Ключевского, последователем которого Янов себя считает. А он, Ключевский, писал, что самоуправлением это не было, ибо выборные лица должны были восполнять дефицит чиновничества, выполняя и общегосудар-

ственные функции. То есть, были выборной местной разновидностью государственной бюрократии.

Александр Львович и на это не отреагировал, как не реагирует и сейчас. Правда, и к трилогии уже не отсылает, к чему отношусь с пониманием: убедился, наверное, что никаких разъяснений нет и в ней. Во всяком случае, за семь лет ее автору обнаружить их так и не удалось.

Но за это время у того же Ключевского моему оппоненту удалось найти доказательство того, что и новгородское самоуправление надо было уничтожить во имя... во имя европейскости! Полагаю, однако, что авторитет любимого историка использован Яновым, мягко говоря, не совсем корректно. «Уничтожение особенностей земских частей независимо от их формы, – цитирует Александр Львович своего учителя, – было жертвой, которой требовало благо земли, становящейся строго централизованным и единообразно устроенным государством». То есть, Иван III обошелся с новгородскими вольностями так, как обошелся, движимый идеей государственной централизации. Александр Львович тоже слагает свой гимн московскому «великому зодчему», творцу «великой державы». Но Ключевский не помог ему превратить зодчего централизованной державы в строителя державы европейской. И не мог помочь, потому что знал: ничего европейского Иван III в новгородскую жизнь не привнес, а то, что в ней европейского было, уничтожил.

Александр Львович израсходовал много слов, убеждая читателя, что ничего страшного не случилось, что Новгород и после этого жил припеваючи. Но меня лично убедил лишь в том, что Иван Грозный

впоследствии обошелся с городом значительно хуже, обрекши его на прозябание. И не разубедил в том, что как бы европеец Иван III поступил с Новгородом так, как поступали с завоеванными чужими городами турецкие султаны. Не могу представить себе, чтобы историк Янов не был осведомлен о том, что московский великий князь конфисковал не только церковные, но и боярские новгородские земли, сделал их государевой собственностью, переселив владельцев в другие места страны, а их бывшие владения передав завезенным дворянам, с которыми в Московии, как и в Османской империи, расплачивались за военную службу землей и сохраняли ее за ними только при условии службы. Не могу, повторяю, представить, чтобы Александр Львович об этом не знал. А потому не в состоянии и понять, как он мог написать, что Иван III, как истинный европеец, на собственность подданных никогда не покушался.

А он ведь покушался на нее не только в Новгороде. Собственности могли лишиться и лишались опальные бояре в любых местах. Ее можно было лишиться и при нарушении запретов на продажу вотчин либо ее продажу без дозволения государя. Правомерно ли считать полноправным собственником того, кто не вправе ею свободно распоряжаться? Мне кажется, что не правомерно. Александр Львович, судя по всему, думает иначе. Или, что не исключено, считает сам вопрос о собственности периферийным, ибо главный критерий европейскости Ивана III и его ближайших приемников ищет и находит в другом месте.

Главный критерий европейскости для него в том, что он называет «латентным ограничением власти», которому (критерию) всех московских доприч-

ных правителей считает соответствующими. Ибо они, мол, не были азиатскими деспотами, как их до сих пор бесосновательно называют. Ибо, в отличие от Ивана Грозного, заложенную ими европейскую традицию поправшего, правили не единолично, а вместе с Боярской думой, которая их власть и ограничивала, заставляя с собой считаться. Утверждение не бесосновательное, но я все же напоминал Янову и о том, что уже Иван III считался не всегда, что и он позволял себе порой опалы и бессудные казни думцев, если они его воле перечили. И что при его сыне Василии III давление на думцев усилилось: если отец их возражения готов был выслушивать (и даже любил выслушивать), то сын к этому расположен не был, а иностранцы, посещавшие Московию в годы его княжения, увидели в нем правителя, власть которого превышает власть любого монарха в мире.

Семь лет назад Александр Львович и эти мои соображения своим вниманием не удостоил, ограничившись ссылкой на современника Ивана III Людовика XI, который, мол, еще покруче был. Но имел при этом в виду только осуществлявшуюся французским монархом насильственную централизацию, оставив за скобками европейский институциональный и культурный контекст, в котором тот действовал, и ничего похожего на который в послеордынской Московии не было. Людовик не мог позволить себе распоряжаться собственностью подданных и судьбами самих собственников на османский манер, как московские правители распоряжались в Новгороде и Пскове. Он не мог позволить себе ликвидировать самоуправляющиеся торгово-ремесленные города – наоборот, стимулировал их развитие. Он не мог по-

зволить себе казнить депутатов национального словесного представительства (Генеральных штатов) или судей судебных парламентов, аналогов которым в «тоже европейской» Московии не было вообще.

Сейчас Александр Львович к примеру Людовика уже не апеллирует. Сейчас он доказывает мне, что московская власть целое столетие была европейской, потому что не была деспотией. Для этого ему пришлось усовершенствовать свою полемическую манеру, ибо о деспотии у нас до того речи не было, и моему оппоненту потребовалось сделать небывшее бывшим. Для этого он счел уместным ввести в нашу полемику культуролога Игоря Яковенко, назвавшего российскую власть всегдашней «идеологически санкционированной деспотией». Почему счел уместным? Потому, во-первых, что однажды мы выступали с Игорем Григорьевичем в соавторстве, а соавторы, как, наверное, предполагается, должны быть солидарны всегда и во всем. Потому, во-вторых, что я своего соавтора не опроверг – предполагается, очевидно, что для предъявления своей позиции надо опровергать все иные позиции. И потому, в-третьих, что я и сам написал, что порядки в Московии «походили... больше на султанистскую Османскую империю», т.е., добавляет Янов от себя, «на ту же деспотию».

Эта полемическая манера импонирует мне еще меньше, чем упомянутая выше. Потому что хоть и уподобляю Московию по отдельным параметрам Османской империи – прежде всего, по способу организации войска, когда военная служба оплачивается предоставлением права на условное владение землей, – но по многим другим вижу существенную раз-

ницу. И в урезанной Александром Львовичем цитате речь только о том, что в организации войска Московия больше напоминала Турцию, «чем переходившую к использованию наемной армии Европу».

Не нравится мне такая манера и потому, что ради обретения предмета критики контрабандой вводит в язык оппонента понятия, которым тот применительно к обсуждаемой теме не пользуется. Мне не кажется корректным термин «деспотия» в отношении Османской империи – в первые два века своей истории бурно развивавшейся страны, чьи порядки и успехи вызывали восхищение у деятелей европейского Возрождения, и чья судебная система так импонировала почитаемому Яновым Юрию Крижаничу, в целом к Турции относившему резко негативно. Нет, не была она «безжизненным политическим телом», как характеризует деспотию мой уважаемый оппонент. Но я воздерживаюсь от использования этого термина и применительно ко всей истории российской государственности, ибо, как и Александр Львович, вижу разницу между отдельными ее периодами, включая отличия Московии доопричной от опричной. А вот чего не вижу, так это оснований для того, чтобы именовать первую европейской. Ни эмпирических, ни понятийных.

Янов с удовлетворением цитирует мои слова – тоже семилетней давности – о его замечательном анализе таких понятий, как «деспотия» (восточная), «абсолютизм» (европейский) и «самодержавие» (русское). Но и тут его манера, во всех своих проявлениях обнаруживающая небрежное отношение к собеседнику, дает о себе знать. У меня-то это констатация сопровождалась вопросами о том, ка-

кое из трех слов передает политическое содержание «европейского столетия». Трилогия Янова на сей счет отмалчивалась. Там было сказано: ни деспотия, ни самодержавие. И я просил уточнить: что же тогда? Европейский абсолютизм? Европейская сословно-представительная монархия? Может, быть, что-то другое?

Семь лет назад ответа не было. Сегодня он появился, но представлен так, будто был всегда, а критикам по скудоумию оценить его не дано. Ответ такой: в доопричное столетие имел место европейский абсолютизм, а потом Иван Грозный его испортил, заменив самодержавием. Природа же этого самодержавия такова, что оно обладает свойством проявляться в двух разных ипостасях: европейском и евразийском, которые и чередуются после Грозного в российской истории вплоть до наших дней. Первому соответствует европейский же абсолютизм, а что второму – деспотия либо что-то другое, Александр Львович пока не поведал. А может, где-то и поведал, не суть важно.

Важно то, в чем все же видится ему европейскость изначального московского абсолютизма. Того, который был в «европейском столетии». Латентные, т.е. формально не узаконенные ограничения власти, ограничивали ее, как мы видели, не очень-то надежно. И от посягательств на права собственности правителей не удерживали, и от ликвидации самоуправляющихся городов, бывших в Европе главной опорой абсолютистских режимов. А когда прочитал, что в Московии был такой же абсолютизм, как тогда же в Литве, совсем загрузил. Не может же историк не знать, как была устроена государственная власть

в этой стране, а потому и напоминать, полагаю, нет надобности. Не может не знать, что в Московии уже при Иване III все, включая высшую аристократию, должны были именовать себя холопами. В Литве тоже так было? Не может историк не знать, какой аномалией выглядел в Литве сбежавший туда князь Курбский с его московскими представлениями о европейском порядке, вызывавшими у литовцев оторопь. А ведь Александр Львович причисляет его не просто к европейцам, но и к либералам, каковых, кстати, тогда и в Европе еще не было.

Не исключаю, что некоторые сомнения насчет исходной европейскости Московии у Янова все же остаются – иначе, может, и не стал бы искать культурно-исторические подпорки для своей концепции в Киево-Новгородской Руси. Но это уж, по-моему, совсем зря. Истоки Московии – не в Киеве и Новгороде, а во Владимире, где утвердились свой, особый порядок, о чем можно справиться у многих историков, в том числе, и у Ключевского. По его мнению, именно во Владимире появился «первый великоросс» в лице Андрея Боголюбского, и именно к нему, а не к Ивану Грозному восходит самодержавная традиция. А с Киевом Боголюбский, а до него Юрий Долгорукий, его отец, много воевали, однажды Боголюбскому удалось даже Киев захватить и устроить там массовую резню, да и с Новгородом у владимирских князей были постоянные конфликты. Впоследствии Московия историю Киевской Руси приватизирует, сделает начальной частью истории империи, но сегодня, когда различия между Россией и Украиной, долго камуфлировавшиеся риторикой об «общей истории» и «едином народе», стали очевидными, ставить Московию

в преемственную связь с Киево-Новгородской Русью – значит воспроизводить имперскую историографию, обслуживавшую имперскую политику. Да и не было ее, Киево-Новгородской Руси. Была Русь, в которую ни Новгород, ни Владимирско-Суздальское княжество не входили.

Ответ мой затягивается и потому от рассмотрения других сюжетов, затронутых в тексте Янова, воздержусь. Тем более что главной в его концепции считаю (и он сам, насколько понимаю, так считает) именно идею «европейского столетия». Если же Александру Львовичу интересно мое мнение относительно написанного им про европейскость боярина Михаила Саалтыкова и «верховников» 1730 года, то готов высказать его отдельно. Что касается истоков не просто европейской, но европейско-либеральной тенденции, которую ищет в государственной истории России мой оппонент, то могу лишь повторить говоренное раньше. А именно, что истоки эти можно обнаружить не раньше времен Петра III и Екатерины II. Только тогда, наряду с обязанностями, были официально провозглашены и узаконены вольности и соотнесенные с ними права дворян и горожан. С них, вольностей и прав, только и начинается либерализм, в России так и не прижившийся. Вольностям и правам она предпочитает то, что ассоциируется у нее с Иваном Грозным и Сталиным, которым возводит памятники.

Сомневаюсь, что альтернативу этому можно найти в «европейском столетии». Александр Львович чуть ли не в каждом абзаце своего текста преследует меня вопрошанием: а где же еще искать ее, как не в прошлом, в проявившихся в нем либеральных

тенденциях? Вот, мол, та же Екатерина II – она же со своими жалованными грамотами не с неба свалилась, ее европейская ориентация была бы немыслимой без предшественников, которым, в свою очередь, тоже неоткуда было взяться, не будь страна изначально европейской. Отвечу вопросом же: а откуда взялся в европейской стране антиевропейский Иван Грозный? Может быть, и до него не было ее, европейскости этой, а та, что столетия спустя после него стала появляться, привносилась извне, но в неевропейской почве укорениться не могла?

Глава 11

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

Моим читателям посвящается

Мой диалог с Игорем Моисеевичем Клямкиным, похоже, не состоялся. Как явствует из комментариев читателей, их, естественно, интересует, почему. Попробую это прояснить, в определенном смысле также и для себя самого. Версия И.М. сложносочиненная. Во-первых, со всем, что я думаю, кроме *происхождения* нашей гибридной государственности, т.е. того, что я называю «европейским столетием России» принципиальных разногласий у Игоря, как он уверяет, нет, и спорить нам, следовательно, не о чем. Во-вторых, по его утверждению, на вопросы и аргументы об этом европейском столетии «содержательной реакции не последовало», и потому спорить нам опять-таки не о чем. Добавлю от себя, что, насколько я понимаю, все его вопросы и аргументы сводятся, в конечном счете, к тому, что никакого европейского столетия не было и быть не могло. Следовательно, все, что есть в России европейского «привносилось извне ... столетия спустя после него», в своих истоках она – страна неевропейская, и думать иначе «это очередной обман себя и других».

Было, правда, время – и не так уж давно, каких-то семь лет назад на обсуждении моей трилогии в «Ли-

беральной миссии», – когда И.М. случалось говорить нечто прямо противоположное. А именно, что «если [европейской традиции] в российской истории не было, а было лишь «тысячелетнее рабство» и «ордынство», то у нас с вами нет не только прошлого, но и будущего. С нуля в истории ничего не начинается». Так или иначе, моя версия другая.

Во-первых, я настаиваю, что ответы на все вопросы и аргументы И.М. были даны в моей трилогии. Но и еще за 28 лет до того, эти ответы сформулированы в американском ее издании «The Origins of Autocracy» («Происхождение самодержавия» по-русски), и многие, вдобавок, уточнены и расширены здесь, как в приглашении к диалогу «Артиллерия бьет по своим?», так и в его драматическом, как лично для меня, так и для обсуждаемой темы, продолжении-завершении в «Как разоблачал меня Игорь Клямкин». Еще раз настаиваю: нужно было очень невнимательно все это читать, чтобы их, эти ответы, не заметить.

Во-вторых, в декларированном отказе Игоря Моисеевича от диалога содержится некое неразрешимое противоречие. Как можно соглашаться с моей характеристикой самодержавной государственности как гибрида (на протяжении столетий являющего миру попеременно то свой «ордынский», евразийский, то европейский лик, одинаково способного и к головокружительным «прорывам в Европу», как при Петре или при Горбачеве, и к откатам в чудовищную архаику, как при Николае I или при Путине), и в то же время отрицать, что где-то в самом его основании заложен был некий неустрашимый европейский элемент, не дающий ему спокойно спать? Откуда иначе взялись бы все эти «порывы в Европу» (как при Александре I, при Александре II или в феврале 1917)? Другими сло-

вами, тот же мой сакраментальный, он же теоретический, он же политический вопрос: **откуда гибрид?**

Слишком много всего этого повторялось в России из века в век, начиная с 19 мая 1606 года, когда царь Василий неожиданно, по словам В.О. Ключевского «превратился из государя холопов в правомерного царя подданных, правящего по законам», чтобы все это просто игнорировать. Но ведь именно это и делает И.М., утверждая, что нет ничего европейского ни в истоках России, ни в периоде правления Ивана III. Воля ваша, но есть в этом, противоречии как минимум что-то странное, если не сказать невозможное.

Независимо, однако, от того, какая из двух версий декларативно завершившегося диалога более правдоподобна, вопросы поставлены, читатели в недоумении. Игорь на мои вопросы не отвечает, мотивируя это тем, что я не отвечаю на его вопросы, при этом ссылаясь на мою трилогию, где, **он, по его уверениям, проверил**, никаких ответов нет, словом, беда. Нехорошо это, неправильно. Потому считаю я себя обязанным продолжить, вступив в диалог непосредственно с читателем и попытаться снова ответить на все вопросы Игоря Моисеевича, так же, как и на любые другие. Ответить так, чтобы не осталось у читателя никаких белых пятен. Игорь, разумеется, может, если сочтет нужным, сделать то же самое. И пусть судьей будет аудитория.

ФОРМУЛА ГЕРЦЕНА

Начну с последнего, видимо, по мнению И.М., неразрешимого для меня вопроса: «Откуда в европейской стране взялся антиевропейский Иван Грозный?». Под «европейской страной» мной имеется в

виду, конечно, доопричное Московское государство 1480–1560 годов, которое И.М. упорно, и с не совсем понятным удовольствием, продолжает смешивать с послеопричной Московией. По мне это все равно, что смешивать Россию Серебряного века с СССР. Тем не менее, это важный вопрос, и я рад, что он задан.

Обращу сначала внимание читателя на арифметику. В трилогии больше 1800 страниц, обнимающих пять столетий русской государственности в сравнении с Европой, из них лишь 280 первого тома посвящены обсуждению европейского столетия. Игорь Моисеевич почему-то предпочел свести обсуждение трилогии, которое, собственно, и было объявленной темой дискуссии в «Либеральной миссии», к 1/6 части текста. Но чему же посвящены 5/6 трилогии, которые он обошел вниманием?

Отчасти, конечно, виноват я сам: не смог приехать в Москву и доверил защиту своей позиции Льву Львовичу Регельсону, который сфокусировал свой доклад на европейском столетии. Л.Л. защищал его доблестно. Но И.М. как ведущий все-таки должен был бы, на мой взгляд, напомнить, что называется трилогия не «Европейское столетие России», а **Россия и Европа. 1462-1921**. Дело, однако, не в этой путанице и не в арифметике. Дело в том, что 5/6 текста, по сути, посвящены чему-то куда более важному, чем наши с И.М. разногласия по поводу этого европейского столетия. А именно толкованию и спору с известным и грозным предостережением Герцена, которое я назвал его «формулой», и которое, признаться, изрядно меня испугало.

Вот эта формула: «Долгое рабство, конечно, не случайная вещь, оно соответствует какому-то элемен-

ту (курсив мой – А. Я.) национального характера. Этот элемент может быть поглощен, побежден *другими его элементами, но он может и победить*». Холодок по коже, не правда ли?

Герцен, без сомнения, великий русский мыслитель. Разве что Владимира Сергеевича Соловьева, человека «с печатью гения на челе», по словам умницы и задиры Константина Леонтьева, можно поставить в русской истории рядом с Герценом. И спорить с ним непросто. Тем более что в принципе я с ним согласен. Но истолковать его пугающую формулу можно, выяснив **при каких условиях** возможна в России победа элемента, обусловившего «долгое рабство».

Так или иначе, начал я с того, что попытался дать имена анонимным герценовским «элементам». Первый я назвал **холопским**. Вторым, основываясь на других чертах древнерусского бытия, а именно на: 1) свободном крестьянстве, 2) договорном «праве отъезда» вольных дружинников от князя, прочнейшем, дороже золотого, обеспечении их воинского человеческого достоинства, 3) боярской Думе, назвал я **европейским**. Перманентная российская борьба между «вольными дружинниками» и «холопами», управлявшими княжеским доменом, осталась у меня, таким образом, герценовской. Так формулируется основная моя гипотеза: из этой борьбы, длившейся столетиями, в конце концов, и не само по себе, а вследствие совершенно определенных катастрофических событий, образовалась фундаментальная **двойственность** русской политической культуры и государственной системы, та самая смертельная рознь между ее «элементами», о которой говорил Герцен.

В домонгольские времена, когда междукняжеские войны практически не прерывались, и *военная*

сила ценилась выше хозяйственной, роль *вольных дружинников*, конечно, преобладала над холопской. Резонно допустить, что она преобразовалась за столетия в мощную договорную традицию. И, возможно, именно в силу этой традиции и не возобладал холопский, «ордынский» элемент сразу же в первые десятилетия после освобождения от ига, когда вышла на первый план задача централизации страны.

Так или иначе, постмонгольское Московское государство было неустойчивым. Уже тираническое правление Василия III, сына родоначальника европейского столетия, «напоминавшего скорее Андрея Боголюбского, чем отца» (я цитирую, между прочим, гл.3 первого тома трилогии, с.203., это специально для И.М.), было дурным предзнаменованием. Борьба герценовских «элементов» не затихала и в европейское столетие. Да, перерывов, отступлений, глубоких «ордынских» шрамов в нем хватало. Но оно БЫЛО, оставив нам память о Юрьеве дне, о крестьянской, другими словами, свободе, о неограниченной свободе слова (известное свидетельство ее противника Иосифа Волоцкого), о статье 98 Судебника 1550 года, о Великой земской реформе 1552-1556гг., о крестьянской вотчинной собственности и вообще о том, «другом», европейском, элементе, который имел в виду Герцен, и которому обязаны мы с вами, включая Игоря Моисеевича, своим существованием.

Подчеркну: герценовская двойственность элементов русской политической культуры **всегда** была в наличии. И холопская традиция ждала своего часа, При первом же серьезном неблагоприятном для европейского столетия стечении обстоятельств (подробно, кстати, описанном в «Заметках по следам дис-

куссии», опубликованным на сайте «Либеральной миссии», И.М. не мог их не читать) она, холопская традиция, добилась реванша. Результатом было явление «в европейской стране антиевропейского Ивана Грозного», царя холопов (нет слов, проще было ответить на вопрос И.М. вопросом «откуда в европейской Германии взялся антиевропейский Гитлер?»), но я все-таки хотел держаться в рамках нашего спора.

Как бы то ни было, таков мой ответ на этот довольно, извините, нелепый вопрос И.М. Клямкина. И никак не может этот ответ быть для него новостью, ибо в тех же «Заметках» читал он, что «двойственность политической культуры России – ключевое понятие трилогии. Я повторяю это не только в каждом томе, но чуть ли не в каждой главе. К сожалению, эта ключевая мысль в дискуссии не прозвучала... Да, Россия – Европа, но [с самого начала] Европа с изъяном, «испорченная Европа». И «испорчена» она своей двойственностью...». Если знал все это И.М., зачем спрашивал, а если не знал, то какие претензии ко мне?

ТЕПЕРЬ ПО ПОРЯДКУ

Продолжаю отвечать на вопросы, которых И.М., на мой взгляд, не задал бы, если бы чуть внимательнее читал мои тексты и не ставил целью меня и мою обоснованную гипотезу европейского столетия «разоблачить».

1.»Помимо Ивана III и раннего Грозного, – пишет И.М., – был Василий III, было пятнадцатилетнее боярское правление, и я просил объяснить, что между ними политически общего, [но] ни на одной странице из полутора тысяч его трехтомного труда ответ обнаружить нельзя».

Можно, дорогой И.М., можно и нужно! И не одна страница, а, как минимум, шесть подряд, целая подглавка «Стагнация» (т.1, гл.3, сс. 203–209) обнаруживается. И о Василии там, и о боярской «замятне», которая, кстати, продолжалась не пятнадцать лет, как сообщил читателям И.М., а девять, с 1538 до 1547 (в первые годы после Василия твердой рукой правила его вдова, Елена Глинская, дочь, между прочим, беглеца из Литвы). О том, что между отцом и сыном не было ровно **ничего** политически общего, писал я не только в трилогии, но и совсем недавно в «Как разоблачал меня Игорь Клямкин». Ну, пусть трилогию И.М. читал не пристально, но уж этого пропустить никак не мог.

2. «Новгород и Псков, – пишет И.М., – именно в “европейское столетие” не по своей воле самоуправляющимися быть перестали. Я склонен считать, что при отсутствии европейского города... не могло быть никакой европейской России. Что думает на сей счет А.Л., судить не возьмусь, ибо в свои думы он не считает полезным посвящать оппонентов ни в полемике с ними, ни в **трехтомнике, в котором советует искать ответы на все их вопросы и сомнения**».

Что же на самом деле? Целых три подглавки (т.1, гл. 2. сс. 122-133) посвящены в трилогии «думам», в которые я якобы «не желаю посвящать оппонентов». Желаю. И посвящаю очень подробно. В частности, посвятил в то, что Иван III высоко ценил Новгород как «окно в Европу». Но как **очаг государственной измены** Новгород его не устраивал. И потому закончил он свой первый поход, *согласившись на автономию Новгорода и сохранив его вольности (даже вечевой колокол ему оставил)* при условии, что

новгородцы **сами** справятся с государственной изменой. Покажите мне европейского государя, который согласился бы терпеть измену в одном из центральных городов своей страны. А Иван III терпел **семь** (!) лет, удивляя даже английского своего биографа. Подробно об этом в гл. 3 этой книги.

Новгородцы с условием за семь лет не справились. Вольности, увы, тогда, в период централизации, оказались, для Ивана III тождественны измене. И тогда он их ликвидировал. Но *экономически* Новгород продолжал процветать и без вольностей, и без измены (о Пскове и речи нет, он с самого начала был на стороне государя). Короче, большие успешные торгово-ремесленные города в европейском столетии сохранялись после его походов. Да, самоуправляющимися они больше не были, но экономически процветающими остались.

В изложении И.М., впрочем, звучит это иначе: «европеец Иван III поступил с Новгородом так, как поступали с завоеванными чужими городами турецкие султаны» (?!). То есть как именно? Опустошил, разграбил, камня на камне не оставил? Ни единой ссылки, никакой, пусть даже самой отдаленной попытки доказательства столь чудовищного обвинения И.М. не приводит. А ведь у великого князя были биографы, английский и советский, и оба крайне *недружелюбно* к нему настроенные (тот же стереотип, что и у И.М., что поделаешь?) Я ссылался на них даже в той самой сокращенной версии новгородской эпопеи, опубликованной недавно в Снобе и в ФБ «Было это с нами или не было?». И будь хоть грань правды в том, что написал об Иване III И.М., можно не сомневаться, мы бы от враждебных свидетелей об этом

услышали. Но на самом-то деле услышали мы от них иное: удивлялись они, скрипя зубами, его великодушью.

Остается предположить, что либо перепутал Игорь Моисеевич всю эту историю с карательной экспедицией Ивана Грозного столетие спустя, и впрямь расправившейся с Новгородом «по-турецки», либо просто фантазировал. И я даже догадываюсь зачем: непременно ведь ему зачем-то нужно, чтобы читатель не догадался о страшной, непримиримой разнице между дедом Иваном III Великим, и внуком, Иваном IV Грозным. Между, другими словами, европейским столетием и гибридом самодержавной государственности. И ни перед чем Игорь не останавливается, чтобы по загадочным причинам (на самом деле, причиной является полубессознательный «правлящий стереотип», о котором я постоянно напоминаю читателям чуть ли не каждой своей странице) стереть в глазах читателя роковое различие между ними.

3. То же самое было и со свидетельством о неудержимом потоке беглецов из Литвы в Москву. «Со всем загрустил» тогда И.М. И с негодующей речью обратился, но почему-то не к беглецам, а ко мне: «не может же [он] не знать, что в Московии уже при Иване III все, включая высшую аристократию, должны были именовать себя холопами». Читай: что ж вы, дурни, бежите-то в холопы к московскому деспоту из Литвы с ее выборной монархией? С ума, что ли, вы все походили?

Легко представить себе реакцию гордых шляхтичей на такие речи. Для того ли прорывались они, рискуя жизнью, в Москву, чтобы из великих панов превратиться в одночасье в холопов? Право, тут какое-то

недоразумение. Разрешается оно, правда, просто: опять взял это И.М. исключительно в своей голове. Сложнее все было с перебежчиками. Это обстоятельство требует более подобного объяснения.

В XV веке Литва была самой большой империей в Европе. Главным образом за счет того, что, покуда бывшая Киевско-Новгородская Русь лежала под монгольским игом, отхватила Литва практически всю западную ее половину. То есть не только будущие Белоруссию и Украину, но и громадный кусок будущей Великороссии – от Смоленска до Калуги. В результате Литва стала конфессионально двойственной империей: 2/3 ее населения составляли православные (после того, как в 1385 году великий князь Ягайло, польстившись на польскую корону, принял католичество, треть ее стала католической). И бежали в Москву, конечно, именно православные паны и магнаты.

Вопрос, однако, который поставил я перед И.М. еще в трилогии, а затем в приглашении к диалогу «Артиллерия бьет по своим?», таков: *почему после 1560 года, т.е. после государственного переворота Ивана Грозного и торжества холопской традиции, те же вчерашние православные перебежчики столь же неудержимым потоком устремились вдруг **обратно** из православной Москвы в полукатолическую Литву?* Что такое произошло в Москве, что на 180 градусов изменило почти столетний вектор политической миграции? Очевидно ведь, что *произошло нечто*, чего гордые паны, привыкшие к литовским вольностям, терпеть не могли, и не стали. Перед нами НЕОПРОВЕРЖИМЫЙ факт крушения европейского столетия. Я сравнил его с крушением петровской России в октябре 1917. Россия вдруг стала другой страной! И что

же И.М.? Да ничего, обошел этот неудобный монументальный факт, словно его и не было.

4. Какой политической системой была Москва европейского столетия? «Трилогия Янова на этот счет отмалчивается, – пишет И.М. – Там было сказано: ни деспотия, ни самодержавие. И я просил уточнить, что же тогда?» О том, что тогдашняя Москва была *абсолютной монархией* сказано в трилогии десятки раз. Есть даже целая подглавка «Природа московского государства» (т. 1, гл. 8 с. 464–465). Да и не будь в ней об этом ни слова, любой, кто знаком с началами политической мысли XX века, **не мог не заключить**, что поскольку не была Москва *ни деспотией, ни самодержавием, была она европейской абсолютной монархией*. Просто **другого выбора** не было. Не странно ли, что И.М. не пришло это в голову?

5. И впрямь ведь странно. Сомнение в том, знаком ли всерьез И.М. с этими началами пришло, когда он вдруг стал оправдывать... Османскую Турцию. Ему, пишет он, «не кажется корректным термин “деспотия” в отношении Османской империи – в первые два века бурно развивающейся страны...». Похоже, не читал Игорь главу 5 трилогии (т. 1, с. 313–354) и не вполне понял главу 7 (с. 355–413), в которых начала современной деспотологии описаны подробно. Смысл государственности, именуемой в истории политической мысли как «деспотия», состоит именно в том, что она В ПРИНЦИПЕ не способна к политическому саморазвитию, каких бы феноменальных военных и территориальных успехов она не достигала. Валлерстайн описывает его как «процесс расширения и сокращения, который является их (деспотий) судьбой». Наряду с Китаем (Гегель) и Персией

(Монтескье), Турция (Жан Боден) была всегда не просто примером, но символом деспотизма для европейской политической мысли. Трудно перепутать процесс территориального военного расширения с подлинным **развитием**, но И.М., это, похоже, удалось.

6. О собственности в европейском столетии и спорить, извините, как-то неудобно. Именно *неприкосновенностью, неотчуждаемостью вотчин* и призывал в Москву Иван III перебежчиков из Литвы, из Рязани и Ярославля. Что действительно в этой связи *интересно и уникально* в том, что я назвал европейским столетием, это *единственный* в русской истории случай расцвета **крестьянской** вотчинной собственности, впоследствии уничтоженной опричной революцией Грозного вместе с Юрьевым днем. Удивляться ли, что именно этого И.М. в трилогии не заметил? Несмотря на то, что я дважды к этому там возвращался (в подглавках «Земская реформа», гл. 2, с. 142–145 и «Великая реформа» (гл. 4, с. 219–223)). Не потому ли не заметил этого Игорь, что наличие крестьянской вотчинной собственности камня на камне не оставило бы от его, без всяких шуток, точно по Фрейду, вытеснения/отрицания европейского столетия. Я, впрочем, подробно рассказал об этом в главе «Гибель Великой реформы».

7. Единственный и впрямь спорный вопрос, спорный, так как имеет отношение к полемике между украинской и российской классической историографией, я очень надеялся обсудить с И.М. в нашем несостоявшемся диалоге. И.М. целиком встал на позиции украинцев: «Ставить Московию в преемственную связь с Киевско-Новгородской Русью –

значит воспроизводить имперскую историографию, обслуживающую имперскую историю. Да и не было ее, Киевско-Новгородской Руси. Была Русь, куда ни Новгород, ни Владимиро-Суздальское княжество не входили». Настоящий спор так и не состоялся. Поэтому замечу в очередной раз, что о *Московии* я здесь говорить не намеревался, лишь о *Московском государстве* XV – первой половины XVI веков, в которое бесспорно входили и Владимиро-Суздальское княжество и Новгород.

8. От принципиального разговора о конституционных проектах 1610 и 1730 годов, и о том, как они были вообще возможны, особенно первый, Игорь Моисеевич уклонился под предлогом того, что «ответ затягивается», хотя объем его ответа никто не ограничивал. Если какой-нибудь из вопросов И.М. я упустил из виду, или вообще осталось у читателя какое-то белое пятно в русской истории, пожалуйста, дайте мне знать. Диалог, так диалог. Не гарантирую ответы на ВСЕ вопросы. Слишком много у истории загадок, и слишком ограничены наши знания. Но я буду стараться.

**МОЙ «ВТОРОЙ ФРОНТ»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
НА ФОНЕ ИСТОРИИ**

Глава 12

НИГИЛИСТЫ НАВЫВОРОТ

Вступление

1 декабря 2016 года скончался, не дожив до шестидесяти, крупнейший российский культуролог и главный герой моего «второго фронта» Андрей Анатольевич Пелипенко. Меньше, чем кому-либо, подобает мне писать некролог человеку, посвятившему двадцать лет жизни «смыслогенетической теории культуры». Хотя бы потому, что теория эта для меня темный лес. Столь же, боюсь, темный, каким для покойного А.А. (да будет земля ему пухом!), художника, кандидата искусствоведения, д-ра философских наук, была русская история. Потому и не пишу некролог.

Но предварить несколькими словами довольно жесткую полемику последующих текстов я обязан. Меньше всего беспокоит меня этическая сторона дела. Нет, я не бросаю вслед покойному упреки, на которые он уже не сможет ответить. Тексты эти написаны давно. И А.А. не только читал их, но, как увидит читатель, и **ответил** на них. Причем ответил не только жестко, но раздраженно, по сути, оскорбительно, обвинив меня, несмотря на массу оговорок, в «ангажированности», в «передергиваниях» и едва ли не в шулерстве.

Нет, я не обиделся. Я понимаю, что происходило это из-за принципиальной разницы в наших представлениях об истории. Даже в страшном сне не пришло бы мне в голову рассуждать о теории «смыслогенеза культуры». И тем более критиковать то, о чем я имею лишь самое смутное представление, упрекая автора в передергиваниях. Но понимаю я также, что история нисколько не менее сложна, чем «смыслогенез». И далеко не каждому д-ру философских наук сложность эта доступна.

А.А. совершенно очевидно думал иначе. Но это ровно ничего не отнимает от его репутации блестящего, по мнению тех, кто знает толк в «смыслогенезе», культуролога. И не мешает мне, вместе с ними, скорбеть о преждевременной кончине замечательно одаренного человека, каких не очень уже много вокруг. Вот и все мое вступление. Теперь текст.

* * *

Долгое рабство – не случайная вещь: оно, конечно, соответствует какому-нибудь элементу национального характера. Этот элемент может быть поглощен, побежден другими элементами, но он способен также и победить.

Александр Герцен

Перемены Вашего духовного лица я старался понять. Но вот к власти пришел Гитлер, и Вы стали прогитлеровцем. У меня до сих пор имеются Ваши прогитлеровские статьи, где Вы рекомендуете русским не смотреть на гитлеризм «глазами евреев»... Как Вы могли, русский человек, пойти к Гитлеру?.. Категорически оказались правы те русские, которые смотрели на Гитлера «глазами евреев».

*Роман Гуль
Письмо Ивану Ильину, 1949*

Это, как уже знает читатель, было для меня открытием. Оказалось, что среди моих единомышленников в России есть люди, уверенные, что судить об отечественной истории вне сложившихся стереотипов (*outside the box*, как говорят американцы) категорически нельзя. Любую новую ее интерпретацию отмечают с порога. Этакие Базаровы навыворот. Те не верили в абстракции, но собственным глазам (в нашем случае неопровержимым документальным свидетельствам), по крайней мере, верили. А эти и им не верят. Тоже своего рода нигилисты, нет на них Тургенева. Гласит, мол, стереотип что Россия – деспотия,

значит, деспотия она и есть, и нечего мудрствовать лукаво. Эти люди, собственно, и представляют ударную силу моего «второго фронта».

Нет, признают, они, конечно, что копошатся где-то там, у подножия деспотии и русские европейцы – еще бы не признать! – но толку от их копошения никогда не было и нет. Не заметили нигилисты в пылу отрицания даже очевидного. Того, в частности, что каким-то образом удалось все-таки этим никудышним русским европейцам превратить Россию по факту из империи в своего рода многоэтничный nation-state, пусть даже в представлении российских масс она остается империей, и РЕВАНШ заглавными буквами написан на их знамени.

Но «ментальный блок» масс (об аналогичном «блоке» элит поговорим мы в гл. 17), все же, согласитесь, не то же самое, что историческая реальность. А в реальности что ж, разве может какой-нибудь Крым возместить потерю Польши, Финляндии, Прибалтики, Закавказья и Средней Азии бывшей Российской империи? И тем более половины Европы, принадлежавшей бывшей советской? Это ведь примерно то же самое, что приравнять лягушку к слону: абберрация. Тем более что события второй половины 1980-х, подробно описанные в заключительной книге **Русской идеи**, странным образом обнаружили необычайную хрупкость этого «блока» масс. Едва тогдашняя перестроечная власть позволила СМИ, в первую очередь, конечно, телевидению, рассказать правду о советской империи, как миф рухнул. И вслед за ним рухнула и империя. И никто, кроме кучки перепуганных бюрократов, не встал на ее защиту. Подумайте, НИКТО – в гигантской стране с грозной пятимиллионной ар-

мией! Говорит же о чем-то этот замечательный исторический эксперимент! И был ведь он делом рук тех самых «никудышных» русских европейцев. Чьих же еще? Так, может быть, не такие уж они никудышные?

Но стоят на своем нигилисты. Что поделаешь? Придется воевать.

Я понимаю, что всякий запоздалый «второй фронт», создаёт для обсуждения массу формальных неудобств. В частности, придётся мне оживить в памяти читателя, знакомого с трилогией, множество персонажей, эпизодов и ссылок, ему уже известных. В принципе это все равно, что попытаться заново перевоевать уже законченную войну – только на новом фронте. С другой стороны, однако, имеет такая попытка и свои преимущества. Она даёт возможность вкратце обобщить, свести воедино разнообразные аргументы, разбросанные по пространству почти двухтысячестраничного трехтомника, заново оценить их логику и проверить их интеллектуальную убедительность. Я хочу надеяться, что преимущества этого второго фронта перевесят в глазах читателя его неудобства.

Я мог бы, конечно, обсудить здесь свои разногласия и, скажем, с Александром Невзоровым или с Николаем Усковым, или, на худой конец, с проф. В.В. Ильиным, который учит студентов, что «никакой разницы между Иваном IV, укреплявшим централизм рубкой голов, и Петром I, бравшим в руки рубанок и занимавшимся тем же – утверждением восточного деспотизма в России, – нет»⁵³. Но точнее и, если хо-

⁵³ А.А. Пелипенко. Россия и Запад: грани исторического взаимодействия // Россия: путь в третье тысячелетие, М., 2000, с. 66.

тите, выразительнее всех сформулировал их все-таки в силу своей уникальной неосведомленности о русской истории А.А. Пелипенко в статье «Россия и Запад: грани исторического взаимодействия»⁵⁴. Впрочем, его формулировки до такой степени буквально отражают общепринятый среди нигилистов взгляд на русскую историю, что спорить с ним по сути все равно, что спорить с самим этим взглядом.

Например, Пелипенко решительно не верит, что Россия изначально страна европейская – и либеральные нигилисты не верят. Он убежден, что в качестве деспотической империи Россия всю дорогу противостояла Европе, была ее антитезой. И все они в этом убеждены. Он считает, что «генеральной доминантой» европейской государственности был «процесс формирования национальных государств»⁵⁵, тогда как в России никогда такого процесса не было. И нигилисты так считают. Он напрочь игнорирует открытия советских историков-шестидесятников, документально доказавших присутствие прогрессивных реформ в досамодержавной, докрепостнической и доимперской Руси первой половины XVI века, и, следовательно, ее способность к политической модернизации. И нигилисты эти открытия игнорируют.

(Как мы уже знаем, замечу в скобках /см. главы 8–11/, не все либералы-нигилисты разделяют жесткий догматизм Пелипенко. И понятно почему. Должны же они как-то объяснить присутствие в этой «антитезе Европы» русских европейцев, собственное, свое, так сказать, присутствие /не с Мар-

⁵⁴ А.А. Пелипенко. Цит. Соч. с. 68.

⁵⁵ Там же.

са же, в самом деле, все они, включая Пелипенко или Невзорова, в нее свалились/). И потому иные из них предполагают, что в какой-то момент ее истории России была сделана некая европейская «прививка». Одни – в XIX веке их было большинство – уверены, что сделана была эта мичуринская «прививка» Петром, в XX веке мнения склонились в пользу Екатерины. Несмотря на эти разногласия, однако, все они согласны с Пелипенко, что «с эпохи Ивана Грозного Русь обозначилась для Европы в качестве внешней имперской антитезы»⁵⁶. А это, естественно, влекло за собою «отказ от либеральной альтернативы»⁵⁷.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ МАНЁВР

Здесь, однако, проблема. Состоит она в том, что русская история не начинается с Ивана Грозного. И с империи не начинается она тоже. На самом деле от начала Киевско-Новгородской Руси до окончательной победы контрреформаторов – иосифлян (и самодержавной революции Грозного) в 1560-е, прошло не меньше веков, чем от этой победы до наших дней. И все эти досамодержавные столетия «генеральной доминантой» русской государственности как раз и был ровно такой же, как в Европе «процесс формирования национального государства» (насколько вообще можно говорить в те времена о национальной государственности).

⁵⁶ Там же.

⁵⁷ See *Karl A. Wittfogel*. «Russia and the East: A Comparison and Contrast» in the *Development of the USSR: an Exchange of Views*, ed. by Donald W. Treadgold, Seattle, 1964, p. 352–353. See also *Tibor Szamualy*. *The Russian Tradition*, London, 1976. p. 87.

Не удался на первых порах процесс, это правда, а потом и вовсе был насильственно прерван монгольским завоеванием – но, во всяком случае, ничего подобного самодержавию, оставим пока в стороне вопрос о деспотизме, и в помине тогда на Руси не было. Более того, обе известные нам попытки установить режим неограниченной власти окончилась для великих князей Андрея Боголюбского в середине XII века и Василия III, в начале XVI, неудачей. Иначе говоря, победой тогдашних русских европейцев.

Европейский характер Киевско-Новгородской Руси признают, как мы видели, даже самые неколебимые из западных приверженцев теории «русского деспотизма» Карл Виттфогель и Тибор Самуэли (см. гл. 5) Мало того, главная трудность для этих авторов состоит именно в том, чтобы объяснить роковой «перелом», в результате которого **европейская** Русь превратилась вдруг в «**антитезу Европе**»⁵⁸. Их попытки объяснить этот немислимый исторический курбет влиянием «Орды» тоже подробно рассмотрены в трилогии, и нет надобности здесь их повторять.

Пелипенко, однако, предпочел, как мы видели, обойти эту трудность западных единомышленников своего рода хронологическим манёвром, попросту начав русскую историю с противостояния Европе во второй половине XVI веке. Само собою, пришлось ему для этого пойти на некоторые жертвы. Например, игнорировать эпохальную борьбу тогдашних «либералов»- нестяжателей (под либералами имею я здесь в виду противников неограниченной власти) с идеологами самодержавия (иосифлянами) за церковную Реформацию. Между тем именно трагический

⁵⁸ А.А. Пелипенко. Цит. соч., с. 66.

исход этой борьбы, по сути, и решил судьбу России на пять столетий вперед.

И не одну лишь нестяжательскую борьбу, продолжавшуюся, между прочим, на протяжении четырех поколений, пришлось ему игнорировать, но и связанные с нею «Московские Афины» 1490-х (о которых свидетельствуют сами иосифляне). И «крестьянскую конституцию» Ивана III (Юрьев день). И вообще все его царствование, занявшее практически всю вторую половину XV века, на протяжении которого Россия не была ни империей, ни «антитезой». Не упоминает Пелипенко даже о Великой реформе, правительства Адашева, введившей в России 1550-х земское самоуправление и суд присяжных – за три столетия до аналогичных реформ Александра II. Не упоминает даже о пункте 98 Судебника 1550 года, который назвал я в трилогии русской Magna Carta и который юридически запрещал царю принимать новые законы единолично

«АХ, ЕСЛИ БЫ...»

Еще важнее, что даже и такой не совсем, согласитесь, корректный хронологический маневр не избавил Пелипенко от трудностей. Например, если уж не естественное для ученого историческое любопытство, то здравый смысл должен был, казалось, побудить его задать себе вопрос, откуда уже четверть века спустя после смерти Грозного возник в деспотии **первый среди великих держав Европы** полноформатный проект Основного закона конституционной монархии. Я говорю, конечно, о проекте конституции Михаила Салтыкова 1610 года, высоко оцененном классиками русской историографии. Не мог же,

в самом деле, столь подробно разработанный конституционный проект появиться на свет неожиданно как Афина из головы Зевса. Отвечал мне Пелипенко так: мало ли кому какие идеи приходили в голову. Но вопрос-то в другом. В том, откуда взялся такой проект именно в России? И именно когда никому в тогдашней Европе ничего подобного почему-то в голову **не приходило**? Короче, на вопрос, почему не в Европе, а в России, ответа у нигилистов нет.

В трилогии я попытался дать на это вполне недвусмысленный ответ: потому, что только в тогдашней России могла сложиться именно такая ситуация. В принципе состоит ответ в уникальной **ДВОЙСТВЕННОСТИ** русской политической культуры. Возникла она не позже XII века, в период распада Киевско-Новгородской Руси, когда князья практически непрерывно воевали друг с другом, и холопы, управлявшие княжескими доменами, насмерть враждовали с вольными дружинниками князя, служившими по договору. Продолжалась эта непримиримая вражда столетиями. Отсюда и пошли, резонно предположить, в русской политической культуре **ДВЕ взаимно-исключающие** традиции. Потому и назвал я одну из них холопской, а другую – договорной, европейской (или традицией вольных дружинников).

(Признает эту непримиримую борьбу **ДВУХ** традиций в русской истории даже И.Г. Яковенко. Единственное его возражение такое: *«европейская традиция в России прослеживается давно, но она всегда была компонентной, а не доминантной»*. В моих терминах это означает, что холопская /деспотическая/ традиция доминировала в России **ВСЕГДА**). То есть и во времена европейских реформ Алексея Адашева в 1550-е? И во времена Великой реформы в 1860-е?

И во времена гласности во второй половине 1980-х? И это лишь самые очевидные примеры, когда деспотическая традиция НЕ доминировала. Я не говорю уже о том, что европейская традиция невозможна как компонента деспотизма ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. Так не проще ли, чтобы избежать всех несообразностей, принять мое определение русской государственности как гибридной, самодержавной? Заодно и загадка конституции Салтыкова объясняется. Нет, настаивает Яковенко: деспотия правит бал в России и ничего больше, кроме деспотии. Нигилисты они и есть нигилисты. Но это так, реплика в сторону).

Так или иначе, в свете этой перманентной и беспощадной войны традиций становится понятным, что конституционный проект Салтыкова, конечно же, не родился на пустом месте. Он был лишь дальнейшим развитием того же пункта 98 того же Судебника 1550-го года. Поскольку был тот Судебник первой попыткой русской аристократии, унаследовавшей договорную традицию XII века, законодательно ограничить власть государя.

Попытка, как мы знаем, не сработала. Результатом её провала и был конституционный проект Салтыкова. Иначе говоря, он стал бесспорным свидетельством того, что в досамодержавные времена русская аристократия обнаружила замечательную способность учиться на своих ошибках. В ходе государственного переворота Грозного пришла она, естественно, к заключению, что пункт в Судебнике не может служить серьезной гарантией от царского произвола. Отсюда и полноформатный проект конституционной монархии 1610 года.

В отличие от В.О. Ключевского и Б.Н. Чичерина, однако, Пелипенко не только не задумывается над

этой загадкой, но отбрасывает её с порога. «Восклицания типа “Ах, если бы!” – пишет он, – выглядят не менее наивно, чем примитивные детерминистские схемы вульгаризированного гегелевско-марксистского толка»⁵⁹. Другими словами, рассматривает он конституционный проект Салтыкова, погибший в пламени гражданской войны и Смуты, не как упущенную возможность, **способную возродиться на другом историческом распутье России**, но как благое пожелание, ничего общего не имеющее с реальностью (несмотря даже на то, что три столетия спустя проект Салтыкова и впрямь возродился в Основном законе конституционной монархии 1906 года). Пелипенко, как мы видели, думает иначе: ничего, мол, эти наивные либеральные поползновения не изменили – и не могли изменить – в курсе «теократической империи»⁶⁰ с её «деспотической линией»⁶¹.

Допустим. Но ведь откуда-то этот проект должен был взяться. Он несколько не похож на польскую выборную монархию. И ничего подобного ему, как уже упоминал, не возникло в соседних с Россией континентальных империях XVII века – ни в Османской, ни даже в Священной Римской империи германской нации. А в России почему-то возникло. Почему? Пусть даже моя догадка о его происхождении не убеждает нигилистов, никто ведь не мешает им предложить другую. Но в том-то и состоит суть нигилизма, что **ничего** он кроме насмешек, предложить не может.

Спор идет в таком духе. Да, говорит Пелипенко, «делаются попытки уравновесить имперско-теократическую и либеральную линии в русской истории за

⁵⁹ А.А. Пелипенко. Цит. соч., с. 69.

⁶⁰ Там же.

⁶¹ Там же.

счет переосмысления масштабов и значения последней. Так поступает, в частности, А. Янов (от Ивана III к конституции Михаила Салтыкова далее к верховникам и декабристам и т.д.). Однако вялый пунктир либеральных поползновений, объяснимых сначала отголосками раннесредневекового синкрезиса, а затем влиянием той же самой Европы... вряд ли может быть назван в полном смысле линией. Нет необходимости затевать споры по конкретным пунктам, например, о том, что если в феномене декабристов и можно говорить о какой-либо традиции, то это скорее традиция гвардейских дворцовых переворотов и т.д. Достаточно задать простой вопрос – почему в нашей истории деспотическая линия всегда побеждала либеральную? Никакими частными причинами этого не объяснить»⁶².

«СКАЧОК»

Но что же все-таки вместо «вялого пунктира либеральных поползновений»? Как могла бы вырваться Россия из удушающих объятий всегда победоносной «деспотической линии», если возможность опереться на европейские корни отечественной политической культуры небрежно, как мы видели, раскассирована? Какова, короче говоря, перспектива России в XXI веке? Пелипенко уверен, что знает. Состоит нарисованная им перспектива тоже из двух частей.

Первая заключается в том, что как была со времен Ивана Грозного Россия имперско-деспотической «антитезой» европейской государственности, так и осталась. Потому-то «пронизанное метастазами средневековой ментальности сознание [сегодняшней российской элиты] остро неадекватно современ-

⁶² Там же.

ной реальности»⁶³. И главная причина этой неадекватности та же, что во времена Грозного – «синкретичность сознания»⁶⁴.

Вторая часть перспективы, предложенной Пелипенко, предполагает неожиданный и головокружительный качественный «скачок» России к «национальной государственности». Конечно, качественные скачки не противоречат «детерминистским схемам гегелевско-марксистского толка», но там выступают они все-таки как результат критического накопления перемен количественных. Однако первая часть перспективы Пелипенко никаких таких количественных перемен не содержит. Напротив, сознание современной российской элиты остается, как мы только что слышали, столь же «синкретичным», как во времена Грозного.

Тем не менее «скачок» постулируется. Более того, оказывается он императивом, единственным шансом на выживание России в современном мире. Вот, пожалуйста: «Сейчас еще есть возможность, расставшись с имперской идеей, перейти к формированию национального государства. Иначе говоря, превратиться из имперского народа в национальный. Возможно, это последний шанс, который дан России»⁶⁵.

СТРАННОЕ СОВПАДЕНИЕ

Непонятными здесь остаются лишь два вопроса. Во-первых, с какой, собственно, стати совершит вдруг такой спасительный «скачок» страна, с самого

⁶³ А.А. Пелипенко. Цит. соч., с. 70.

⁶⁴ Там же, с. 71.

⁶⁵ Там же.

своего начала, по мнению нигилистов, и до сегодняшнего дня совершенно чуждая «национальной государственности»? Многоэтничная, добавим, страна, чье сознание, полагает Пелипенко, остается столь же синкретичным, как во времена Грозного? Не выглядит ли такая ошеломляющая гипотеза еще более наивной, нежели «детерминистские схемы гегелевско-марксистского толка»?

Во-вторых, озадачивает странное совпадение этого «скачка» с перспективой, которой настойчиво добиваются для России самые оголтелые её националисты. Мы ведь еще не забыли, что первым, кто предложил отделение России от СССР, был националист Валентин Распутин. И что даже ненависть к Ельцину не помешала в 1990 году националистам в Верховном Совете единодушно проголосовать за Декларацию о суверенитете России. Не забыли и того, как отчаянно добивался в нем националист Сергей Бабурин, чтобы страна называлась не Российской Федерация, а Россия.

Сегодня превращение РФ в «национальное государство» – клише в националистических кругах. Долой «Эр Эфию!» – их лозунг. Вот как, например, рассуждает об этом предмете рядовой националист Павел Святенков: «Россия, единственная страна СНГ, которая отказалась от строительства национального государства. Наша страна является лишь окровавленным обрубок СССР, официальной идеологией которого остается «многонациональность»... По сути это означает сохранение безгосударственного статуса русского народа, которому единственному из всех народов бывшего СССР *отказано в национальном самоопределении*»⁶⁶. (Курсив Святенкова)

⁶⁶ П. Святенков. Россия как антипроект // АРН. ру, 21 мая 2006.

Ни Распутин, ни Святенков, ни их единомышленники не станут скрывать, что научил их этому преклонению перед «национальной государственностью» общий наставник, популярный сейчас в Москве эмигрантский философ Иван Александрович Ильин. Нет слов, Ильину случалось, как видели мы хотя бы в эпиграфе к этой главе, применять свое учение о «национальной государственности» и к оправданию гитлеризма. В 1933–1934 годах он жестоко обличал либеральную Европу в неспособности оценить в гитлеровском государстве «такие его положительные черты, как патриотизм, вера в самобытность германского народа и силу германского гения, чувство чести, готовность к жертвенному служению, социальная справедливость и внеклассовое братски-всенародное единение».

Нам, однако, важно сейчас то, чему учил Ильин своих наследников относительно будущего России, хотя, видит бог, никаких особенных отличий от того, чем восхищался он в нацистской Германии, мы и тут не обнаружим. Нам опять объяснят, что диктатура это хорошо (ибо только «национальная диктатура» способна сформировать в России национальную государственность»⁶⁷. /Курсив Ильина/), а демократия, наоборот, плохо (поскольку «если что-нибудь может нанести России после коммунизма новые тягчайшие удары, то это именно... демократический строй»)⁶⁸.

Тут все понятно. Непонятно лишь то, каким образом затесался в эту мрачноватую компанию мой либеральный оппонент. И еще непонятней, почему не пришло ему в голову то, что еще двести лет знали

⁶⁷ И. Ильин. О грядущей России, М., 1993, с. 149.

⁶⁸ Там же, с 158.

декабристы. А именно, что **есть лишь ДВА способа** политической организации многоэтничной государственности: империя и федерация. И любая попытка обойти эту элементарную истину, противопоставив империи «национальную государственность», неминуемо сводится к самому оголтелому национализму в духе Святенкова и Ильина. Не удивительно, что декабристы без колебания встали на сторону ФЕДЕРАЦИИ: **«федеральное правление одно соглашает величие народа и свободу граждан»** (из проекта конституции Сергея Трубецкого). Удивительно лишь, что до сих пор не знает этого сегодняшний нигилист.

О «ДЕСПОТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ»

К счастью, по ряду причин, детально рассмотренных в трилогии, Россия вовсе не стоит перед драматическим выбором между, скажем, китайской и турецкой историческими моделями. Прежде всего потому, что, вопреки Пелипенко, она, в отличие от Китая и Турции, НИКОГДА не была деспотией. Вся теоретическая часть трилогии, по сути, посвящена очень подробному опровержению этого исходного тезиса либеральных нигилистов.

Сколько я знаю, в русской историографии еще не было попыток специальной верификации распространенного утверждения, что Россия когда-либо принадлежала к семейству деспотических империй, будь то в его монгольской ипостаси, как уверен был Карл Виттфогель, или византийской, как полагал Арнольд Тойнби, или эллинистической, как думает Ричард Пайпс. Я опирался в своей проверке этих гипотез, как помнит читатель, на исследования Аристотеля, Жана Бодена, Юрия Крижанича, Шарля де

Монтескье, Дэвида Юма, Гегеля, Маркса, Алексиса де Токвиля, Виттфогеля и Валлерстайна (см. гл. 5).

Итог верификации не оставил ни малейших сомнений, что Россия никогда не принадлежала к семейству деспотических империй в какой бы то ни было его ипостаси. Точно так же, впрочем, как – после роковой победы иосифлян и Грозного – никогда больше не принадлежала она и к семейству абсолютистских монархий Европы.

Здесь нет смысла пересказывать подробности Деспотологии, как назвал я совокупность всех этих исследований. Обращу внимание лишь на две особенности деспотизма как «системы тотальной власти», по выражению Карла Виттфогеля. Во-первых, в этой системе не существовало – и не могло существовать – альтернативных моделей политической организации общества. По самой простой причине: ничего подобного не возникало даже **в головах поданных** деспотических государств. Задушить султана или свергнуть падишаха, это, пожалуйста. Но изменить политическую систему – такого мятежники представить себе не могли. В результате все без исключения новые султаны и падишахи неукоснительно воспроизводили старый режим с точностью до деталей. Короче, не было в деспотиях политической оппозиции, способной такие альтернативные модели сформулировать.

В этом согласны и Аристотель, и Монтескье, и Виттфогель. Но если так, даже того, что Пелипенко презрительно именуется «вялым пунктиром либеральных поползновений», **просто не могло бы при русском деспотизме возникнуть**. Но ведь возник же. Был. Всю дорогу, начиная с XV века.

А во-вторых, «система тотальной власти» в принципе исключала частную собственность на землю, что, естественно, делало невозможной наследственную аристократию, которая, как мы знаем, тоже существовала на Руси с начала ее государственности. Более того, в XV–XVI веках, например, в период самой жестокой борьбы между нестяжателями и иосифлянами, церкви принадлежало больше земель, нежели великому князю. На самом деле в основе всей русской истории в эти столетия, как документально доказано в первой книге трилогии, лежала **борьба за землю**, факт немислимый в деспотии, где бесспорным – и единственным! – собственником всей земли в государстве был султан (или падишах). Короче говоря, получается, что, вопреки утверждению Пелипенко, **никакой «деспотической линии» в русской истории просто не существовало.**

Попробуем, однако, для верности подойти к делу и с другой стороны. Как знаем мы из всемирного исторического опыта, любое правительство стремится к «тотальной власти», как магнитная стрелка к северу. И, как правило, ее добивается, если не встречает на своем пути мощные ограничения, будь то институциональные, как в современных демократиях, или – в прежние века – латентные, «нравственно обязательные», по выражению В.О. Ключевского. Так что же, спрашивается, помешало добиться «тотальной власти» русскому самодержавию? Почему, иначе говоря, никогда не смогло оно избавиться ни от наследственной аристократии, ни от альтернативных моделей политической организации (причем неизменно европейских), которые регулярно возникали в России **в каждом столетии?**

Спросим далее вместе с Владимиром Вейдле, почему «не отатарилась и не отреклась от европейского наследства» Россия за два с лишним столетия степного ига? Почему «не отатарилась» она даже в огне тотального террора Грозного или Сталина, хотя и уподобилась на четверть столетия ее государственность «тотальной власти», как в XVI веке, так и в XX? Уподобилась, **но не стала**. Хотя бы потому, что после каждого из российских тиранов неизменно следовала либеральная «оттепель» – после Ивана IV «деиванизация», после Павла I «депавловизация», если можно так выразиться, после Николая I «дениколаизация» и так далее вплоть до «десталинизации» после Сталина и «дебрежневизации» при Горбачеве. Ничего подобного никогда не было и **не могло быть** ни в одном деспотическом государстве. Почему?

Если и эта **регулярная** либерализация режима после каждой диктатуры, сколь бы относительной она ни была, не свидетельствует о принципиальной двойственности политической культуры, я уж и не знаю, что еще могло бы об этом свидетельствовать. Разве лишь то обстоятельство, что ни при Екатерине II, ни при Александре I, ни при Александре II Европой Россия тоже не стала, хоть и уподобилась в те поры европейскому абсолютизму. Опять-таки уподобилась, но не стала. Хотя бы потому, что за либеральным царствованием Екатерины следовала диктатура Павла I, за царствованием Александра I – диктатура Николая, за царствованием Александра II – диктатура Александра III. Вот таким, повторю снова, **цивилизационно неустойчивым**, в отличие от деспотизма, скользким, гибридным, если хотите, режимом было русское самодержавие.

И это обстоятельство ставит нас перед выбором: либо ничего из только что перечисленного не существовало, либо доморощенная теория «Русской системы» А.И. Фурсова и Ю.С. Пивоварова, отождествившая самодержавие с деспотизмом, теория, на которую так доверчиво положились либеральные нигилисты, обманула их с самого начала. И размышляют они о русской истории, исходя из ложной предпосылки.

ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ?

Правда, можно еще объяснить Европейское столетие 1480–1560 годов, как делает Пелипенко, неким «раннесредневековым синкретизмом». Но уж слишком очевидной натяжкой было бы отнести XVI век, эпоху Возрождения, к раннему средневековью. Не меньшей, впрочем, натяжкой, чем объяснение декабризма «традицией гвардейских дворцовых переворотов». Слышали ли вы когда-нибудь о дворцовом перевороте, а в России XVIII века их и впрямь было много, и все они были гвардейскими, участники которого разработали бы **три проекта** вполне европейской конституции (впрочем, в 1730 году таких проектов было тринадцать!).

Да вспомним хотя бы открытое письмо Герцена Александру II от 1 октября 1857 года. «Много ли сил надо было иметь Елизавете I при воцарении, Екатерине II для того, чтоб свергнуть Петра III?» – спрашивал Герцен. И отвечал: «заговорщикам 14 декабря хотелось больше, чем замены одного лица другим, серальный переворот был для них противен... они хотели ограничения самодержавия письменным уложением, хранимым выборными людьми, они хотели

разделения властей, признания личных прав, словом, представительное правительство в западном смысле... Оттого, что император Александр, понимая многое – ничего не умел сделать, неужели можно назвать преступлением, что другие понимали тоже, но, совсем наоборот ему, считали себя способными сделать? Люди эти были прямым ответом на тоску, мучившую новое поколение: “Мы освободили мир, а сами остались рабами”»⁶⁹.

И этот «ответ на тоску, мучившую поколение», ответ, в котором «участвовали представители всего талантливого, образованного, благородного и блестящего в России»⁷⁰, Пелипенко объясняет традицией дворцовых переворотов? А ведь было, как мы уже говорили, еще за три столетия до декабристов поколение Алексея Адашева, решившееся на столь же невероятно дерзкий по тем временам – и ничуть уже не внушенный, как мы видели, «влиянием Европы» и тем более «раннесредневековым синкрезисом» – вызов самодержавию, внеся свой знаменитый впоследствии пункт 98 в «письменное уложение, хранимое выборными людьми».

САМОДЕРЖАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Речь здесь о целых поколениях либеральной элиты, добивавшихся политической модернизации России. А ведь были еще, пусть преходящие, но все-таки массовые, «порывы» вполне либеральных устремлений, такие, как октябрьская 1905 года всеобщая за-

⁶⁹ Колокол, вып. первый. Факсимильное издание, М., 1962, сс. 30,28.

⁷⁰ Там же, с. 29.

бастовка, принеся России то самое «письменное уложение», о котором мечтали декабристы, или как революция февраля 1917, освободившая страну от «сакрального» самодержавия, или, уже у нас на глазах, «Московские Афины» гласности 1989–91 годов, освободившие её от ярма империи. Или в отъезде был тогда Пелипенко, ничего не видел? И про «Московские Афины» конца XX века знает столько же, сколько про те, конца XV?

Это, однако, вплотную подводит нас к заключительному – и убийственному, по его мнению, – вопросу: «почему в нашей истории деспотическая линия всегда побеждала либеральную?»⁷¹

Во-первых, как мы видели, не всегда (если, конечно, не предположить, как Пелипенко, что русская история и впрямь начинается с победы иосифлян и Ивана Грозного). Во-вторых, никакой «деспотической линии» в России, как мы только что выяснили, никогда не было. Была самодержавная, гибридная государственность. В-третьих, мы достаточно точно сегодня знаем основные даты, причины и последствия того **ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО** «перелома» в соотношении сил между договорной традицией и холопской, который внезапно и резко изменил траекторию исторического движения страны на столетия вперед, лишив её способности сопротивляться произволу государства и его холопов (или на ученом языке – способности к политической модернизации).

Согласитесь, что траектория эта должна была измениться и впрямь неузнаваемо, если, как доказал замечательный русский историк Михаил Александрович Дьяконов (см. гл. 3), искали себе убежища в Рос-

⁷¹ А.А. Пелипенко. Цит. соч., с. 69.

сии в ее европейское столетие богатые и влиятельные западные вельможи, а после революции Грозного побежали они от неё, как от чумы⁷². И с этого момента и на века слыла она в Европе символом произвола.

Один за другим рассмотрели мы аргументы, предложенные либеральными нигилистами на примере развернутой статьи одного из самых выдающихся из них А.А. Пилипенко. Не берусь судить о впечатлении читателя, но меня убедили они лишь в идейном банкротстве этого странного течения либеральной мысли, проецирующего историю, если можно так выразиться, наоборот – **от сегодняшнего дня в прошлое**. Тем более это печально, что так широко распространено. Что я могу этому противопоставить? Историю, как она была.

⁷² М.А. Дьяконов. Власть московских государей, СПб, 1889, с. 187–193.

Глава 13

КАК СТАЛА РОССИЯ ТЕМ, ЧЕМ СТАЛА

Читатель, я надеюсь, извинит меня, если именно на этом решающем в русской истории событии (и на всем, что с ним связано) мне придется остановиться подробнее.

А случилось тогда вот что. Четвертое поколение либеральной партии нестяжателей, боровшееся за церковную Реформацию в России – сначала под покровительством Ивана III, а потом самостоятельно – потерпело окончательное поражение. Означало его поражение, что так называемое «второе издание» крепостного права вводиться будет в России не за счет конфискации монастырских владений, как произошло это у её североевропейских соседей, в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии (Русь тоже, как мы знаем, была тогда североевропейской страной), но за счет экспроприации владений боярских и крестьянских (последних, что особенно важно до полного исчезновения).

А это в свою очередь предрекало и государственный переворот Ивана Грозного, и политический разгром боярской аристократии, и тотальное закрепощение крестьянства (в Северной Европе крепостничество так никогда и не вышло за пределы конфискованных церковных земель. Соответственно

уцелели как политическое влияние аристократии, так и мощный массив свободного крестьянства).

Другую судьбу обещала России сокрушительная победа иосифлян. Да, они сумели отстоять монастырские земли, но цена, уплаченная ими за это – благословение неограниченной и вдобавок «сакральной» власти царя в стране, где хрупки были, не успели еще после степного ярма укрепить ограничения власти, – оказалась чудовищной. Они создали монстра. В ходе самодержавной революции Грозный царь разгромил и церковь, и аристократию, и, отменив «крестьянскую конституцию» Ивана III, закрепостил подавляющее большинство населения страны.

Нет печальнее чтения, нежели вполне канцелярское описание этой национальной катастрофы в официальных актах, продолжавших механически крутиться и крутиться, описывая то, чего уже нет на свете. «В деревне в Кюлекше, – читаем в одном из таких актов, – лук Игнатки Лукьянова запустел от опричнины – опричники живот пограбили, а скотину засекали, а сам умер, дети безвестно сбежали... Лук Еремейки Афанасова запустел от опричнины – опричники живот пограбили, а самого убили, а детей у него нет... Лук Мелентейки запустел от опричнины – опричники живот пограбили, скотину засекали, сам безвестно сбежал...»⁷³.

И тянутся и тянутся бесконечно, как русские просторы, бумажные версты этой летописи человеческого страдания. Снова лук (участок) запустел, снова живот (имущество) пограбили, снова сам сгинул безвестно. И не бояре это все, заметьте, не «вельможество синклита царского», а простые, нисколько

⁷³ Цит. по И.И. Смирнов. Иван Грозный, Л., 1944, с. 99.

не покушавшиеся на государеву власть мужики, Игнатки, Еремейки да Мелентейки, вся вина которых заключалась в том, что был у них «живот», который можно пограбить, были жены и дочери, которых можно изнасиловать, земля, которую можно отнять – пусть хоть потом запустеет.

Преподавал в конце XIX века в Харьковском университете легендарный реакционер профессор К. Ярош, стоявший на страже исторической репутации Ивана Грозного столь свирепо, что даже такие непримиримые современные её защитники, как Михалков и Мединский, решительно перед ним бледнеют. Но и Ярош ведь вынужден был признать, познакомившись с Синодиком (поминальником жертв опричнины, составленным по приказу самого царя), что «кровь брызнула повсюду фонтанами и русские города и веси огласились стонами... Трепетною рукою перелистываем страницы знаменитого Синодика, останавливаясь с особенно тяжелым чувством на кратких, но многоречивых пометках: **помяни, Господи, душу раба твоего такого-то – сматерью и жженою, и ссыном, и сдочерью**»⁷⁴.

Замечательный поэт Алексей Константинович Толстой тоже признавался, что перо выпадало у него из рук при чтении Синодика. И не столько оттого, писал он, что могло существовать на русской земле такое чудовище, как царь Иван, сколько оттого, что существовало общество, которое могло смотреть на него без ужаса. Большинство русских историков XIX века с ним соглашалось. Н.М. Карамзин негодовал по поводу того, что «по какому-то адскому вдох-

⁷⁴ К. Ярош. Психологическая параллель, Харьков, 1898, с. 31.

новенику возлюбил Иван IV кровь, лил оную без вины и сёк головы людей славнейших добродетелями»⁷⁵. М.П. Погодин был еще непримиримее: «Злодей, зверь, говорун-начетчик с подьяческим умом... Надо же ведь, чтобы такое существо, потерявшее даже лик человеческий, не только высокий лик царский, нашло себе прославителей»⁷⁶. Итог подвел С.М. Соловьев: «Он сеял страшными семенами – и страшна была жатва... Да не произнесет историк слова оправдания такому человеку»⁷⁷.

Добавьте, что человек этот резко изменил традиционную стратегию страны, «повернув, – по его собственным словам, – на Германы» и открыв тем самым её южные границы для крымских разбойников. Удивляться ли, что те сожгли Москву на глазах у изумленной Европы? Такого пожара страна еще не видела. В огне погибло, как помнит читатель, почти всё население города. Те, кто спрятался в каменных подвалах, задохнулись от дыма, в том числе главнокомандующий московскими войсками Иван Петрович Бельский. Улицы были завалены обгоревшими трупами. Их сбрасывали в реку, но так много их было, что «Москва река мёртвых не пронесла». Город пришлось заселять заново.

Вдобавок еще увели в полон крымчаки по позднеейшим подсчетам около 800 тысяч беззащитного населения центральных областей России, положив начало их вековому запустению. Добавьте также, что

⁷⁵ Н.М. Карамзин. Записка о древней и новой России, М., 1991, с. 25.

⁷⁶ Цит. по Н.К. Михайловский. Сочинения, СПб, 1909, т. 6. с. 134.

⁷⁷ С.М. Соловьев. История России с древнейших времен, М., 1963. т. IX, с. 560.

вместе с бессмысленно загубленными полками, полегшими на полях Ливонии, и с никем несчитанными тысячами Еремеек и Мелентеек, сгоревших в пламени опричного террора, жизнью каждого десятого заплатила Россия за «адское вдохновение» своего царя.

НАСЛЕДСТВО ГРОЗНОГО ЦАРЯ

Но все это лишь о стратегических ошибках царя Ивана и о первом в русской истории тотальном терроре, без которого оказалось, как мы видели, невозможно сломать либеральный для своего времени государственный строй докрепостнической и досамодержавной России. Историки XIX века еще не знали о замечательном хозяйственном подъеме страны в первой половине XVI столетия. Это раскопали в провинциальных архивах их советские коллеги в 1960-е. И лишь тогда стало в полной мере понятно, что на самом деле сотворил с растущей, процветающей страной Грозный царь. Он ее разорил. Дотла. Втравив ее в нескончаемую четвертьвековую войну против «германов», закончившуюся вдобавок позорной капитуляцией России, он отбросил ее экономику, по меньшей мере, на столетие назад, превратив ее в самое отсталое государство Европы, в «бедный, – по словам С.М. Соловьева, – слабый и почти неизвестный народ»⁷⁸. Именно с той поры и обречена была Россия «догонять» Европу.

И сделал Грозный царь все, что было в человеческих силах, чтоб она ее не догнала. Ибо несопоста-

⁷⁸ С.М. Соловьев. История России с древнейших времен, М., 1963. т. IX, с. 560.

вимо страшнее оказались последствия его самодержавной революции для будущего страны. Я говорю об институциональных и идейных нововведениях Грозного, сделавших эту революцию **НЕОБРАТИМОЙ** – на столетия. Основных нововведений было четыре.

Первым стала отмена Юрьева дня. Для русского крестьянства эта потеря обернулась катастрофой, от которой оно так никогда и не смогло оправиться. Прикрепление к земле навечно неминуемо должно было перерасти в вековое рабство, включая распродажу крепостных семей в розницу. Не менее страшно для будущего страны было лишение крестьян, наряду с собственностью, и элементарного просвещения. Они оказались оставлены наедине с архаическими представлениями о мире, по сути, законсервированы в средневековье. До такой степени, что, по выражению М.М. Сперанского, даже «чтение грамоты числилось [у них] между смертными грехами»⁷⁹.

На следующее, пожалуй, самое долговечное нововведение той поры впервые, кажется, обратила внимание американский историк Присцилла Хант. То была придуманная теми же иосифлянами специально для Ивана IV теория **сакральности верховной власти**. Согласно ей, обладал верховный властитель, подобно Христу, двумя телами – земным и небесным. В повседневной жизни мог он и согрешать, как всякий земной человек, но как воплощение Господней воли ошибаться он не мог. Поскольку оказывался каким-то образом царь даже не наместником Бога, как всякий абсолютный монарх его времени, но в извест-

⁷⁹ М.М. Сперанский. Проекты и записки, М.–Л., 1963, с. 45.

ном смысле и самим Богом. Будучи ответственным не только за благоустройство страны, но и за готовность душ человеческих к вечной жизни – во всем христианском мире, – обязан он был «очистить этот мир от скверны и греха». Хант назвала эту теорию «персональной мифологией царя Ивана».⁸⁰

Так оно поначалу и было. Но идея прижилась. И постепенно оказалась центральным мифом самодержавия. Впоследствии распространился миф, как выяснилось, и на власть атеистическую, а при Сталине и вовсе словно бы воссиял прежним неземным светом. Можно предположить, что и в наши дни именно на обломках этого иосифлянского мифа и держатся высокие рейтинги верховной власти.

Третьим нововведением Грозного царя как раз самодержавие и было. Благословение иосифлян, легитимизировавшее неограниченную и сакральную власть (читай произвол) царя, обернулась катастрофой для русской аристократии. Даже та ее часть, что уцелела в огне тотального террора опричнины и вызванной им великой Смуты, довольно скоро – и надолго – оказалась политически бесплодной. Просто потому, что превратилась в рабовладельческую и, следовательно, полностью зависимую от власти.

Коварство этого плана, обеспечившее ему столь невероятное долголетие, заключалось помимо всего прочего в том, что он вовлекал в орбиту холопской традиции одновременно и «низы», и «верхи» общества. Если крестьянство было отныне в рабстве у землевладельцев и средневековой архаики, то землевладельцы в свою очередь оказались в рабстве у

⁸⁰ Priscilla Hunt. Ivan IV's Personal Mythology of Kingship, *Slavic Review* (Winter 1993).

власти и патологической грезы Ивана Грозного о «першем государствовании» (о мировом первенстве на современном политическом сленге), намертво переплетенной с четвертым, и почти столь же долговечным, как миф о сакральности верховной власти, его нововведением – агрессивной экспансионистской империей. Если, как писал впоследствии Георгий Петрович Федотов, «самодержавие было ценой, уплаченной за экспансию, то для России... продолжение ее имперского бытия означало бы потерю надежды на ее собственную свободу»⁸¹. Но Федотов, увы, был такой же белой вороной в тогдашней эмигрантской среде, как я сегодня.

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ

Гигантская историческая ловушка, выстроенная по иосифлянскому плану, захлопнулась. Россия стала другой страной – на века. У подданных Грозного царя не осталось **никакой** защиты от произвола власти. Если не считать, конечно, русского бунта бессмысленного и беспощадного, как окрестил его в «Капитанской дочке» Пушкин (мы привыкли, что ударение в этой знаменитой фразе обычно делается на «беспощадности» бунта, для Пушкина, надо полагать, еще страшнее была его «бессмысленность»⁸².)

Впрочем, вдохновители царского произвола, иосифляне, тоже русские, между прочим, люди, никакого дискомфорта, покуда не касался он их владений, не испытывали. Напротив, они его воспевали. Беззавет-

⁸¹ Г.П. Федотов. Судьба и грехи России, СПб, 1991, с. 326.

⁸² А.С. Пушкин. Поэзия и проза, предисл. С. Петрова, М., ОГИЗ, Гослитиздат, с. 634.

ная защитница иосифлянства в наши дни Н.А. Нарочницкая видит в этом освящении произвола не только отличительную черту самодержавия, но и главное его достоинство по сравнению с «латинской» ересью. Она тоже, подобно Пелипенко, апеллирует к науке и уверена, что, не понимая этого, «несерьезно в научном отношении судить о сущности московского самодержавия»⁸³.

В научном-то отношении, однако, сущность самодержавия понимал еще Жан Боден в XVI веке. Недаром же приравнял он Москву Ивана Грозного к главному в тогдашнем европейском сознании оплоту восточного деспотизма, Оттоманской Турции. Только вот, похоже, не взяла в расчет Нарочницкая, что в практическом отношении иосифлянское освящение произвола было, между прочим, оправданием тотального террора. Того самого, по поводу которого и предупреждал С.М. Соловьев: «Да не произнесет историк слова оправдания такому человеку».

Но и тотальный террор, и разорение страны, и порабощение соотечественников с лихвой искупались, по мнению иосифлян, торжеством имперской мечты о Москве как о III Риме, мечты, ставшей после самодержавной революции официальной идеологией Московии.

Крупнейший историк русской церкви А.В. Карташев, тоже национал-либерал, министр временного правительства в Феврале 1917, не оставляет в этом ни малейшего сомнения, когда сообщает нам, что в результате самодержавной революции «сама собою взяла над всеми верх и расцвела, засветилась бенгаль-

⁸³ Н.А. Нарочницкая. Россия и русские в мировой политике, М., 2002, с. 132.

ским огнем и затрубила победной музыкой увенчавшая иосифлянскую историософию песнь о Москве – III Риме»⁸⁴. Не забудем также, что писалось это в дни, когда «победная музыка» иосифляинства оглушала сталинскую империю. Не это ли имел в виду Герцен, говоря о традиции «долгого рабства» (см. эпитафия): у произвола, как и у сегодняшнего нигилизма, тоже нашлись просвещенные защитники.

В итоге произошло то, чего не могло в таких обстоятельствах не произойти. Я назвал это перерождением русской государственности, которое обозначил за неимением лучшего термина как «политическую мутацию» (смысл её именно в том и состоял, чтобы лишить страну способности сопротивляться произволу власти). Впрочем, у Владимира Сергеевича Соловьева было для этого перерождения, как мы помним, и другое название. Он именовал его «языческим особнячеством», т.е. отречением России от её европейского прошлого. «Востоком Ксеркса», говоря его словами, не «Востоком Христа» оказалась Россия после самодержавной революции 1560-х. Вот так и стала она тем, чем стала.

⁸⁴ А.В. Карташев. Очерки по истории русской церкви, Париж, 1959, с. 414.

Глава 14

«ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ЕВРОПЫ»

Читатель понимает, чем отличается моё определение от того, что предложил Соловьев. Тем, в первую очередь, что принимает всерьез то, во что Соловьев, как и большинство дореволюционных русских европейцев, никогда не поверил. А именно грозное предостережение Герцена. То, другими словами, что отречение от европейского прошлого чревато и отречением от европейского будущего. Короче говоря, что традиция «долгого рабства» (холопская, в моих терминах, традиция) **может и победить** в России – если не будет вовремя «поглощена» другими, либеральными элементами её политической культуры.

Тем более реальной представляется такая перспектива, что страна уже трижды в своей истории пережила грандиозные попытки полного подавления своих нестяжательских элементов, своего рода репетиции, если хотите, абсолютного отторжения от Европы, когда, по выражению известного русского историка А.Е. Преснякова, «Россия и Европа сознательно противопоставлялись друг другу как два различных культурно-исторических типа, принципиально разных по основам их политического, религи-

озного, национального быта и характера»⁸⁵. Их, эти попытки, длившиеся порою много десятилетий, и назвал я в трилогии «выпадениями» из Европы».

Разумеется, мнения по поводу того, хороши или плохи были для страны эти «выпадения» расходятся и по сию пору. Современные иосифляне по-прежнему горой стоят как за московитское «выпадение» XVII века, так и за николаевское во второй четверти XIX, и уж тем более за сталинистское в XX. Другое дело, что на практике вопрос этот давно уже перестал быть лишь предметом интеллектуальных разногласий. Роковые для России результаты всех этих «выпадений» доказаны, можно сказать, экспериментально.

Хотя бы тем, что все без исключения приводили они к катастрофическому отставанию страны от современного им мира, к историческим тупикам, если угодно, не говоря уже о неизменном «оцепенении духовной деятельности». Тем, наконец, что после каждого из таких «выпадений» стране приходилось заново, словно очнувшись от смертельного сна, начинать жизнь с чистого листа, опять и опять адаптируясь к реалиям современного мира – как материальным, так и психологическим.

В трилогии я старался, чтобы у читателя не осталось по этому поводу ни малейших сомнений. Здесь достаточно примера первого (самого продолжительного и лучше других исследованного в русской историографии) московитского «выпадения», в результате которого процветающая, как мы видели, Россия первой половины XVI века, слывшая центром балтийской торговли и одним из центров торговли

⁸⁵ А.Е. Пресняков. Апогей самодержавия, Л., 1925, ч.15.

мировой, превратилась вдруг, как слышали мы от С.М. Соловьева, в «бедный, слабый, почти неизвестный народ».

Впрочем, и задолго до Соловьева помощники Петра I и Екатерины II тоже нисколько не сомневались в том, что московитская эпопея была для страны временем исторического «небытия» и «невежества», когда русских «и за людей не считали». Например, 21 сентября 1721 года канцлер Головкин так сформулировал главную заслугу Петра: «Его неусыпными трудами и руководством мы **из тьмы небытия в бытие произведены**»⁸⁶. Четыре года спустя, уже после смерти императора, русский посол в Константинополе Иван Неплюев высказался еще более категорично. «Сей монарх **научил нас узнавать, что и мы люди**»⁸⁷. Полвека спустя подтвердил это дерзкое суждение руководитель внешней политики при Екатерине граф Панин: «Петр, **выводя народ свой из невежества**, ставил уже за великое и то, чтобы уравнять оный державам второго класса»⁸⁸. Ну, не сговорились же все эти люди, право!

Верно, есть читатели, принципиально не доверяющие в таких вопросах суждениям деятелей послепетровской эпохи, считая их предубежденными в отношении Московии. Но вот, пожалуйста, свидетельства непредубежденных современников, наблюдавших московитскую жизнь собственными глазами. Послушаем, что сказал московский генерал князь Иван Голицын польским послам: «Русским людям служить

⁸⁶ Цит. по В.О. Ключевский. Сочинения, М., 1958, т. 4, с. 206.

⁸⁷ Там же, с. 206–207.

⁸⁸ Там же.

вместе с королевскими людьми нельзя ради их прелести. Одно лето побывают с ними на службе, и у нас на другое лето не останется и половины лучших русских людей... Останется, кто стар и служить не захочет, а бедных людей ни один человек не останется»⁸⁹.

А вот самый надежный и авторитетный свидетель. Я говорю о том, как видел московитский быт русский европеец XVII века Юрий Крижанич. В другое время другой русский европеец назвал аналогичные наблюдения «сердца горестными заметами». Но вот они. «Люди наши косны разумом, ленивы и нерасторопны. Мы не способны ни к каким благородным замыслам, никаких государственных или иных мудрых разговоров вести не можем, по сравнению с политичными народами полунемы и в науках несведущи и, что хуже всего, народ пьянствует – от мала до велика»⁹⁰.

Не могу не признать, что очень меня за эти «заметы» ругали, когда я процитировал их в какой-то статье. В таком примерно духе: «Нашел на кого ссылаться. Крижанич был известный русофоб и папский шпион». Но вот Николай Александрович Бердяев, уж точно не русофоб и тем более не шпион, описывал иосифлянский рай Московии в тех же, оказывается, терминах, что и Крижанич. Судите сами: «Московское царство было почти безмысленно и безсловесно»⁹¹. И словно этого мало, добавил в другой книге: «Московский период был самым плохим в русской истории. Киевская Русь не была замкнута от Запада,

⁸⁹ С.М. Соловьев. Цит. соч., кн. 10, с. 473.

⁹⁰ Ю. Крижанич. Политика, М., 1967, с. 191.

⁹¹ Н.А. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма, Париж, 1955, с. 5.

была восприимчивее и свободнее, чем Московское царство, в удушливой атмосфере которого угасла даже святость»⁹².

Акад. В.И. Пичета, совсем не симпатизировавший идеям Крижанича, написал, тем не менее, о них целую книгу. И ударение в ней сделал отнюдь не на «шпионстве» или русофобии Крижанича, а, напротив, на том, что был он единственным в тогдашней России человеком Возрождения. «Это какой-то энциклопедист, он и историк, и философ, богослов и юрист, экономист и политик, теоретик государственного права и практический советник по вопросам внутренней и внешней политики»⁹³. Другое дело, что никто, до Петра, его советов не слушал. Но в общем, как бы ни возмущались сегодняшние иосифляне, придётся нам все-таки признать «сердца горестные заметы» Крижанича за истинную правду.

Так же, как жалобу князя Голицына и скорбное письмо патриарха Никона царю Алексею: «Ты всем проповедуешь поститься, а теперь неведомо кто и не постится ради скудости хлебной, во многих местах и до смерти постятся, потому, что есть нечего... Нет никого, кто был бы помилован: везде плач и сокрушение, нет веселящихся в дни сии»⁹⁴.

Тем более что помимо клеветы на Крижанича противопоставляют всем этим горьким свидетельствам современников сегодняшние иосифляне лишь откровенный, невыносимый вздор. Самый громогласный из них М.В. Назаров, больше просла-

⁹² Н.А. Бердяев. Русская идея, М., 1997, с. 6.

⁹³ В.М. Пичета. Ю. Крижанич, экономические и политические его взгляды, СПб, 1901, с. 13.

⁹⁴ Цит. по В.О. Ключевский, т. 3, с. 261.

вившийся, впрочем, призывом поставить еврейские организации в России вне закона, утверждает, что «Московия соединяла в себе как духовно-церковную преемственность от Иерусалима, так и имперскую преемственность в роли Третьего Рима». Естественно, «эта двойная роль сделала [тогдашнюю] Москву историсофской столицей всего мира»⁹⁵. Тем более что «русский быт стал тогда настолько православным, что в нем невозможно было отделить труд и отдых от богослужения и веры»⁹⁶. Доктор исторических наук Н.А. Нарочницкая, разумеется, поддерживает единомышленника, добавляя, пусть и слегка косноязычно, что именно «в московитские времена Русь проделала колоссальный путь всестороннего развития, не создавая противоречия между содержанием и формой»⁹⁷.

Проблема со всеми этими утверждениями лишь одна. Поскольку их авторы не могут привести в подтверждение своей правоты **ни единого факта**, читателю приходится верить им на честное слово. К несчастью для них, один единственный факт, приведенный В.О. Ключевским, не оставляет от их рассуждений камня на камне. Оказывается, что оракулом Московии в космографии был Кузьма Индикоплов, египетский монах VI века, полагавший землю четырехугольной⁹⁸. Это в эпоху Ньютона – после Коперника, Кеплера и Галилея! Вот вам и весь «колоссальный путь», вот «философская столица мира». Скорее уж, согласитесь, европейское захолустье, нечто подобное

⁹⁵ М.В. Назаров. Тайна России, М., 1999, с. 488.

⁹⁶ М.В. Назаров. Цит. соч., с. 488.

⁹⁷ Н.А. Нарочницкая. Цит. соч., с. 130.

⁹⁸ В.О. Ключевский. Цит. соч., т. 3, с. 296.

«небытию», упомянутому канцлером Головкиным. Мудрено ли, что так безжалостно отверг Петр эту «черную дыру» с ее четырехугольной землей?

Результаты следующего «выпадения из Европы» (во второй четверти XIX века) были не лучше. Но поскольку «**Загадке николаевской России**» целиком посвящен второй том трилогии, останавливаться здесь на них подробно, нет, пожалуй, смысла. Я мог бы разве что сослаться на известную резолюцию тогдашнего министра народного просвещения Ширинского-Шихматова, запретившую в России преподавание философии (обоснование было вполне достойно Кузьмы Индикоплова: «польза философии не доказана, а вред от неё возможен»⁹⁹).

Но сошлюсь лишь на приговор, вынесенный николаевской России одним из самых лояльных самодержавию современников, историком М.П. Погодиным: «Невежды славят её тишину, но это тишина кладбища, гниющего и смердящего физически и нравственно. Рабы славят её порядок, но такой порядок поведет страну не к счастью и славе, а в пропасть»¹⁰⁰. О конечных результатах последнего по счету «выпадения из Европы» говорить не стану: мои современники знают о них по собственному опыту.

А вывод из всего этого какой же? Нет, не жилось России без Европы, неизменно дичала она, впадала в иосифлянский ступор и «тишину кладбища», будь то в XVII веке, в XIX или в XX. Увы, прозрение Герцена никого в его время не научило. Не научило и поныне.

⁹⁹ А.В. Никитенко. Дневник в трех томах, М., 1950, т. 1, с. 334.

¹⁰⁰ М.П. Погодин. Историко-политические письма и записки, М., 1974, с. 259.

Во всяком случае, не мешает оно какому-нибудь православному хоругвеносцу вроде Александра Дугина бросать в молодежную толпу самоубийственный лозунг «Россия всё, остальные ничто!»

Молодежь, конечно, не знает о страшных «репетициях» отторжения от Европы, но Дугин-то знать обязан, интеллектуал вроде бы, на европейских языках читает. А вот не страшится, что в один несчастный день сбудется предостережение Герцена, традиция «долгого рабства» и впрямь победит своих соперниц, страна снова нырнет в трижды изведенную бездну – **и не вынырнет**. Не найдется у неё ни нового Петра, ни нового Александра II, ни даже нового Горбачева.

Глава 15

УПУЩЕННЫЙ ШАНС

Мало кто сомневается, что опять уподобилась петровская Россия при Александре II Европе – и опять не посмела стать Европой. Несмотря даже на то, что было это в ту пору так близко, так возможно, как никогда, – и совсем другой дорогой могла бы в этом случае пойти российская история-странница. Просто потому, что не на улице разыгрались бы при таком повороте событий политические баталии, а на подмостках народного представительства, как по общепринятым в тогдашней Европе правилам, делалось это там. И потому также, что созревала бы за оставшиеся ей полвека петровская Россия в своем новом конституционном статусе, избавлялась от смертельного недуга реванша за крымскую капитуляцию и, главное, от того, что Н.Я. Данилевский называл «иде-ей всемирного владычества».

И не состоялись бы в этом случае ни уличный террор, ни царевбийство. И не ввязалась бы в 1914 году Россия в ненужную ей и непосильную для нее мировую войну. И разочарованный Ленин отправился бы себе в Америку, как намеревался он еще за год до Октября семнадцатого. И не взяли бы в России верх большевики. И не возник бы из преисподней Сталин. И не пришел бы, стало быть, на всеевропейской анти-

коммунистической волне к власти в Германии Гитлер. И не было бы ни великой войны между двумя тиранами, ни новой опричнины, ни нового исторического тупика столетие спустя.

Можете вы представить себе Россию без Сталина? Нигилисты не могут.

ЗАГАДКА

А ведь зависело всё в ту пору от малости. От того, предпочтет ли тогдашняя Россия остаться единственным самодержавным монстром в конституционной Европе. Ведь даже такие диктаторы, как Наполеон III и Бисмарк, предпочли тогда всеобщее избирательное право. Самодержавие было безнадежно, казалось, скомпрометировано николаевской «тишиной кладбища» и постыдной Крымской капитуляцией. Под напором либералов рухнул первый и самый страшный столп наследия Грозного царя, трехсотлетнее порабощение соотечественников. Начиналась эра новой европеизации России. Как сказал один из ораторов на банкете, организованном К.Д. Кавелиным 28 декабря 1857 года, «Господа! Новым духом веет, новое время настало. Мы дожили, мы присутствуем при втором преобразовании России»¹⁰¹.

Что же помешало ей тогда расстаться и с остальными столпами иосифлянского наследия? Ведь все козыри шли, казалось, в руки. И все-таки не сделала тогда решающего шага Россия, единственного, как оказалось, способного избавить её от затянувшегося на столетия раскола страны на московитскую и

¹⁰¹ Цит. по Б.Б. Глинский. Борьба за конституцию, Спб., 1908, с. 574.

петровскую. А значит и от Сталина. Почему? Перед нами одна из самых глубоких загадок русской истории. (В трилогии я пытался очень тщательно в ней разобраться).

Может, помешало упрямство императора? Но ведь Александр II в бытность свою наследником престола был одним из самых твердокаменных противников отмены крепостного права. И, тем не менее, в необходимости крестьянской реформы убедить его удалось. Нет слов, главную роль в этом сыграла общественная атмосфера. В той атмосфере выступить против отмены рабства, было все равно, что публично объявить себя дикарём, наследником николаевской «чумы», как, по свидетельству Ивана Сергеевича Тургенева, воспринималось тогда в России «выпадение из Европы». Суть, однако, в том, что императора всё-таки переубедили.

Тем более что, по свидетельству того же К.Д. Кавелина, который знал в этих делах толк, настроения высшего сословия коренным образом по сравнению с декабристскими временами изменились. «Конституция, – писал он, – вот что составляет теперь предмет тайных и явных мечтаний и горячих надежд. Это теперь самая ходячая и любимая мысль высшего сословия»¹⁰².

Да и сам Александр Николаевич, подписывая роковым утром 1 марта 1881 года представленный ему Лорис-Меликовым проект законосовещательной Комиссии, совершенно четко представлял себе, о чем идет речь. Как записал в дневнике присутствовавший на церемонии Дмитрий Милютин, царь сказал в то утро своим сыновьям: «Я дал согласие на это пред-

¹⁰² История России в XIX веке, М., 1907, вып. 10, с. 84.

ставление. Хотя и не скрываю от себя, что мы **идем по пути к Конституции**»¹⁰³. Короче, никакого святотатства в конституционной монархии Александр II, подобно Михаилу Салтыкову два столетия назад, не усматривал. Похоже это, на «вялый пунктир либеральных поползновений», что рисует нам Пелипенко? На его «теократическую деспотию»?

Либералы, окрыленные своей эпохальной победой на крестьянском фронте, вроде бы не ослабили напора на правительство. Предводитель тверского дворянства Алексей Унковский писал, что «лучшая, наиболее разумная часть дворянства готова на значительные, не только личные, но и сословные пожертвования, но не иначе как при условии уничтожения крепостного права не для одних лишь крестьян, **но и для всего народа**»¹⁰⁴. И вторил ему депутат от новгородского дворянства Косооговский: «Крестьянский вопрос касается не только уничтожения крепостного права, **но и всякого вида рабства**»¹⁰⁵. Ну, как, право, еще яснее было сказать, что для «лучшей, наиболее разумной части дворянства» идейное наследие Грозного царя уже умерло?

Вот что докладывал царю министр внутренних дел Сергей Ланской о беседе с одним из самых авторитетных дворянских депутатов: «Он положительно высказался, что помышляет о конституции, что эта мысль распространена повсеместно в умах дворянства и что, если правительство не внемлет такому общему желанию, то должно будет ожидать весьма

¹⁰³ Д.А. Милютин. Дневник, М., 1950, т. 4, с. 62.

¹⁰⁴ Н.И. Иорданский. Конституционное движение 60-х годов, СПб., 1906, с. 69.

¹⁰⁵ Там же, с. 70.

печальных последствий»¹⁰⁶. И ведь даже в страшном сне не снились этому анонимному смельчаку, **насколько** печальными будут эти последствия. Не могла ведь, согласитесь, прийти ему в голову мысль ни о цареубийстве 1881 года, ни о расстреле царской семьи в 1918-м, ни о сталинской опричнине.

Так или иначе, в конце 1850-х сам воздух России напоен был, казалось, ожиданием чуда. Даже в Лондоне почувствовал это Герцен. «Опираясь с одной стороны на народ, – писал он царю, – с другой на всех мыслящих и образованных людей в России, нынешнее правительство могло бы сделать чудеса»¹⁰⁷. Так разве не выглядел бы именно таким чудом созыв Думы (пусть поначалу и законосовещательной), если б, как в старину, пригласил молодой император для совета и согласия «всемирных человек» (так называлось сословное представительство в досоветской Москве)? Другими словами, **согласился бы в начале царствования на то, на что согласился в конце?** И разве не пустила бы к началу XX века корни в народной толще такая Дума, созванная в обстановке всеобщей эйфории и ожидания чуда? И разве стали бы стрелять в такого царя образованные молодые люди, мечтавшие именно о том, что получила из его рук страна?

Увы, ничему этому не суждено было состояться. Одержав только что грандиозную победу на крестьянском фронте, либералы потерпели жесточайшее поражение на конституционном. Именно на том, иначе говоря, что было чревато Сталиным. И мы всё еще не знаем, почему.

¹⁰⁶ Н.И. Иорданский. Цит. соч., с. 49.

¹⁰⁷ Колокол, вып. 1, с. 14.

РАСКОЛ

Единственное решение этой загадки, которое представляется правдоподобным, состоит, как это ни парадоксально, в том, что именно отмена крестьянского рабства безнадежно расколола единый либеральный фронт. Национал-либералы, сражавшиеся плечом к плечу с либералами старого, так сказать, стиля против крепостного права, тотчас и предали своих союзников, едва согласился царь на его отмену, и они неожиданно оказались политической элитой постниколаевской России, архитекторами Великой реформы.

Вот тогда вдруг и обнаружилось, что действительной целью националистов была вовсе не «отмена всякого рабства», как полагали их вчерашние союзники, но **сильная** Россия, способная взять у коварной Европы реванш за Крымский позор. Да, для такого реванша ей следовало стать страной свободного крестьянства – в этом были они с либералами едины. Но требовалась также для реванша и мощная государственность, немислимая, с их точки зрения, без самодержавия – и тут их пути с либералами разошлись. Едва либеральные националисты стали властью, бывшие союзники оказались вдруг на противоположных сторонах баррикады – врагами.

Дореволюционные либеральные историки, пытавшиеся разгадать нашу загадку, не могли прийти в себя от изумления, обнаружив, что «даже самые прогрессивные представители правящих сфер конца пятидесятих годов считали своим долгом объявить непримиримую войну обществу»¹⁰⁸. Недоумевали,

¹⁰⁸ Н.И. Иорданский. Цит. соч., с. 86.

почему «догматика прогрессивного чиновничества не допускала и мысли о каком-либо общественном почине в деле громадной исторической важности... Просвещенный абсолютизм – дальше этого бюрократия не шла. Старые методы управления оставались в полной силе, и новое вино жизни вливалось в старые мехи полицейско-бюрократической государственности»¹⁰⁹.

Не меньше русских историков недоумевают и американские. Брюс Линкольн, написавший книгу об архитекторах Великой реформы, так и не смог объяснить, почему «европейцы практически единодушно видели в самодержавии тиранию, за разрушение которой они боролись в революциях 1789, 1830 и 1848 годов, [тогда как] русские просвещенные бюрократы приняли институт самодержавия как священный»¹¹⁰. Ближе всех подошел к разгадке, кажется, Бисмарк, который был лично знаком с талантливейшим из «молодых реформаторов». Вот его отзыв: «Николай Милютин, самый умный и смелый человек из прогрессистов, рисует себе будущую Россию крестьянским государством – с равенством, но без свободы»¹¹¹. Почему, однако, вчерашний либерал (пусть и националист) оказался вдруг противником свободы, не смог объяснить и Бисмарк.

Разгадка между тем лежала на поверхности. Идеология реванша, вдохновлявшая Милютина, превосходно объясняла как его «непримиримую борьбу с обществом», так и его пристрастие к «полицей-

¹⁰⁹ Б.Б. Глинский. Цит. соч., с. 572–573.

¹¹⁰ W.W. Bruce Lincoln. In the Vanguard of Reform, Northern Illinois Univ. Press, 1982, p. 174.

¹¹¹ Н.И. Иорданский. Цит. соч., с. 65.

ско-бюрократической государственности». Подготовка к реваншу требовала не «свободы всего народа», а концентрации власти. И уж во всяком случае, не ее ограничения. Бывшие союзники, либералы («общество») казались ему в лучшем случае наивными чудаками не от мира сего, а в худшем – отребьем, «демшизой», как принято говорить нынче.

Кто был прав в этом споре, рассудила русская история-странница: не только не добилось реванша за крымский разгром русское самодержавие, не сумело оно даже предотвратить «печальных последствий», о которых тщетно предупреждал министра Ланского его либеральный собеседник. Мечта Милютина о стране «с равенством, но без свободы» обрекла Россию на еще одну катастрофу, затянувшуюся на этот раз на три поколения.

«ВЯЛЫЙ ПУНКТИР»?

При всем том совершенно же очевидно, что первоначальный европейский импульс, заложенный в основание русской политической культуры (пусть и сильно испорченный «победной музыкой» иосифлянства), никогда не дал окончательно угаснуть тому, что Пелипенко презрительно именуется «вялым пунктиром» русской истории. На самом деле по мере созревания этого «пунктира», в XIX и XX веках история его состояла, наряду с жестокими поражениями, также из серии замечательных побед. Как мы только что видели, крестьянское рабство и впрямь ведь не выдержало либерального натиска.

Следующей победой российских либералов стало сокрушение «сакрального» самодержавия в феврале 1917. Наконец, на излете «либерального

пробуждения» 1989–1991 пала еще одна цитадель грандиозной конструкции, созданной в XVI веке тандемом иосифлян и Грозного, – империя, снова и снова претендовавшая, несмотря на все свои эпохальные поражения, на миродержавность «першего государствования». Та самая империя, что на протяжении столетий служила, согласно А.В. Карташеву, сквозной темой «победной музыки III Рима».

И вместе с империей с треском и скрежетом зашаталась и вся хитрая ловушка «политической мутации». Во всяком случае, структура ее оказалась бесстыдно обнажена. До такой степени, что не осталось сомнений: мы присутствуем при её мучительной агонии. Избавленная между 1861 и 1991 годами от всех, кроме двух, идейных и институциональных бастионов «особнячества» – т.е. от крестьянского рабства, от «сакрального самодержавия и от империи – Россия почти свободна от иосифлянского заклатья и древней «порчи» (остается лишь реванш за потерянную империю да вера в непогрешимость верховной власти), на этих последних ниточках и держится сегодня «вечное» самодержавие).

Так или иначе, у кого повернется язык назвать эту серию эпохальных побед древней традиции вольных дружинников «вялым пунктиром»? И кто усомнится, что, если есть у России будущее, то это либеральное будущее? Просто потому, что только оно способно предотвратить новое катастрофическое «выпадение» страны из Европы. Восемнадцать поколений была она, в этом Пелипенко прав, антитезой Европы, но ведь всё, что имело начало, имеет и конец. Во всяком случае, никогда еще, начиная с Судебника 1550-го и подписанного Александром II 331 год спу-

стя проекта Лорис-Меликова, не была Россия ближе к «зарю пленительного счастья», обещанной Пушкиным еще в 1818 году.

Да, в очередной раз по разным причинам сорвалось. Да, снова ошибся Пушкин, и по-прежнему не видим мы вокруг себя тех «обломков самовластья», на которых, обещал он, напишут имена его товарищей, декабристов. Но ведь все это – и проекты сокрушения самовластья, и многократные попытки его сокрушить, и, главное, само сокрушение почти всех его основ – в русской истории было! И меньше всего, согласитесь, напоминало «вялый пунктир» Пелипенко, если в 1550 году царь неожиданно оказался лишь «председателем боярской коллегии», в 1881-м согласился с тем, что страна идет к конституции, а в 1991-м, что нет для России иного пути, кроме воссоединения с Европой.

Да, тяжелым и страшным был для нее этот крестный путь. И все-таки назовите хоть одну империю с «деспотической линией» (а их в мировой истории были десятки), где было бы возможно хоть что-нибудь подобное. Готов спорить, не назовете. Я не говорю уже, что и в 1818, и в 1881-м все еще были в силе и славе и «сакральное» самовластье, и империя. Где они сейчас?

При всем том я понимаю, что пишу всё это в пору, когда читатели склонны согласиться скорее с Пелипенко, нежели со мной, когда ликующая пушкинские строки могут, чего доброго, показаться откровением городского сумасшедшего. Либеральных депрессий, породивших сегодняшний нигилизм, было, однако, в русской истории много (что, конечно же, неудивительно, имея в виду целую вечность, на протяжении

которой бродила страна по своей Синайской пустыне – скорее четыреста сорок лет, нежели сорок) – и далеко не всегда оказывались они индикаторами безнадежности будущего.

Вот лишь два примера. Первый: конец XIX – начало XX века. Время всемогущества спецслужб, этой «некомпетентной, – по словам Джорджа Кеннана, – подмены божественного Провидения»¹¹². Даже бывший начальник департамента полиции А.А. Лопухин так это время описывал: «Всё население России оказалось зависимым от личных мнений чиновников политической полиции»¹¹³. Было оно также временем всепроникающей коррупции и разочарования, упоминая о котором даже лояльный режиму национал-либерал Константин Кавелин не мог удержаться от отчаяния: «куда ни оглянись у нас, везде тупоумие и кретинизм, глупейшая рутина или растление и разврат, гражданский и всякий, вас поражают со всех сторон. Из этой гнили и падали **ничего не построишь**»¹¹⁴. Голубой ведь воды нигилизм, разве что не облеченный в культурологическую риторику: по-человечески говорили еще тогда люди, не на птичьем языке.

Так или иначе, то было время глубочайшей либеральной депрессии, когда по-настоящему популярна стала горькая некрасовская сентенция: «бывали хуже времена, но не было подлей». Куда уж, кажется, безнадежней? Кто осмелился бы тогда предположить,

¹¹² George Kennan. "The Russian Police", The Century Illustrated Magazine, vol. XXXVII, p. 892.

¹¹³ А.А. Лопухин. Настоящее и будущее русской полиции, М., 1907, с. 26.

¹¹⁴ Вестник Европы, 1909, №1, с. 9.

что пройдет не так уж много лет – и рухнет четырехсотлетнее «сакральное» самодержавие, вместе со всеми его недавно еще всемогущими спецслужбами, и страна будет бурно праздновать эту, пусть недолговечную, но все-таки замечательную либеральную победу?

Второй пример ближе к нам по времени. Начало 1980-х. Кагебешник Андропов – и с ним всё та же «некомпетентная подмена божественного Провидения» – у руля страны. Корейский авиалайнер, потопленный вместе с сотнями пассажиров. Конфронтация с Западом достигла пика. Сахаров в ссылке. На дворе «империя зла». Назовите мне смельчака, который отважился бы тогда предсказать «Московские Афины» 1989-го, не говоря уже об августе 1991-го. Я о таком не слышал. Пусть и это торжество традиции вольных дружинников было недолговечным: советская «подмена Провидения» отказалась признать своё поражение – и «персональная мифология царя Ивана» ее выручила.

Но это ведь последний резерв почти полутысячелетней «политической мутации». На что сможет она опереться в следующем кризисе? Как бы то ни было, единственное, что пытался я продемонстрировать этими примерами, очевидно: либеральные депрессии – не только не индикатор безнадежности будущего, скорее, симптом близкого краха режима.

Глава 16

«МЕНТАЛЬНЫЙ БЛОК» ЭЛИТ

Между тем реставрацию самодержавия в начале ХХI века не так уж трудно объяснить. Отчасти, конечно, тем, что крушение империи не было – да и не могло быть в советских условиях – подготовлено столь же серьезной и консолидировавшей культурную элиту страны общенациональной идейной войной, как падение крепостного права. Но главное тем, что империя с самого начала была, как мы видели, переплетена с тоской по великодержавности и «першему государствованию», глубоко за четыре столетия укорененной в подсознании поколений. Для опьяненных фанфаронской «музыкой III Рима» элит (Россия все-таки дважды побывала на сверхдержавном Олимпе: после победы над Наполеоном в ХIХ веке и после победы над Гитлером – в ХХ) империя была залогом, что никогда больше не станет она обыкновенной европейской страной.

Россия без империи представлялась им буквально голой. И реванш за ее потерю – предпоследний ресурс роковой «порчи» (последний – вера в непогрешимость верховной власти – это для масс), был серьезно недооценен реформаторами ХХ века. Возможно потому, что никогда до этого не стоял на повестке дня прежних реформ.

Историки, между тем, обнаружили исключительную мощь идеи имперского реванша давно, еще обсуждая немедленные последствия Великой реформы 1860-х. Сошлюсь на проницательного немецкого историка Андреаса Капелера, заметившего, что *«сохранение империи стало после падения крепостного права самоцелью, главной задачей русской политической жизни»*¹¹⁵. Я тоже попытался в трилогии проследить эту метаморфозу в трехтомном дневнике академика А.В. Никитенко. А.В. был национал-либералом и яростным ненавистником николаевского «особнячества». 3 сентября 1855 он записывал: «Лет пять назад москвичи провозласили, что Европа гниет, что она уже сгнила... А теперь [дело было в разгар Крымской войны] Европа доказывает нашему невежеству, нашему высокомерному презрению ее цивилизации, как она сгнила. О горе нам!»¹¹⁶.

И вот не зажили еще раны Крымской капитуляции, развенчавшей Россию как европейскую свердержаву, восстали поляки. Потребовали: одни восстановления автономии, дарованной Польше в 1815 году Александром I по решению Венского конгресса, другие, совсем обнаглели, – независимости от империи. И империя, конечно, нанесла ответный удар. Она расправилась с «сепаратистами» зверски (5 тысяч повешено, 20 тысяч депортировано в Сибирь, само имя Польши стерто с карты, переименована в Привиленский край). Европа, конечно, протестовала. И что же наш А.В.? Не узнали бы вы его, другой человек перед нами. Вчера еще, кажется, негодовал по поводу славянофильского презрения к Европе, сегодня он

¹¹⁵ *Andreas Kapeller. The Russian Empire, 2001, p. 153.*

¹¹⁶ *А.В. Никитенко. Дневник, т. 1, с. 419.*

рвется в бой против той же Европы. Еще бы, «Европа хочет отнять у России суверенное право великой державы – и Россия должна уступить?»¹¹⁷ «Величие» суверенной державы, оказалось, в том, что ей позволено делать со своей мятежной провинцией все, что ей заблагорассудится? Да, да, именно в этом! И если понадобится, за это А.В. готов воевать. Более того, горит нетерпением: «Все показывает, что государь решился на войну. Пора, пора...»¹¹⁸.

И разве один он такой? 31 мая 1863: «Встретился с Тютчевым. – Война или мир? – Война, без всякого сомнения. Встретил также А.М. Малеина, ныне управляющего делами Министерства иностранных дел. – Война или мир? – Война, без всякого сомнения»¹¹⁹. И вообще нет худа без добра – это 11 июня – «Печальные наши обстоятельства послужили выказаться великой нашей национальной мысли, что союз народа с государем несокрушимо крепок»¹²⁰. Это от вчерашнего ненавистника Николая. И правда же, нескончаемым потоком шли в адрес государя петиции – от дворянских собраний и городских дум, от университетов, от крестьянских обществ и старообрядцев, само собой от московского митрополита Филарета – и все об одном: реванш, реванш за крымский позор, война! Это было полтора столетия назад.

Так что же, право, удивляться, что так много нашлось и в наши дни плакальчиков по отпавшей, как сухой лист, от дерева страны империи? Что точно так же, как во второй четверти XIX века, когда главным

¹¹⁷ А.В. Никитенко. Цит. соч., т. 1, с. 351.

¹¹⁸ Там же, с. 339.

¹¹⁹ Там же, с. 333.

¹²⁰ Там же.

вопросом эпохи была в России крестьянская свобода, первую скрипку играли крепостники, сейчас, в эпоху крушения империи, – а это без сомнения не одномоментное событие, не встреча в Вискулях, а эпоха – заполонили политическую сцену реваншисты? Потому и сравниваю я всю дорогу две эти переломные в истории страны эпохи.

Как шло тогда дело? Крепостники убедительно доказывали, что, говоря словами известного тогда поэта Сумарокова, «свобода крестьянская пагубна для России». И по поручению смоленского дворянства высокомерно поучал императора (Николая I, между прочим) их губернский предводитель князь Друцкой-Соколинский, что отмена крепостного права, приведет к одному: «стремление к свободе разольется и в России, как это было на Западе, таким разрушительным потоком, который сокрушит всё ее гражданское и государственное благоустройство»¹²¹.

Убедительный аргумент? Правильный? И впрямь ведь разлился в России после отмены крепостного права «поток свободы, как на Западе». И уже на следующий день поставили, как мы видели, российские либералы вопрос об отмене самодержавия. Свобода опасна, говорил князь, и с архаическим «благоустройством» несовместна. Бесспорно, он был прав. Но что же из его правоты следовало? Что нужно держать в неволе большинство соотечественников до скончания века? Или что надо приспособить «государственное благоустройство» к требованиям свободы?

Вот и подошли мы к главной особенности «особняческого» благоустройства, к особенности, из-за которой власть в России всегда опаздывала. И всегда

¹²¹ В. О. Ключевский. Цит. соч., т. 5, с. 380.

предпочитала неволю адаптации к требованиям свободы. Мешал ментальный блок элит, покоившийся все на тех же четырех иосифлянских нововведениях, которые мы так подробно обсуждали. Его, этого ментального блока, смертельно боялся даже такой, казалось бы, всемогущий диктатор, как Николай I. Вспомните его ответ на скромное предложение графа Киселева обязать помещиков заключать договоры с крестьянами: «Я, конечно, самодержавный и самовластный, но на такую меру никогда не решусь»¹²².

Именно из-за этого «блока» на полстолетия опоздала Россия с отменой крепостного права. Из-за него же не стала она конституционной, потеряв, таким образом, в отличие от многих европейских стран, возможность сохранить монархию в XXI веке. Не поняла, другими словами, знаменитую максиму графа Гейдена, что «единственный способ сохранить монархию – ее ограничить». И причиной тому не был некий средневековый «синкретизм», как думает Пелипенко, а вполне реальное «языческое особенчество», имеющее точную дату возникновения и обратный адрес. Причиной было преобладание в российских элитах, начиная со второй половины XVI века, иосифлянской ментальности – с её «музыкой III Рима», с её готовностью смириться ради этой «музыки» с порабощением соотечественников и с произволом неограниченной власти, с её неспособностью вовремя адаптироваться к требованиям свободы. Одним словом, причиной было ментальное «замораживание», одолевавшее иосифлянское большинство российских элит всякий раз, когда очередной вызов истории требовал адекватного ответа.

¹²² Там же, с. 70.

Верно, что в XIX–XX веках история, инструментом которой выступали либералы, безжалостно эту ментальность ломала. Но, как правило, лишь в конечном счете. Лишь после того, как доводили российские элиты дело до упора, до национальной катастрофы, до крови. Отменить крепостное право согласились они лишь после Крымской капитуляции. Ввести «конституцию» (пусть половинчатую, всего лишь «конституционное самодержавие», по выражению Макса Вебера) – после позорной японской войны. Отказаться от «сакрального» самодержавия – после эпохальных поражений в мировой войне. Отречься от империи – когда рушилась советская власть и взяла её за горло костлявая рука голода. В одной строфе точно схватил причину этого рокового опоздания покойный Булат Окуджава (мир праху его!)

Нам нужен шок, прямой и верный,
удар по темечку лихой.
Иначе – ада запах серный
плывет над нашей головой.

ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ НИГИЛИСТОВ

В этом, собственно, и состоит решающая разница между «ментальным блоком» элит и хрупким, ломким «блоком» масс, который обсуждали мы в гл. 12. Судя по опыту второй половины 1980-х, тот распадается, едва телевидение превращается из оружия массового поражения в руках режима в свободный и ясный голос истины. Но, – ловит меня за руку нигилист, – для такого превращения нужна властная воля лидера и элит. Без гласности, т.е. без распада «ментального блока» элит, не рухнул бы и «блок»

масс. Короче, никуда не денешься, не разбив яйца, не получишь яичницу. Заколдованный круг.

И сколько бы ни привел я исторических аргументов в пользу кардинального отличия гибрида самодержавной государственности от деспотии, и как бы неопровержимо они ни выглядели, с точки зрения повседневной действительности, кладут на стол свой последний, неотразимый, по их мнению, козырь нигилисты, цена всем моим аргументам копейка. Ибо покончить с гибридом сегодня можно лишь теми же тремя способами, что и с древней деспотией – либо полным истощением ресурсов системы (и угрозой голода), либо внешнеполитическим шоком (как писал Окуджава), либо концом тирана.

Что ж, проецируя историю вспять – из сегодняшнего дня в прошлое – нигилисты по-своему правы: распадается гибрид по тем же причинам, что и деспотия. И впрямь ведь, сегодняшнему интеллигентному обывателю не холодно и не жарко оттого, что послезавтра – тем более послепослезавтра – гибрид откатится в фазу реформы, и дети его, или внуки, будут жить в условиях свободы. Он-то страдает от несвободы **сегодня** и выбор перед ним **тот же**, живи он в деспотии или в самодержавной государственности: отречься либо от родины, либо от свободы.

Но, во-первых, непонятно, к кому он, этот гипотетический интеллигентный обыватель предъявляет претензии. Да, история его страны, которую Герцен, как мы помним, назвал «долгим рабством» – жестокая вещь. И сегодняшняя несвобода лишь результат этой истории. Во-вторых, что еще важнее, будь Россия и впрямь деспотией, он, обыватель, вообще не заподозрил бы, как мы тоже знаем еще от Аристоте-

ля, что **страдает от несвободы**. Для раба несвобода столь же естественное условие жизни, как, скажем, смена времен года. Не страдает же он оттого, что осень сменяется зимой, так всегда было и так всегда будет.

Страдать от несвободы есть родовой признак **свободного** человека. Во всяком случае, именно здесь проводил Аристотель границу между людьми и рабами. И поэтому, настаивая на русском деспотизме, нигилисты отказывают, по сути, своему народу в статусе людей, приговаривая его не к «долгому», а к **вечному** рабству.

Попробую показать разницу на примере того же Герцена. Вот, что писал он в самую страшную свою минуту, когда, вступившись в 1863-м за поляков, оказался от один против всех: «Если наш вызов не находит сочувствия, если в эту темную ночь ни один разумный луч не может проникнуть и ни одно отрезвляющее слова не может быть слышно за шумом патриотической оргии, мы остаемся одни с нашим протестом, но не оставим его. Повторять будем мы его, чтобы было свидетельство, что во время общего опьянения узким патриотизмом были же люди, которые чувствовали в себе силу отречься от гниющей империи во имя будущей России, имели силу подвергнуться **обинению в измене** во имя любви к народу русскому»¹²³.

С точки зрения, которую предлагаю я здесь читателю, это образец речи свободного человека. Даже отвергнутый отечеством отказался он от выбора, который, по мнению нигилистов, стоит перед обывате-

¹²³ Цит. по Александр Янов «Альтернатива», Молодой коммунист, 1974, № 2, с. 77.

лем: не отрекся ни от родины, ни от свободы, лишь констатировал, что «мы не рабы нашей любви к родине, как не рабы ни в чем. Свободный человек не может признать такой зависимости от родного края, которая заставила бы его участвовать в деле, противном его совести»¹²⁴. Так отвечал нигилистам лучший из лучших сынов России, лишая их последнего козыря.

Назовите это, если угодно, моей «персональной мифологией», но я верю, что есть в России молодые умы (всегда, история мне свидетель, были) – для которых СВОБОДА важнее не только империи, но и всего, «что противно их совести». Им эта глава и посвящается.

¹²⁴ Там же.

Глава 17

ПОСЛЕДНЯЯ РЕПЛИКА ОППОНЕНТА

Андрей ПЕЛИПЕНКО (главный научный сотрудник Российского института культурологии)

НЕ БЫЛО НИКАКИХ «МОСКОВСКИХ АФИН» И МОСКОВСКИХ ПЕРИКЛОВ

К сожалению, мне не удалось из-за болезни присутствовать на обсуждении доклада Александра Янова. Но поскольку уважаемый Александр Львович назначил меня не только выразителем идей либеральной культурологии, но и удостоил достаточно развернутой критики, я должен хотя бы коротко на нее ответить.

Надо сказать, что я уже имел опыт обсуждения данной темы с Александром Львовичем по Интернету. Однако, при всей корректности и взаимной доброжелательности стиля дискуссии, содержательных плодов она не принесла и затухла по причине непреодолимых парадигматических и отчасти мировоззренческих различий.

Суждения А. Янова касаются многих аспектов и нюансов темы, и ответить на них столь же подробно я не возьмусь. Остановлюсь лишь на самом главном, не придираясь к деталям.

Прежде всего, должен признаться, что не являюсь либералом par excellence. И не только потому, что ди-

хотомия «либерализм-авторитаризм» (или нечто синонимическое) представляется мне донельзя узкой и, по сути, исторически исчерпанной. По своим политическим воззрениям я скорее эксперт-крат. Но коли уж Александру Львовичу угодно считать меня либералом, то перед лицом оппонентов из авторитарного лагеря спорить с этим не стану.

Если одним словом охарактеризовать мои претензии к тому подходу, посредством которого уважаемый автор интерпретирует российскую историю и мои скромные о ней суждения, то это слово – **передергивание**. Как известно, ложь страшна теми крупными правдами, которые в ней растворены (Кант). Читая рассуждения Янова о «европейском столетии» и отмечая эти самые крупницы правды, ловишь себя на мысли о невообразимом передергивании исторических фактов и фантастичности интерпретаций.

Автор подробнейшим образом смакует и раздувает в значении все, что только можно различить на чахлом поле российского либерализма. Но об авторитарной традиции, которая всегда одной левой давила все эти жалкие ростки, говорится вскользь, неохотно и походя. Порой кажется, что только высокий профессионализм с трудом удерживает автора от того, чтобы объявить все эти «давилки», действовавшие и в столь любимом им (и им же придуманном) «европейском столетии», досадными случайностями.

Да, при Иване III и его ближайших преемниках имело место некоторое равновесие векторов и форм исторической эволюции: имперского в своей тенденции государства (Казанское ханство, кстати, было присоединено за 12 лет до опричнины) и национального феодализма в общеевропейском мейнстриме. Но... «европейское столетие»?

Не было никаких «Московских Афин» и, соответственно, московских периклов! Почему мы не должны доверять свидетельствам иностранцев – того же Герберштейна, в конце концов? Общий строй московских порядков уже в «европейское столетие» вполне оформился в «тяглое государство» (термин А. Буровского). А нам что-то говорят про «Афины» ...

По мнению автора, я не заметил и не оценил должным образом реформ Избранной рады. Но дело в том, что, будучи не историком, а культурологом, я интересуюсь не событиями в их историческом измерении, а их общекультурными последствиями. Неужели это различие нуждается в разъяснениях?

Александр Львович явно передергивает, приписывая мне мысль о начале российской истории с Ивана Грозного, со второй половины его царствования. Это не история началась при Иване Грозном, это глобальное макроисторическое противостояние между российской (инверсионной) и западной (медиационной) культурно-цивилизационными моделями стало определено оформляться примерно с того времени. Не больше, не меньше. И, мне кажется, я выражал эту мысль в своих работах (в том числе и в цитированной автором) достаточно ясно. Вот почему канувшие в Лету итоги реформ Избранной рады, сколь угодно важные для историка, для меня особого значения не имеют. В этом нет пренебрежения историческими фактами. Это просто другой масштаб видения проблемы и другая парадигматика интерпретаций.

Автора явно задела моя «графическая» метафора о том, что либеральная линия в российской истории представляет собой вялый пунктир, тогда как по мнению Янова – полнокровную линию (если не более

того). **Настаиваю – именно вялый пунктир. Да и то лишь в лучшем случае!**

Я опускаю здесь соблазнительную возможность попридираться к автору по поводу его экстраполяции понятия «либерализм» на другие исторические эпохи, которую он осуществляет с легкостью необыкновенной. Чего стоят хотя бы «нестыжатели-либералы»! Обращусь к самой сути спора.

Суть эта, по моему мнению, состоит в том, что следует принципиально различать мир идей и сферу социально-политических практик. Идеи в обществе могут рождаться самые разнообразные, в том числе и наиболее прогрессивнейшие. Однако ставить их на одну доску с политическими практиками – **либо недомыслие, либо сознательное шулерство.**

Кстати, когда я впервые услышал выступление Янова на семинаре А.С. Ахизера, то просто не поверил, что столь фантастически преобразованную картину российской либеральной традиции можно рисовать всерьез. Тогда я, грешным делом, заподозрил автора в либеральной ангажированности. И лишь убедившись в его несомненной профессиональной честности и искренности, избавился от этих подозрений.

Наиболее поразительный пример смешивания идей и практик у Янова касается даже не его любимого героя – Ивана III, а другого «фаворита» русского либерализма – Михаила Салтыкова с его конституцией 1610 года. Можно, разумеется, спорить, настолько ли уж эта конституция была либеральна – в частности, в вопросе о крепостном праве. Но суть дела все же не в этом. Она в том, что конституция Салтыкова никак не отразилась на современных ей политических практиках, т.е. осталась в области истории идей. И кон-

статация этого гораздо важнее любых рассуждений о ее прогрессивности и прочих достоинствах.

Но совсем уж трогательно звучит довод автора, что наработки этой конституции со временем оказались востребованными: «... три столетия спустя проект Салтыкова был и впрямь воплощен в жизнь в Основном законе конституционной монархии 1906 года». Хорошо же развивалась на Руси либеральная традиция, если в 1906 году оказались актуальными идеи трехсотлетней давности! Странно, что автор не понимает, что предоставляет дополнительную (и выразительную) аргументацию не сторонникам своим, а оппонентам. А говорить об отмене крепостного права в 1861(!!!) году как о «блестящей победе» либерализма, как, впрочем, и о других «победах» из приводимого автором ряда, можно, как мне кажется, лишь с позиций очень утонченного чувства юмора.

Чтобы глубже укоренить Россию в Европе, Янов объявляет неприемлемым использование применительно к ней понятия деспотизм. Я не стану касаться смысловых разночтений этого понятия, имеющих место в общегуманитарном, историческом и культурологическом контекстах. **Есть такой не очень чистый риторический приемчик: когда нечего ответить по существу, начинают придирааться к терминам.** И Александр Львович объясняет мне, как школьнику, что термин «деспотия» к России неприменим, а в доказательство рассказывает о монаршей собственности на землю в Китае и Турции, по отношению к которым данный термин уместен. Таким образом, мне и другим «либеральным авторам», коих автор уличает в «изначально ложной» установке, предлагается уяснить,

что Иван Грозный – это не Навуходоносор и не Цинь Шихуанди. А в подтексте слышится: «Не все еще потеряно, не все!»

Спасибо, просветили: в основе всего – собственность на землю. Конечно, конечно – производительные силы, производственные отношения, азиатский способ производства... **Помню все это, помню. Но меня почему-то мучает вопрос: приходило ли в голову кому-либо из психически вменяемых граждан СССР поверять поступки тов. Сталина на их соответствие закону, не говоря уже о нормах права? Чем он владел, какой собственностью? И не поважнее ли будет такая независимость политической практики от каких-либо писанных норм, имевшая место на Руси не только в сталинские времена, пресловутой формальной собственности на землю?**

Да, Россия – не азиатская деспотия, и я не сомневаюсь, что все авторы, использующие применительно к ней данный термин, выражаются в той или иной степени метафорично. Но метафора эта не столь уж далека от действительности, как может показаться на первый взгляд, если рассуждать не формально. Хотя, соглашусь, степень метафоричности следует пояснять в каждом конкретном случае.

Отдаю себе отчет в том, что мои замечания о докладе Янова и его книге, которым я не склонен отказывать в содержательности и насыщенности конкретным материалом, обрывочны, бессистемны и, конечно же, методологически эклектичны и некорректны. Строго говоря, было бы корректно, став на позицию историка, провести имманентную критику взглядов автора, уличая его в том, что он видит лишь то, что хочет видеть. А затем, выйдя на позицию культуроло-

га, проинтерпретировать полученные выводы. Однако для этого потребовалось бы проделать весьма трудоемкую работу и изложить ее результаты в отдельной книге...

Можно было бы, правда, порассуждать еще и о том, как и в чем Александр Львович видит источник оптимизма для либерального будущего России. Однако и в данном случае ограничусь лишь самыми короткими замечаниями.

Какие бы счастливые метаморфозы ни ожидали «либеральную линию», я не могу себе представить Россию, входящую в Европу вместе со всеми своими Башкириями, Калмыкиями, Якутиями и Чечней. Просто не хватает фантазии – ни исторической, ни литературной. Да и у наиболее продвинутых регионов тоже не может не быть больших проблем с таким вхождением, даже при самых фантастически благоприятных условиях.

Но здесь хоть можно говорить о какой-то надежде. В том смысле, что **либеральное будущее России неизбежно обуславливается ее распадом** и регионализацией. При этом внешний рисунок распада может выглядеть обусловленным геополитическими, экономическими и тому подобными факторами, но за ними неизбежно проступит глубинный фактор – культурно-цивилизационный.

Таков экзамен, который ждет Россию в ближайшем будущем. Это будет жестокий исторический урок. Но зато прекратятся, наконец, все тошнотворные «русские» разговоры с расковыриванием язв и бесконечным обсуждением заведомо не решаемых вопросов, которые просто боятся решать.

Однако есть и еще один, гораздо более тревожный и неприятный вопрос, глубоко табуированный в созна-

нии российского либерала. Вопрос звучит так: а есть ли либеральное будущее у самой Европы (в широком ее понимании)? Не пришел ли поезд европейского либерализма, за которым бежало, задрав штаны, российское просвещенное общество, на конечную станцию? Не размылся ли за последние лет сто этот, казалось бы, незыблемый кисельный бережок?

Но нет, не буду начинать эту сложную и болезненную тему. Тем более что Александр Янов, как истинный рыцарь либерализма, данного вопроса не касается. Остается разве что сказать, что для меня лично тема России – периферийная. А также принести извинения – не ритуальные, а вполне искренние – за некоторую полемическую резкость и заверить Александра Львовича в не менее искреннем моем к нему уважении.

ВЫНУЖДЕННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Тут моя ситуация сложнее. Пять глав (12–16, «Мой второй фронт» Часть вторая) посвятил я подробному и внимательному разбору эссе покойного Андрея Анатольевича о прошлом и будущем России. Понятно, что отвечал я не только ему, но в его лице всему нигилистическому сообществу. Буквально, переворочил русскую историю, чтобы сделать свой ответ убедительным. Не для одних нигилистов, но, что для меня важнее, для читателей, которых пригласил в судьбу нашего спора.

И тут случилось самое ужасное из всего, что могло случиться: ответив на мои усилия насмешливой, чтоб не сказать издевательской, репликой, Андрей Анатольевич безвременно ушел (мир праху его!). Ушел. Помимо соболезнования и скорби, которые я уже выразил во вступлении к этому блоку глав, не

могу не сказать, что меня он оставил перед особенно мучительной дилеммой: смею ли я, вправе ли комментировать насмешки и оскорбления, которыми он со мною простился, когда его уже нет? А если завтра уйду я, так они и останутся эпитафией нашему спору? А ведь были они, оскорбления. Тяжелые, как гири, непростительные. Ни от кого за всю долгую свою жизнь не приходилось мне слышать ничего подобного. Тем более, если отделить шипы от роз...

Много ли остается мне добавить в ответ на критику уважаемых наших нигилистов после ПЯТИ глав, где каждый их аргумент разобран по косточкам в контексте истории самодержавной государственности? Разве несколько слов об одном из чистосердечных признаний А.А. Пелипенко: «Я интересуюсь не событиями в их историческом измерении, а их общекультурными последствиями». Словно и впрямь можно что-нибудь путное сказать о последствиях «событий в их историческом измерении», понятия не имея об этих событиях? То есть рассуждать о последствиях неизвестно чего?

Я, было, подумал, что это оговорка. Слишком уж легкомысленное высказывание. Но нет, уважаемый А.А. настаивает, что разногласия наши «парадигматические», т.е. неразрешимые, и на этом закрывает тему. Не преминув, впрочем, упрекнуть меня в «невообразимом передергивании исторических фактов и фантастичности интерпретаций». Хорошо, к интерпретациям мы еще вернемся, начнем с «передергиваний». Вот образец.

В эссе, с которого начался наш спор, уважаемый А.А. писал: «С эпохи Ивана Грозного Русь обозначилась для Европы как внешняя имперская антитеза».

Я возражал: «Тут проблема. Состоит она в том, что русская история не начинается с Ивана Грозного. И с империи не начинается она тоже». Как видите, никакого «передергивания», просто констатация факта. Подразумевался совершенно очевидный вопрос, вокруг которого, собственно, и завязалась дискуссия: почему «антитезой Европы» Россия стала лишь с эпохи Ивана Грозного, а НЕ с начала своей государственности? Ведь начиналась она еще за столетие до государственного переворота, совершенного царем в 1560-е. И ДО этого переворота, как свидетельствует уважаемый А.А., никакой «антитезой Европе» не была. Так не понадобился ли этот переворот именно для того, чтобы она такой «антитезой» стала?

Короче, единственный действительно спорный вопрос касался того, ПОЧЕМУ до «опричного» переворота «антитезой Европе» Русь не была. Мой ответ читатель знает: потому, что была обыкновенной европейской абсолютной монархией. Но как же сейчас, на закате спора, после долгой, затянувшейся на годы дискуссии, отвечает на этот вопрос уважаемый А.А.? Никак. Просто пересказывает другими словами мысль своего исходного эссе.

Вот текст. «Александр Львович явно передергивает, приписывая мне мысль о начале русской истории с Ивана Грозного ...Это не история началась при Иване Грозном, это глобальное макроисторическое противостояние между российской... и западной... культурно-цивилизационной моделями». Не в лоб, так по лбу. Ей богу, лишь множеством слов отличается этот текст от четкой формулы «антитеза Европе» в исходном эссе. Но разве об этом был спор, об этом копыя ломались?

Только ведь идиот мог «приписать» солидному ученому мысль «о начале русской истории с Ивана Грозного», когда любой школьник знает, что началась она полутысячелетием раньше. Поскольку уважаемый А.А. едва ли держит меня за идиота, как говорят в Одессе, приходится допустить, что он лишь делает вид, что не понял смысла моего возражения. Понял только, что ответа на спорный вопрос у него **нет**. «Не было никаких Московских Афин!», хотя очевидец (Иосиф Волоцкий) свидетельствует, что были. Того не было, этого не было. Долой! Но спорный-то вопрос: почему все же не стала Русь до опричного переворота «антитезой Европе», так и повис в воздухе. Не имеет оппонент понятия о «событиях в их историческом измерении», предшествовавших перевороту.

Но уступим на минуту уважаемому А.А., все-таки рекомендует себя человек «эксперткратом» (хорошо бы еще, правда, знать, с чем это едят), согласимся, что «общекультурные последствия» можно обсуждать независимо от исторических событий, последствиями, которых они являются. У меня, понятно, нет возможности повторять здесь все, что уже было сказано об этих «общекультурных последствиях». Ограничимся двумя.

1. ВЕЛИКАЯ РЕФОРМА 1860-х

В общекультурном значении этого «последствия» наш эксперткрат вроде бы не сомневается. Еще бы! Усомниться в величии события, сделавшего свободными сотни тысяч рабов, которых можно было продать порознь, т.е. детей отдельно от матерей и мужей отдельно от жен, было бы кощунством.

Сомневается поэтому уважаемый А.А. в другом. В том, что «говорить об отмене крепостного права в 1861 (!!!) году как о «блестящей победе» либерализма ... можно, как мне кажется, лишь с позиций утонченного юмора».

Странное, согласитесь, заявление (впрочем, в устах «нигилиста навыворот» привычное). Странное потому, что напрашивается на очевидный вопрос: кто же еще, кроме либералов, как западников, так и славянофилов, боролся во второй половине XIX века за отмену крепостного права? Чья еще могла это быть победа? О чем бы ни говорили, о чем ни писали либералы, тема «разрушения Карфагена» звучала и в их стихах, и в их конституционных проектах, и в их пьесах и памфлетах, и в их диссертациях, даже в письмах. Вот смотрите.

«Стыдно и непонятно, как мы можем называть себя христианами и держать в рабстве своих братьев и сестер»

(Алексей Кошелев)

«Там, где учат грамоте, там от большого количества народа не скроешь, что рабство – это уродливость, и что свобода, коей они лишены, такая же неотъемлемая собственность человека, как воздух, вода и солнце»

(Петр Вяземский)

«Покуда Россия остается страной рабовладельцев, у нее нет права на нравственное значение»

(Алексей Хомяков)

«Рабство должно быть решительно уничтожено»

(Павел Пестель)

«Раб, прикоснувшийся к русской земле, становится свободным»

(Из проекта Конституции Никиты Муравьева)

«Восстаньте, падшие рабы!»

(Александр Пушкин)

В трилогии я назвал это «либеральной мономанией», создавшей в стране атмосферу нетерпимости к рабству, атмосферу, в которой всякий, кто был против его отмены, тотчас становился нерукопожатным. Коренным образом изменилась «ментальность» общества, говоря современным языком. И одним из первых, кто не устоял перед этим изменением ментальности, оказался сам Император Александр Николаевич, который при жизни отца был твердокаменным противником отмены крепостного права.

Нет спора, гром европейских пушек, принудивших николаевские армии к капитуляции, помог. Но могли ли иностранные пушки определить **направление** внутривососсийских реформ, что, вероятно, и имеет в виду уважаемый эксперт-охранитель, надсмехаясь над либералами? Свидетельствуют об этом даже ближайшие к нам события. Много ли изменило в Ираке вторжение войск Буша, и последовавшая за ним гражданская война между шиитами и суннитами? Даже не запахло победой либерализма, во имя которой вторгались. А в постниколаевской России без всякого вторжения победили именно либералы.

Именно их «Карфаген» был разрушен. Очевидно же откуда эта разница. Так прилично ли серьезному ученому над победой либералов надсмехаться?

Увы, не получается у «нигилиста навыворот» объяснение общекультурных последствий «событий в их историческом измерении», едва отвлекается он от этих событий. В чем же я «передергиваю» и что «фантастически интерпретирую»?

2. ЕЩЕ ОДНА ЛОВУШКА ДЛЯ НИГИЛИСТОВ

Как видели мы в главе 7 «Самодержавная государственность», решающим последствием революции 1560-х было создание гибридной государственности, существенно отличавшейся как от азиатского деспотизма, так и от европейской абсолютной монархии. Основные ее черты обсудили мы как в упомянутой главе 7, так и в 12-16. Но были и не основные, которые тоже требуют обсуждения в свете нашего спора с «нигилистами навыворот». Я имею в виду в частности, уничтожение крестьянской собственности на землю, сложившейся в Европейском столетии и трансформацию бывших служебных владений в «вотчинную» (т.е. частную, неотчуждаемую) собственность. В главе 9 «О дружественной критике» я попытался описать роковые последствия этих изменений для новой, рабовладельческой аристократии, возникшей после отмены «Юрьева дня». Вот и послушаем, что думают о них наши нигилисты.

Сразу скажу, что с моей точки зрения одним из главных «общекультурных последствий» этих событий была странная, нигде больше в мире не наблюдавшаяся, **двойственность** диктатуры: «сакральная» власть царя каким-то образом сосуществовала с дик-

татурой новых «вотчинников». Причем интересная, возможно, актуальная деталь: едва самодержец хоть чуть-чуть, хоть самую малость начинал колебаться в своем курсе, так тотчас и наткнулся на жесткое сопротивление своих, если хотите, со-диктаторов. Я все о том же крепостном праве, с которым у Николая I были очень сложные отношения. Ему случалось в одной и той же речи (30 марта 1842 года) высказывать прямо противоположные суждения. С одной стороны, что «нет сомнения, крепостное право у нас есть зло для всех ощутительное и очевидное». С другой стороны, однако, «всякий помысел о его отмене был бы не что иное, как преступное посягательство на общественное спокойствие и на благо государства».

При всем том был Николай у крепостников на подозрении, они-то никакого зла в своей «крещеной собственности» не усматривали и готовы были стоять за нее насмерть. И самодержец смиренно, чтоб не сказать трусливо, как мы увидим, отступал. Так вот...

Но стоп. Тут заминка. Соавтор и единомышленник нашего экспертократа И.Г. Яковенко во всеулышание заявил в дискуссии: «Я настаиваю, что ни в Московии, ни Российской империи, ни в Советском союзе, ни в постсоветской России частной собственности никогда не было, и нет». Словно бы Игорь Григорьевич никогда не слышал ни слова «вотчины», постоянно противопоставлявшегося в источниках слову «помесьтя» как условного, на время службы держания, по крайней мере, с XV века, ни даже выражения «крепостное право», целиком основанного на частной собственности. Или забыл со школьных времен?

Или просто догма обязывает? Сказал ведь «А»: «Что такое российское государство? Как я понимаю,

это идеологически санкционированная деспотия», надо сказать и «Б». Вот И.Г. и говорит: «В деспотии собственник один – “верховный властитель”. Все остальное – “квази-собственность”, которая может быть отнята, обменена, конфискована». Совсем зарпортовался Игорь Григорьевич. Выходит ведь, что крепостник был в России один – царь. И в любой момент мог он отнять у помещиков их «квасисобственность». Очевидный ведь вздор получается. Но тут на выручку зарпортовавшемуся соавтору спешит единомышленник, уважаемый А.А. Признает, пусть сквозь зубы: «Да, Россия – не азиатская деспотия, и я не сомневаюсь, что все авторы, использующие применительно к ней данный термин, выражаются в той или степени метафорично».

Вот как значит, вся логика И.Г., оказывается, не более чем метафора? Несмотря даже на то, что высказывался он в дискуссии очень даже категорически («я настаиваю»). Но допустим, что слушатели просто не поняли так хорошо запрятанной метафоры, ловушка-то все равно захлопнулась. Да, не принадлежит Россия к семейству азиатских деспотий. Но к какому семейству она в таком случае принадлежит? К европейскому? Не может быть и речи, продолжает рассуждать уважаемый А.А.: «Метафора [И.Г.] не столь уж далека от действительности, как может показаться на первый взгляд, если рассуждать не формально». Значит, и к европейскому семейству не принадлежит Россия. К какому тогда?

Логика буквально наталкивает нигилистов на очевидный вывод: должна была существовать какая-то еще форма политической организации, кардинально отличавшаяся как от азиатской деспотии,

так и от европейской абсолютной монархии (как помнит читатель, ее и я назвал я «самодержавной государственностью»). Но нет, не могут нигилисты оторваться от пуповины: пусть российская деспотия Яковенко и метафора, но все равно «метафора эта не столь уж далека от действительности» у Пелипенко. Ну да бог с ними, пусть остаются в своей «деспотической» ловушке. Сами ее для себя создали.

3. ПРИЧУДЫ САМОДЕРЖАВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Вот только отвлекли они меня своей «деспотической» риторикой от обсуждения еще одной важной особенности самодержавной государственности, которую, боюсь, бессмысленно после всего сказанного обсуждать с нигилистами. Толку от них... Что ж, продолжим с читателем.

Частично рассказал я уже в главах 12–16 о двух отнюдь не тривиальных эпизодах царствования Николая I (одного из четырех, как мы помним, царей в российской истории, при которых «сакральная» власть максимально приблизилась к деспотической). Единственной своей слабостью обязан он был, как это ни парадоксально, декабристам (и дернула же его нелегкая допрашивать их лично). Рассказ их о том, что вытворяют помещики со своими крестьянами, потряс царя до глубины души. На всю жизнь! Он приказал своему секретарю Боровкову сделать свод декабристских показаний и хранил его в своем кабинете – до конца своих дней. И регулярно давал его в наставление, «дабы могли они извлечь из сих сведений возможную пользу», всем шести, как думал В.О. Ключевский, или девяти, как полагал великий знаток крестьянского

вопроса В.И. Семевский, или даже десяти, как подсчитал Брюс Линкольн, секретным и весьма секретным комитетам, которым поручал как-то облегчить судьбу крепостных. Больше ста царских указов было с этой целью издано. И всё впустую.

Чтобы читатель получил представление об этом знаменитом своде, вот маленький отрывок: «Помещики неистовствуют над своими крестьянами. Продавать в розницу семьи, похищать невинность, развращать крестьянских жен считается ни во что и делается явно». Понятно теперь, что мучило всемогущего императора? В его царстве был беспорядок, жестокий, ужасный беспорядок. Беспорядка он терпеть не мог. Но и поделаться с ним ничего не мог тоже, не приставишь же к каждому помещику жандарма. А «отнять, обменять, конфисковать», что слышали мы от нигилистов, существовало лишь в их возбужденном воображении. Именно к «священной частной собственности» апеллировали крепостники. И бессилен был против этого аргумента самодержец.

Смирненно выслушал он высокомерное поучение предводителя смоленского дворянства, что уполномочившее его общество ни малейшего посягательства на священное право собственности не потерпит. Василий Осипович Ключевский так этот эпизод комментировал: «Едва ли какой конституционный монарх с таким молчаливым терпением выслушивал от своего подданного урок и такой вздорный урок, как это сделал самодержавнейший». Еще интереснее, что ответил на этот урок император. «Земля, – сказал он, – заслуженная нами, дворянами, или предками нашими, есть **наша, дворянская**. Заметьте, что я говорю с вами, как **первый дворянин в государстве**».

Должно ли удивить нас после этого, что на замечание графа П.Д. Киселева «помещики едва ли станут заключать договора с крестьянами, если их не обязать» первый дворянин ответил: «Я, конечно, самодержавный и самовластный, но на такую меру никогда не решусь»? А теперь сопоставьте это со знаменитым восклицанием Павла I: «Только тот вельможа в моем государстве, с кем я разговариваю, и пока я с ним говорю». Небо и земля, не правда ли?

Вот я и говорю о двойственности диктатуры в самодержавной государственности. Едва почувствовала элита уязвимость «сакральной» власти, как тотчас дала ей понять, кто в стране хозяин. Павел, как глухарь не слышал этого подземного гула и вообразил себя деспотом. Кончилось табакеркой.

Так имело ли смысл обсуждать эти «общекультурные последствия» самодержавной революции Ивана Грозного с нашими нигилистами, убежденными, как мы видели, что Россия всегда была деспотией или чем-то вроде нее и частной собственности никогда в ней не было? Все ведь до последней буквы заимствовано из Правящего стереотипа мировой историографии, ни проблеска собственной мысли. Вынужден я, поэтому согласиться с еще одним чисто-сердечным признанием уважаемого А.А.: «Отдаю себе отчет, что мои замечания о докладе Янова... отрывочны, бессистемны и, конечно же, методологически эклектичны и некорректны». Вот и я это говорю. Но что скажет читатель?

ПОВЕРКА МИФОВ

Глава 18

МОЯ «НЕРАСКОПАННАЯ ТРОЯ»

Вот я всё пишу и доказываю и новые аргументы привожу – и до такой степени кажется мне всё это понятным и прозрачным, что порою ловлю я себя на вопросе: да не в открытую ли дверь я ломаюсь? А вдруг читатель уже давно всё понял? Может быть, дальнейшие доказательства будут ему попросту скучны? К счастью, приходит это мне в голову, лишь когда я в очередной раз перечитываю свою рукопись. Едва отрываюсь я от нее и выхожу, так сказать, в белый свет, как словно хлопущка взрывается у меня под ногами.

Один из рецензентов первого русского издания трилогии сравнил её с работой Генриха Шлимана, раскопавшего под многовековыми наслоениями времен гомеровскую Троию. Слов нет, это очень лестное для меня сравнение. Только, судя по тому, что происходит вокруг, моя «Троя» всё еще погребена под гигантскими наслоениями мифов. И большинство рецензентов (не говоря уже о читателях) по-прежнему не верит в само её существование. Вот лишь три примера, требующие новых усилий, нового спора, новых аргументов.

Первый настиг меня в интернете еще в 1999-м в бурном обсуждении моей статьи в *Московских новостях* «Опасное перепутье» о неожиданной отстав-

ке Ельцина¹²⁵. Вот что писал там некий Олег в ответ на мое предложение «вернуться, наконец, в Европу, где, собственно, и начиналась пять столетий назад до-самодержавная, доимперская и докрепостническая российская государственность». Читатель, конечно, понимает, что для меня это пропись. Олег, однако, прочитал мне суровое нравоучение.

«Любой историк России, мало-мальски знающий свой предмет, – отчитывал он меня, – мог бы ему [т.е. мне] объяснить, что вовсе не в Европе, а в Золотой Орде формировалась сильная московская власть... что именно Орда централизовала управление удельными княжествами в Москве... и что первый московский Кремль строила Орда». Дальше – больше: «Выдавать желаемое за действительное часто доходно, но никогда не вело к адекватной оценке ситуации... Увы, Россия не может «возвращаться» в Европу. Ни Запад, ни российские политики, ни общественность не считают Россию когда-либо бывшей в Европе».

Почему же не считают? Я не встречал еще серьезного историка, который усомнился бы в том, что Киевско-Новгородская Русь была европейской страной. А это все-таки три с половиной столетия, треть всей русской истории. Не думает же, в самом деле, анонимный Олег, что история России началась с ордынского нашествия. Это во-первых. А во-вторых, если уж считать Россию страной евразийской, обязанной всем своим будущим кочевникам, то почему тогда не счесть, скажем, Испанию страной евроафриканской? Ведь для этого куда больше оснований, чем в случае российского евразийства – и географи-

¹²⁵ Московские новости, 5 января 2000.

ческих, и этнологических, и даже тех, что касаются длительности иноземного ига.

Вот смотрите. Геологически Пиренейский полуостров составляет часть африканского континента и отделен от него лишь узким Гибралтарским проливом (тогда как от Европы отделяет его высокий горный хребет). Древнейшее население полуострова – иберы, выходцы из Африки, родственные тамошним берберам (не зря же и по сию пору называют этот полуостров Иберийским). А что до влияния завоевателей на будущую государственность покоренной страны, то может ли сравниться влияние на испанскую государственность Омейядов, несопоставимо более культурных, нежели Орда, с влиянием монголов на русскую? Ведь еще Пушкин знал, что «татары не мавры, они не оставили нам ни алгебры, ни Аристотеля». Я не говорю уже, что продолжалось господство мавров над Испанией не два века, как ордынское над Россией, но **семь** (!). Подумайте, семьсот лет провела страна под арабским владычеством! Но найдем ли мы сегодня хоть одного испанца, который усомнился бы в принадлежности его страны к Европе? А в России таких, хоть пруд пруди. Почему? Не всё те же ли мифы виноваты?

Ничуть не менее удивительное откровение ожидало меня несколько дней спустя в *Нью-Йорк Таймс* в статье ее московского корреспондента Майкла Вайнса¹²⁶. Статья была, конечно, тоже про Ельцина. Но начиналась она замечанием о России как о «великой нации, способной похвастать 1100-летней родословной самодержцев – от Ивана Грозного до Петра Великого, от Алексея Тишайшего до дядюш-

¹²⁶ The New York Times, January 9, 2000.

ки Джо Сталина». Да что за напасть такая! Откуда эти дикие цифры? Почему, если и впрямь может похвастать Россия 1100-летней линией самодержцев, начинается эта линия у Вайнса с середины, т.е. с Грозного, который жил все-таки лишь 400 лет назад? Куда подевались все его предполагаемые самодержавные предшественники за целых семь столетий? И почему не усомнились в такой очевидной чепухе редакторы почтенной газеты, помещая её без проверки на первой полосе? Да по той же причине, по какой интернетовский Олег не счел Россию «когда-либо бывшей в Европе». Редакторов *Нью-Йорк Таймс* учили этим мифам в университетах, Олегу втолковали их телевизионные проповедники вроде Александра Дугина или Алексея Пушкова.

Третий пример касается даже и не России непосредственно, а власти мифов. Более того, он дает нам возможность присутствовать при самом рождении мифа. Тот же Алексей Пушков (большое начальство в Думе) в совместной программе радио «Эхо Москвы» и телевидения RTVi (которая тогда называлась «Персонально ваш») в апреле 2005 года ядовито заметил: «Не нужно переоценивать западную демократию, там тоже, что начальство прикажет, то судья и решит». Ведущий передачи игнорировал это ошеломляющее заявление, зрители (программа интерактивная) тоже, просто пропустили его мимо ушей.

Между тем заявление это первостепенно важно и напрямую связано с нашей темой. Потому ведь и императивно для современной России воссоединиться с Европой, что это единственно возможный для неё путь к политической модернизации. Ведь, как мы уже говорили, политическая модернизация,

если отвлечься от всей её сложной институциональной аранжировки, состоит именно **в гарантиях от произвола власти**. Независимый суд – живое воплощение этой гарантии. Лишите Европу (и Запад) независимого суда – и все аргументы, которые я здесь приводил, тотчас теряют смысл. Зачем, спрашивается, стремиться в неё России, если и там всё тот же Шемякин, виноват, Басманный суд?

Согласитесь, что мифотворческая реплика Пушкина слишком серьезна, чтобы принять или отвергнуть её без проверки. Вот и попробуем ее проверить на примере одного недавнего эпизода, всколыхнувшего в марте 2005 года всю Америку. Не знаю, обратили ли на этот эпизод внимание российские СМИ. Но вот вкратце его суть. На протяжении 15 лет молодая женщина Терри Шайво лежала в коме. Она больше не воспринимала мир, и надежды на её выздоровление не было. Муж Терри решил, наконец, прекратить это бессмысленное мучение. Он обратился в суд за разрешением отключить жену от аппарата искусственного питания – вопреки воле её родителей. Суд первой инстанции в штате Флорида согласился с ним, апелляционный тоже, Верховный суд штата тоже.

Тогда родители Терри обратились к «начальству». Тогдашний губернатор Флориды, брат тогдашнего президента Буша, предложил Верховному суду штата пересмотреть его решение. Суд отказался. Консервативная пресса подняла шум на всю страну, требуя предотвратить «судебное убийство». В дело вмешался Конгресс США. Созванный на чрезвычайное заседание (конгрессмены были тогда на каникулах), он принял новый закон, позволяющий в этом единственном случае передать семейный конфликт

федеральному суду. Президент Буш специально прилетел со своего ранчо в Вашингтон на несколько часов, чтобы его подписать.

Федеральный суд рассмотрел дело и согласился с судьями штата. Высшее «начальство страны», включая президента и Конгресс, потребовало вмешательства Верховного Суда Соединенных Штатов. Верховный Суд отказался принять дело к рассмотрению. И 85% опрошенных стали на сторону судей против «начальства». И губернатору Флориды, и президенту США пришлось проглотить «оскорбление власти». Вот как на самом деле обстоит дело с независимостью суда в Америке. О Европе я уж и не говорю. Вспомним хоть итальянских судей, беспощадно преследовавших тогдашнего премьера Берлускони.

Вот это она и есть – политическая модернизация в действии. Не знает об этом Алексей Пушкин или не может представить себе общество без Басманного суда, или просто лжет – судить читателю. На наших глазах он попытался создать миф – и покуда это сошло ему с рук.

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Конечно, объяснительная сила любой гипотезы не сводится лишь к расчистке захламленной мифами территории русского прошлого и к распутыванию древней загадки. Она должна еще показать, почему другие подходы к ней не работают. Например, лет 150 назад свою разгадку природы русской государственности предложили предшественники Пушкина, славянофилы. Привлекательность её была в предельной простоте. В нескольких словах звучала она так: всё было прекрасно в допетровской Руси, покуда не нале-

тел вдруг на неё зловещий «черный вихрь с Запада», инструментом которого оказался Петр. Как часовой, изменивший присяге, распахнул он ворота (или, если угодно, «окно») родной крепости для враждебного Святой Руси европейского влияния, «чужебесия», как они это называли. В результате Россия перестала быть Россией, превратилась в какую-то убудочную «полуЕвропу».

История, однако, сыграла с соблазнительной славянофильской разгадкой злую шутку, она ее **проверила**. И вот что обнаружилось в 1917, когда, пусть всего на три поколения и в совершенно неожиданном историческом повороте, страна вдруг действительно вернулась в допетровский мир. Новый режим истово боролся с проклятой славянофилами петербургской Россией. Он наглухо заколотил петровское «окно», даже щели законопатил и воспроизвел, по словам Георгия Петровича Федотова, «многие черты старой Московии»!

В частности, он опять противопоставил Россию Европе, опять возмечтал о Третьем Риме, опять укрепостил крестьянство, опять принялся жестоко преследовать «латинство» (под псевдонимом буржуазности). Одним словом, как и мечтали славянофилы, страна снова получила возможность развиваться отдельно от Европы, надежно закрытая от всяких еретических влияний.

И что же? Стало людям жить лучше в «холоде этой изоляции и самоизоляции», по выражению экс-президента Медведева? Родился в стране новый Пушкин? Расцвела её культура? **«Архипелаг ГУЛАГ»** Солженицына навсегда останется одним из самых замечательных свидетельств того, что именно

расцвело в России, изолированной от Европы. Да разве еще Басманный суд, бесперебойно поставлявший ГУЛАГу все новые и новые жертвы.

Тем не менее, даже такое очевидное банкротство предложенной славянофилами «национальной схемы» ни на минуту не предостерегло и самого Солженицына от славянофильского объяснения нашей трагедии в XX веке. Разве что на место Петра как верховного агента Запада подставил он Ленина и соответственно объявил золотым веком эпоху доленинскую (даже не заметив убийственной иронии в том, что превозносил он ту самую петровскую Россию, которую прокляли славянофилы).

Ирония иронией, однако, но метод-то и впрямь прежний, славянофильский. Вот он в двух словах: период, предшествующий современному (в одном случае допетровский, в другом доленинский) механически объявляется золотым веком. И главное, виновником катастрофы неизбежно оказывается некий верховный злодей – **орудие враждебного Запада**. Вот и вся разгадка. Согласитесь, что это XVII век, попытка применить механическую методологию к сложнейшим реалиям эйнштейновской политической вселенной. За постулат здесь принимается именно то, что требуется доказать. А именно, что открытость Европе способна лишь обесплодить русскую культуру, исказить, убить её. Между тем достаточно одного взгляда на русскую историю, чтобы увидеть, что в действительности обстояло дело прямо противоположным образом.

Разве не породила европейская эпоха России, связанная с именем Ивана III, блестящую плеяду нестяжательской интеллигенции, того же Нила Со-

рского или Максима Грека и Вассиана Патрикеева? И разве не создала следующая европейская эпоха, связанная с именем Петра, великую культуру? И совершенно при этом несущественно, что мы думаем о Петре. Несущественно даже, что сам он, если верить Остерману, относился к Европе чисто потребительски, дескать, нужна она нам лишь на несколько десятилетий, а потом мы повернемся к ней задом.

Важно другое. Важно, что эти предполагаемые несколько десятилетий затянулись на восемь поколений (!). Важно, что уже столетие спустя после Петра ответила Россия «на императорский приказ образоваться громадным явлением Пушкина». Важно, что еще столетие спустя, когда имя Герцена, которому принадлежит эта знаменитая фраза, было в Москве по цензурным причинам непроизносимо, полностью принял его точку зрения и сам патриарх русских историков – и беспощадный критик Петра – Василий Осипович Ключевский, повторив его в своей пушкинской речи 1899 года: «Один русский писатель недавнего прошлого хорошо сказал, что Петр своей реформой сделал вызов России, её гению, и Россия ответила ему».

Короче, важно, что открытие «вихря с Запада» неизменно приносило русской культуре её Болдинскую осень, тогда как противостояние Европе, связанное ли с именем Грозного царя или Сталина, столь же неизменно оставляла после себя обломки и «духовное оцепенение». Именно в открытости миру, по свидетельству истории, секрет плодоношения русской культуры.

Само собою разумеется, что нельзя вернуться в Европу после столетий блуждания по самодержавной

пустыне, просто провозгласив её в один прекрасный день «нашим общим домом», как наивно полагал М.С. Горбачев. Такие гигантские цивилизационные метаморфозы сами по себе не происходят. Тут нужна была новая Великая Реформа, если хотите, равная по масштабу той, которую топором навязал России Петр, но выполненная с ювелирным мастерством Ивана III.

Именно поэтому главное в статье, так рассердившей интернетовского критика, заключалось в том, что страна так и будет идти от кризиса к кризису, куда её элиты не решат, наконец, **куда** она идет – в Европу или, по слову Чаадаева, в «пустыню».

Если, однако, выбор между новой «Ордой» и старой Европой будет сделан в пользу Европы, то требует он, прежде всего, **стратегии возвращения** – глубоко и тщательно продуманной. И долговременной. Ибо – не станем себя обманывать – путь не будет ни легким, ни быстрым. Смысл этой стратегии, естественно, в том, чтоб создать в обеих заинтересованных сторонах сильную политическую базу реинтеграции России в Европу.

У стратегии много лиц – политическое, правовое, экономическое, оборонное, демографическое – читатель может дополнить этот список. Но ведь и историческое тоже. И если речь о **возвращении** в Европу, то историческое, может быть, в первую очередь. Ибо до тех пор, куда обе стороны руководятся в своей политике мифами (настаивая, например, на «ордынском» происхождении русской государственности, как делают не одни лишь безвестные интернетовские комментаторы, но и их телевизионные наставники, опирающиеся в свою очередь на очень даже из-

вестных авторов «Русской системы» или «Русской матрицы», если хотите), будем мы лишь расширять пропасть между Россией и Европой. А проблема ведь в том, чтоб перебросить через пропасть мост, покуда это еще возможно.

И первым шагом к строительству этого моста может быть лишь расчистка почвы от мусора мифов. А как это без истории сделаешь? Для того по сути и пишу я «Иваниану» (о которой речь ниже), чтобы она, подобно гигантскому экскаватору, расчистила территорию от этого мусора, помогая тем самым строительству моста в Европу. Как знаем мы со времен Аристотеля, каждый делает, что может.

КОНЕЦ СТАРОЙ МОДЕЛИ

Основной задачей теоретической части этой книги было разрушить общепринятую биполярную модель политической вселенной. Иначе говоря, тот фундаментальный миф, из которого с неизбежностью проистекала вся гигантская мифотворческая толща, как тина, облепившая наш предмет (и продолжающая, как мы только что видели, его облеплять). Важнейшим в нем, в этом мифе, было **отсутствие самого феномена самодержавной государственности**. Оно лишало нас ориентира. Непонятно было, где то главное, от чего следует избавиться, чтобы прекратить вечное колебание российского маятника – от реформы к контрреформе, от свободы к новой «татарщине». Во времена Великой реформы 1860-х главным казалось положить конец порабощению соотечественников. Положили. И что же? Маятник остался с нами. В феврале 1917 главным казалось избавиться от монархии. Избавились. А маятник все

тут. Все повторилось в 1991. Тогда главным казалось избавиться от коммунизма. Избавились. Но маятник то по-прежнему с нами.

Веками металось самодержавие между обоими полюсами биполярной модели, уподобляясь, подобно хамелеону, то азиатскому деспотизму, то европейской абсолютной монархии, но никогда ни с одним из них не отождествляясь. Одно уже это обстоятельство, казалось бы, должно было навести на мысль, что отличается оно от обоих принципиально. Хотя бы потому, что объяснить его гибридный, пульсирующий ритм традиционной биполярной парадигмой было невозможно. Но вот не наводило.

Каждому, кто хоть краем уха слышал об основополагающей для этого сюжета книге Томаса Куна «Структура научных революций», понятно, что это означает¹²⁷. Только рождение новой парадигмы (по Куну) или «новой национальной схемы» (по Федотову), возникшей из крушения старой, сделало бы очевидным, что **самодержавная государственность** явила нам третий, если хотите, «полюс» политической вселенной, хоть и положено ей, согласно старой парадигме иметь не больше двух. И главное, от чего следовало нам избавляться и в 1860-е, и в 1917, и в 1991, была именно она, эта государственность. **В ней** корень маятника.

Ничего общего это не имеет с **исключительностью** Россией. История знает и другие подобные заковыки. Непонятно ведь, к какому, собственно, из двух полюсов традиционной парадигмы следует отнести, скажем, Германию или Италию нового времени.

¹²⁷ *Thomas Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, 1962.*

На протяжении столетий неспособны они оказались создать какое бы то ни было национальное государство, будь то абсолютистское или деспотическое. И в XX веке расплатились за эту аномалию чудовищной тоталитарной диктатурой и фантазмагорическими «национальными идеями». Разве не провозгласил в 1920-е века Муссолини исторической миссией Италии возрождение величия древнего Рима? И разве не объявил в 1930-е Гитлер, что «либо будет Германия мировой державой, либо ее вообще не будет»?¹²⁸

И не ограничивается ведь дело одной Европой. Как быть, например, с Японией? Парадокс ведь: азиатская страна, которую ни один из западных теоретиков **никогда** не зачислил по ведомству азиатского деспотизма. Понятно, что назвать её европейской монархией тоже язык не поворачивался. Так что же, еще один перед нами полюс? Само собой. Выходит, парадигма, описывавшая политическую вселенную с помощью биполярной модели, безнадежно устарела. Она не более чем реликт мира, ушедшего в прошлое.

По сути, подтверждает это в своей знаменитой книге о предстоящем «столкновении цивилизаций» и Сэмюэл Хантингтон. «Впервые в мировой истории, – пишет он, – глобальная политика стала многополярной и мультицивилизационной»¹²⁹. Он, правда, добавляет к предложенной здесь многополярной парадигме политической вселенной еще и «мультицивилизационность». Но с этой странностью его концепции предстоит нам разобраться в следующей гла-

¹²⁸ Cited in Norman Davies, *Europe, A History*, Oxford Univ. Press, 1996, p. 545.

¹²⁹ *Samuel Huntington. The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order*, NY, 1996, p. 20.

ве. Как бы то ни было, однако, не пора ли отправить биполярную старушку на заслуженный покой?

Что до России, британский историк Рене Альбрехт предложил в статье «Два специальных случая «Англия и Россия, компромисс»: «Как и русские, англичане несомненные европейцы, только с особыми неевропейскими интересами»?¹³⁰ Можно выразиться и так. Важно, что и те, кто не согласен с моими аргументами в пользу европейского происхождения России, тоже ведь не доказали покуда, что происхождение ее на самом деле, скажем, «ордынское» или азиатское, или вообще какое-нибудь «полумаргинальное», как предположил Карл Виттфогель.

Так или иначе, едва покончим мы с биполярной моделью, отлучение России от Европы неминуемо оказывается проблематичным. По крайней мере, в теоретическом смысле. Практически понятно, что, как огня, следует новой России бояться президентской республики, не говоря уже о монархии. Концентрации власти в одних руках для нее смерти подобна. Но это так, реплика в сторону. А по сути ничего больше и не хотел я здесь показать.

¹³⁰ *Norman Davies*, Op. cit., p. 18.

Глава 19

МНОГО ЛИ НА ЗЕМЛЕ «ЦИВИЛИЗАЦИЙ»?

Это миф, что все старое плохо, а все новое хорошо. Например, новейшее «мультицивилизационное» поветрие, несомненно, по-моему, хуже старой доброй гегелевской формулы, которая положила в основу цивилизованности категорию свободы. Тем не менее поветрие это стремительно, можно сказать, во мгновение ока завоевала политическую и научно-гуманитарную элиту. Включая профессиональных «патриотов», тоже принявших его на ура, несмотря на западное его происхождение. Несмотря даже на то, что ни Россия, ни Евразия не вошли пока в качестве самостоятельных «цивилизаций» в обиход мировой цивилизационистики, если можно так выразиться (хотя местные авторитеты, как Л.Н. Гумилев или В.В. Путин, настойчиво пытались – и пытаются – протолкнуть их в этот элитный клуб).

Что же всех их соблазнило в этом сомнительном и, как мы скоро увидим, постмодернистском новшестве? Разных людей разное...

Вот смотрите. Три четверти столетия жила Россия с одной, но зато «единственно верной» идеей. В 1991 году идея эта приказала долго жить. Не успе-

ли, однако, пропеть ей отходную, как тотчас начались в пропагандистском и гуманитарно-научном сообществах лихорадочные поиски ее заменителя (substitute). Требовалась новая универсальная идея, которая по-прежнему всё бы нам объясняла и всех объединяла. Короче, исполняла функции покойной. Копья ломались, но как-то нечаянно обнаружилось, что победительницей в короткой перепалке оказалась идея цивилизационной исключительности России. Во всяком случае, если верить Эмилю Паину, что «цивилизационную исключительность России ныне прославляют все: от патриарха Кирилла до Владислава Суркова, от левого идеолога Александра Проханова до правого политика Анатолия Чубайса». В результате орды бывших преподавателей научного коммунизма зарабатывают ныне свой хлеб на «российской цивилизации».

Да и властям предрержащим требуется каким-то образом объяснять свою политику как на международной арене, так и во внутренних делах. Тем более что сейчас, как известно из авторитетных западных источников, происходит «СТОЛКНОВЕНИЕ цивилизаций». И проще всего делать это так: у них там своя цивилизация, западная, а у нас – русская. Ясно же, у разных цивилизаций все разное, в том числе и демократия. У них, допустим, упразднение реального разделения властей называлось бы тиранией, а у нас – это суверенная демократия. Короче, для профессиональных «патриотов» идея «русской цивилизации» оказалась неоспоримым, на первый взгляд, способом отгородить Россию от Европы еще одним, цивилизационным барьером.

ОТРЕЧЕНИЕ

Но если в России эта внезапная победа официозного постмодернизма выглядит, как простая замена одной догмы на другую, более политкорректную, то в большом мире поветрие это было мучительным отречением от основ, заложенных столетия назад классиками политической мысли. В первую очередь, конечно, Аристотелем и Гегелем.

Во времена Аристотеля считалось, что главным отличием свободных людей от варваров является их неотъемлемое право «участвовать в суде и в совете», служившее им надежной **гарантией** от произвола власти. Иначе говоря, свобода отождествлялась для Аристотеля с политической модернизацией. Ибо, как мы уже знаем, суть этой модернизации именно в такой гарантии и состоит?

Даже в страшном сне не могло присниться Аристотелю, что варварская Персидская империя, пожелавшая в V веке до н.э. стереть с лица земли демократические Афины, есть всего лишь соседняя цивилизация. Тем не менее, именно это и утверждают наши «цивилизационщики». Теоретическую базу под этот удивительный с точки зрения Аристотеля постулат, ставящий на одну доску демократию и деспотизм, подвел, впрочем, американец Сэмюэл Хантингтон, провозгласивший, что «каждая из цивилизаций по-своему цивилизована»¹³¹.

Как бы то ни было, 24 столетия спустя после Аристотеля другой великий европейский мыслитель выразил его представление о цивилизованности и варварстве культур и народов в строгой формуле,

¹³¹ Samuel Huntington. Op. cit., p. 41.

гласившей, что «всемирная история есть прогресс в осознании свободы» (или «в обретении человеком внутреннего достоинства», как сказал он в другом месте). Из этой формулы Гегеля вытекало вполне недвусмысленно, что народы, не ставящие себе целью обретение человеком внутреннего достоинства, остаются варварами – до тех пор, покуда они себе эту цель не поставили.

Мы можем сегодня не соглашаться с жестким детерминизмом Гегеля, но он был совершенно уверен, что непременно настанет день, когда цивилизованными станут все народы. До такой степени уверен, что внушил это убеждение даже сегодняшним своим последователям, например, Фрэнсису Фукуяме, который, как известно, объявил в 1989 году городу и миру, что в связи с окончательной победой демократии (а, стало быть, и идеи «внутреннего достоинства человека») над её тоталитарными соперниками – фашизмом и коммунизмом – «идеологическая эволюция человечества завершилась». И печально добавил в заключение, что в результате этого конца истории «жизнь станет, пожалуй, скучной»¹³².

Грусть Фукуямы оказалось, как мы знаем, преждевременной. Идея исламского Халифата не даст нам соскучиться, боюсь, еще долгое время. Впрочем, нет никаких оснований думать, что Гегель разделял это опасение ученика. Хотя бы потому, надо полагать, что, в отличие от него помнил вещи слова своего современника:

Лишь тот достоин жизни и свободы
Кто каждый день идет за них на бой.

¹³² *Francis Fukuyama. The End of History, The National Interest, 16 (Summer 1989), pp. 4, 18.*

И «скучно» поэтому – последнее из опасений, каким может быть описано это состояние ежедневного боя. Как бы то ни было, для отцов-основателей политической мысли цивилизованность означала движение человечества в сторону свободы.

ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ИЛИ ИСТОРИЯ?

Увы, день, когда европейские мыслители отреклись от своих классических учителей, настал намного раньше всеобщей свободы. Они сочли Аристотеля и Гегеля закосневшими в «европоцентризме», чтоб не сказать анахронизмом. Арнольд Тойнби решительно обличил их «эгоцентрические иллюзии» и «провинциальное высокомерие»¹³³. Фернан Бродель с не меньшей горячностью призвал читателей осознать, наконец, «множественность цивилизаций»¹³⁴. А Освальд Шпенглер и вовсе приравнял аристотелевское представление о варварстве к птолемеевской модели мира и представил себя кем-то вроде Коперника, возглавляющего «мультицивилизационную» революцию в истории и политике¹³⁵. Короче говоря, сердились все они на классиков очень сильно, рассматривая их заботу о внутреннем достоинстве человека как совершенно неподобающую серьезным ученым.

И, естественно, обнаружили во тьме варварства множество цивилизаций, пусть нисколько не озабоченных гарантиями от произвола власти, но вполне,

¹³³ *Arnold Toynbee. Study of History*, London, Oxford Univ. Press, 12 vols, 1934–1961, vol. 1, p. 12.

¹³⁴ *Fernand Braudel. On History*. Chicago Univ. Press, 1980. p. XXXIII.

¹³⁵ *Oswald Spengler. Untergang of the Abenlandes*. Munchen, 1936.

тем не менее, равноценных, по их мнению, аристотелевскому свободному миру. Справедливо указывали эти блестящие ученые на достижения многих, хоть и живших в свирепых деспотиях, но «по-своему цивилизованных» народов в области архитектуры, астрономии, алгебры, изящной словесности и вообще во всех сферах культуры, не имевших отношения к политике и неспособных поэтому бросить вызов власти деспота. Так или иначе, варварство исчезло из их лексикона. И с ним исчезли какие бы то ни было объективные критерии цивилизованности культур и народов. Отныне Персидская империя могла претендовать на статус «цивилизации» ничуть не меньше демократических Афин.

Одно лишь упустили из виду постмодернистские мыслители: вековой деспотизм не проходит даром. Отсутствие политической модернизации, всё то, что Аристотель считал варварством, оказалось способно и на самом деле законсервировать народы в средневековье. И страшно впоследствии аукнуться. Например, сегодняшним исламским фанатизмом.

Я знаю, чьим именно открытием было это торжество политического – и морального – релятивизма (первым был еще в 1870-е Н.Я. Данилевский, «*Россия и Европа*» которого посвятил я во втором томе трилогии целую главу). Нет сомнения, однако, что авторитетом эту новую «мультицивилизационную» парадигму наделили основополагающие работы Арнольда Тойнби «*Наука истории*»¹³⁶ и Фернана Броделя «*История цивилизаций*»¹³⁷, а популярной в широких элитных массах, особенно в России, сделала её

¹³⁶ А. Toynbee. Op. cit.

¹³⁷ Fernand Brodel. History of Civilizations, NY. 1994.

уже упомянутое «*Столкновение цивилизаций*» Сэмюэла Хантингтона.

Эти выдающиеся ученые нанесли почти столь же сокрушительный удар по классической формуле цивилизованности, как самодержавная революция Грозного царя по социально-политическому устройству Москвы Ивана III. Я не уверен, можно ли еще спасти классическую формулу от этого нового, варварского, если угодно, нашествия академической конницы. Во всяком случае, у меня перед глазами пример, который заставляет в этом усомниться.

Знаменитый историк Иммануил Валлерстайн в своем «миросистемном анализе» нарисовал нам потрясающую историю варварского человечества – с VIII века до н.э. и до XV века нашей – как некий грандиозный **провал во времени**. Исключения, понятно, были. Например, классические Эллада и Рим, заложившие основы современной философии, политической мысли, истории, юриспруденции, не говоря уже о категориях свободы и ограничений власти, о демократии, монархии и республике. Одним словом, всего, что в представлении Аристотеля противостояло варварству.

При всем том классические Эллада и Рим не сумели обеспечить непрерывность исторического процесса. В результате их тоже, согласно Валлерстайну, поглотила бездна, т.е. гигантская варварская Ойкумена, напрочь лишенная политической динамики (а, стало быть, и движения в сторону свободы) и оставшаяся поэтому вне истории и уж, во всяком случае, вне цивилизации.

И что же? Уберегла Валлерстайна его собственная историческая концепция от того, чтобы оказать-

ся самым преданным из учеников Фернана Броделя, убежденного, как и Хантингтон, в том, что вся тогдашняя Ойкумена была «по-своему цивилизована»? Отнюдь. И получилось вот что. В качестве лидера мегаисторической школы в современной историографии Валлерстайн нисколько не сомневается, что существование всех этих варварских «цивилизаций» сводилось, говоря его собственными словами, «лишь к процессу расширения и сокращения [имперских территорий], которое, похоже, являлось их судьбой»¹³⁸. Зато в качестве руководителя Центра Фернана Броделя он, тем не менее, обязан усматривать в этом бессмысленном «процессе» некий высший «цивилизационный» смысл.

Но ведь в этом противоречии как раз и состоит главное различие между классическим и постмодернистским подходами к истории и политике. Если классический подход кладет в основу исторического движения категории свободы и человеческого достоинства, внося тем самым в прошлое смысл и превращая течение времени в **историю**, то «мультицивилизационный» подход проделывает прямо противоположную операцию, превращая историю в бессмысленное течение времени – в процесс расширения и сокращения имперских территорий.

МАСКАРАД

Если, тем не менее, столько первоклассных умов (и еще больше их эпигонов) осятели своим авторитетом именно эту «противоположную операцию»,

¹³⁸ И. Валлерстайн. Миросистемный анализ // Время мира, №1, Новосибирск, 1998, с. 115.

то попытка пробить в ней брешь выглядит в наши дни предприятием довольно безнадежным. И все-таки давайте попробуем.

Начнем с постмодернистского определения цивилизации. Вот как выглядит оно у Хангтингтона: «Цивилизацию определяют как общекультурные элементы – язык, история, религия, обычаи, институты – так и субъективная самоидентификация»¹³⁹. А.Н. Сахаров – в постмарксистской, понятно, своей ипостаси – согласен: «Характер, привычки, традиция живущих в стране людей... отличия от других обществ. Это и называется цивилизацией»¹⁴⁰.

Дело здесь даже не в том, что «прогресс в осознании свободы» или «внутреннего достоинства человека», не говоря уже об «участии в суде и в совете», которые некогда отделяли цивилизацию от варварства, исчезли из этих определений бесследно (у А.Н. Сахарова они и вовсе заменены «стремлением к удобствам, к комфорту... к материальному достатку»)¹⁴¹. Беда в том, что непонятно, по какой, собственно, причине следует отныне называть все эти «общекультурные элементы» **цивилизацией**, если испокон веков назывались они своим собственным именем, т.е. культурой?

Культур, и в самом деле, на белом свете много. Столько же, сколько народов: у каждого своя. Но вот А.Н. Сахаров почему-то пишет все это в рубрике «Зарождение русской цивилизации» (не культуры,

¹³⁹ S. Huntington. Op. cit., p. 41.

¹⁴⁰ История человечества. Том VIII, Россия, М. 2003, с. 30.

¹⁴¹ История человечества. Том VIII, Россия, М. 2003, с. 2.

заметьте, а цивилизации, и не российской, а русской). Между тем даже Хангтингтон признает, что «культура есть общая тема практически в каждом определении цивилизации»¹⁴². Признает и больше: «Цивилизация это и есть в широком смысле культура»¹⁴³. Так что же в этом случае приобретаем мы, объявляя «культуру в широком смысле» цивилизацией? Что дает нам для понимания истории и политики этот маскарад? И нельзя ведь сказать, чтобы не понимали значения этого переодевания даже сами постмодернисты. Не назвал же Хангтингтон свою знаменитую книгу «Столкновением культур». Согласитесь, что звучало бы это несопоставимо менее эффектно, чем «Столкновение цивилизаций». Многие, пожалуй, сочли бы его предсказание нелепым.

ПАРАДОКСЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА

И тут невольно закрадывается подозрение: да об одном ли и том же сюжете говорили Аристотель и Гегель, с одной стороны, и Тойнби с Броделем (и с примкнувшим к ним Валлерстайном), с другой? Классики, как мы видели, очень ясно и точно сформулировали критерии **цивизованности** культур и народов. И цель их тоже ясна: объяснить, при каких условиях возможен переход от варварства к цивилизованности.

А постмодернисты, их-то цель какова? Показать, что никакого варварства не существовало – и не существует – и все культуры между собою равны? Но почему в таком случае лишь ничтожное меньшинство куль-

¹⁴² S. Huntington. Op. cit., p. 42.

¹⁴³ Там же, стр. 41.

тур возведены ими в генеральский ранг «цивилизаций», а остальные отсеяны как плебс? Как объяснить это странную дискриминацию культур, по какой-то причине разделенных на элитные и рядовые? И еще непонятнее, какими, собственно, критериями руководятся постмодернисты при этом разделении? И почему никто из постмодернистов никогда не объяснил причину этого парадокса. Другими словами, не дал нам никаких оснований полагать, что затеянный ими маскарад подчиняется каким бы то было правилам.

ОПРАВДАНИЕ АРХАИКИ

Между тем маскарад этот вовсе не безобидный. В особенности, имея в виду, что один из главных его распорядителей Арнольд Тойнби категорически провозгласил, что «цивилизация есть тотальность». И никто из постмодернистов против этого не возразил – и не возражает¹⁴⁴. Но что же иное может это означать, если не противопоставление одной «тотальности» другой? Со всеми вытекающими из этого последствиями. Например, с тотальной солидарностью, когда все народы одной «цивилизации» обязаны встать на защиту «своих», каковы бы они, эти свои, ни были. Как встала в XVII веке Швеция на защиту протестантских немецких князей, а Франция на защиту католических. Или как встала в 1914 году, обрекая себя – и мир – на политическую катастрофу, на защиту сербов Россия. Но и это еще не все. «Тотальность» предполагает, между прочим, также этнические чистки. Предполагает и массовые движения под лозунгами «цивилизационной» чистоты вроде «России для русских».

¹⁴⁴ Fernand Braudel *On History*, p. 202.

Хуже того, с триумфом «мультицивилизационного» подхода даже террористы-убийцы из какой-нибудь Хезболлы или Аль-Каеды для нас теперь и не варвары вовсе, а, напротив, гордые защитники своей цивилизации, равноправные участники их «столкновения», доблестно отражающие нашествие «крестоносцев». И публике даже в голову не приходит спрашивать об их отношении к внутреннему достоинству человека и уж тем более к осознанию свободы: сказано ведь нам, что «каждая из цивилизаций по-своему цивилизована». Удивляться ли, что «цивилизованность» Персидской империи (Ирана) требовала в V веке до н.э. стереть с лица земли демократические Афины (или в наши дни Израиль)?

И это еще не всё. Приобщая к лону цивилизации архаику древних деспотий, постмодернистское поветрие в истории и политике существенно затрудняет изучение всего, что препятствовало – и препятствует – политической модернизации стран ислама. И тем самым косвенно помогает сегодняшним фанатикам прикрывать свою культурную отсталость особенностями их веры. Такова, выходит, объективная функция этого подхода: в «мультицивилизационной» темноте все кошки одинаково серы.

КАК БЫТЬ С РЕЛИГИЕЙ?

Парадоксально, но постмодернисты видят главное свое преимущество именно в том, в чем они наиболее уязвимы. «Важнейшим из объективных элементов цивилизации, – говорит Хантингтон, – является религия»¹⁴⁵. И поясняет, что «люди одного и

¹⁴⁵ S. Huntington. Op. cit., p. 42

того же этнического происхождения и говорящие на одном и том же языке, но **разной веры**, могут истреблять друг друга, как случилось в Ливане, в бывшей Югославии и на [Индийском] субконтиненте»¹⁴⁶. Словно бы люди одной и той же веры (принадлежащие, согласно этой логике, к одной цивилизации), не истребляют друг друга столь же свирепо, как наблюдаем мы, например, в сегодняшнем Ираке, где резня между шиитами и суннитами достигла пика. И ведь началось это не вчера. Разве еще в VII веке не убили шииты всех трех первых суннитских халифов? И разве не продолжалась эта резня столетиями – в беспрерывных войнах между шиитской Персией и суннитской Турцией? И разве, наконец, не помогали десятилетиями «христианнейшие» короли Франции туркам в битве против своих единоверцев Габсбургов?

Несмотря на всё это, единомышленники Хантингтона почему-то уверены, что именно непримиримость разных конфессий делает «тотальность» цивилизаций неразрушимой, вечной, если хотите. Так ли? Начнем с того, что сама связка «религии-цивилизации» не выдерживает, честно говоря, пристального взгляда. Даже если принять все послышки постмодернистов, всё равно не сходятся у них концы с концами. Просто потому, что существуют «цивилизации», не опирающиеся на одну, определенную религию, и существуют мировые религии, которые **не стали** основой «цивилизаций».

Возьмите хоть первую в истории монотеистическую религию, иудаизм, одна из сект которого превратилась впоследствии в христианство. Иудаизм не

¹⁴⁶ Там же.

положил начало никакой особой «цивилизации», Израиль принадлежит скорее цивилизации европейской. А ведь есть еще и буддизм. Подобно христианству, он не прижился в стране, в которой увидел свет, но, изгнанный из Индии, широко разошелся по миру. И если христианство завоевало северную Евразию, буддизм практически завоевал южную – от Лаоса до Кореи и от Монголии до Тайланда, не говоря уже о Тибете. И, тем не менее, основой «цивилизации» он не стал. Во всяком случае, никто из постмодернистов «буддистскую цивилизацию», сколько я знаю, не упоминает

И наоборот, непонятно, какая именно религия является «важнейшим объективным элементом», допустим, китайской «цивилизации». Конфуцианство? Буддизм? А «цивилизации» японской? Буддизм? Синтоизм? А что если Хантингтон прав и у нас на глазах складывается «цивилизация» африканская? Какая в этом случае религия будет править бал в Африке?

Но вот пример еще более наглядный. Будь постмодернисты правы, Германия с её католическим югом и протестантским севером просто не состоялась бы как нация-государство. Не состоялась бы как цивилизация и Европа. Во всяком случае, во второй четверти XVII века, когда вражда между этими конфессиями вылилась в кровавую Тридцатилетнюю войну, в которую как раз и вмешались католическая Франция и протестантская Швеция, мир между ними казался невозможным. Тем более, что конфликт двух германских «цивилизаций» на глазах превратился в общеевропейский.

Если и было когда-нибудь в истории «столкновение цивилизаций», то как раз в этой, затянувшейся

на целое поколение беспощадной конфессиональной войне оно и случилось. Решений конфликта, казалось тогда, было лишь два: либо массовый переход немецких протестантов в католичество, либо распад страны и исчезновение христианства как их общей религии. И чем же закончилось дело, какая из двух цивилизационных «тотальностей» победила?

Да никакая. Потому что на самом деле был еще и третий, цивилизованный в аристотелевском понимании экуменический выход из конфликта конфессий. Поэтому и кончилось дело в Германии (и в Европе) вовсе не массовым переходом протестантов в католичество и уж тем более не исчезновением христианства. Кончилось примирением конфессий и расторжением, если можно так выразиться, **двух** европейских «цивилизаций» в одной. Это, конечно, если поверить Хантингтону, что религия действительно является «важнейшим элементом цивилизации».

Так, может быть, никаких таких «цивилизаций-тотальностей» и не было? Тем более что непримиримые якобы конфессии слились впоследствии в единую «западную цивилизацию», в существовании которой у Хантингтона нет сегодня ни малейших сомнений – несмотря на раздиравшую ее три столетия назад свирепую конфессиональную войну, несколько не уступавшую сегодняшней резне между шиитами и суннитами. Вспомните хоть Варфоломеевскую ночь.

Как бы то ни было, история снова подтверждает сегодня, что никаких «цивилизаций», ядром которых являются религии, не бывает. Это правда, что православная Россия и по сей день не примирилась с западным христианством. Зато подавляющее большинство православных народов – греки, болгары, румыны, черногорцы, киприоты, молдаване, маке-

донцы, украинцы, грузины, даже сербы – отчаянно стремятся сегодня в лоно вроде бы чуждой им, если верить постмодернистам, западной цивилизации. Какой после этого может быть разговор о «православной цивилизации»? Распалась ведь она на наших глазах, эта «цивилизация» ...

Бесспорно, что многие мусульманские народы и сегодня объясняют вековую отсталость своей политической культуры, происходящую из их деспотического прошлого, столь небрежно раскассированного постмодернистами, непримиримой конфессиональной рознью с «крестоносцами» и иудеями. Но не так ли еще в XIX веке объясняли свою политическую несовместимость с «латинами» те же православные народы, соблазняя российских панславистов?

Но вот несколько поколений спустя (как и в случае былой, казалось бы «тотальной» вражды между протестантами и католиками), видим мы прямо противоположную картину. Так какая же, скажите, цена «тотальным цивилизациям» постмодернистов, пытающихся, вопреки не только истории, но и тому, что наблюдаем мы своими глазами, увековечить конфессиональную рознь, возведя её в ранг вечного закона истории?

ПРОИЗВОЛ

Но все-таки самым убийственным аргументом против постмодернистского подхода к истории и политике остается, как мы уже упоминали, его абсолютная произвольность. Хангтингтон, допустим, не устает повторять, что «лишь семь или восемь из всего множества культур» достойны возведения в ранг цивилизаций. Но как же в таком случае быть с

утверждением Тойнби, который насчитывал 21 цивилизацию (позже даже 23).

Допустим, что многие из двух дюжин тойнбианских «цивилизаций» сегодня мертвы, а Хантингтон имеет в виду лишь те, что и по сию пору живы (кстати, таких у Тойнби всего пять, а не 7 или 8). Но что же тогда делать с коллегой Хантингтона Филипом Багби, в «*Культуре и истории*» которого лишь одиннадцать «цивилизаций» (как исторических, так и современных?) И как быть с Кэроллом Квигли, в чьей «*Эволюции цивилизаций*» находится место для 16 исторических «цивилизаций» – и еще, возможно, для восьми «дополнительных»?¹⁴⁷ Тем более что у Метью Мелко в «*Природе цивилизаций*» всего 12 исторических, из которых дожили до наших дней пять, как у Тойнби, но не те, что у Тойнби (Китайская, Японская, Индийская, Исламская и Западная¹⁴⁸.) А знаменитый отечественный предшественник наших постмодернистов Н.Я. Данилевский категорически настаивал, что цивилизаций (которые он, впрочем, именовал еще «культурно-историческими типами») было в истории ровно десять.

Крупнейший американский историк Уильям Макнилл столь же категорически не согласен. В его «*Возвышении Запада*» «цивилизаций» всего 9, столько же, сколько у Фернана Броделя¹⁴⁹. И только в «*Закате Запада*» Освальда Шпенглера¹⁵⁰ число

¹⁴⁷ *Caroll Quigly. The Evolution of Civilizations, NY, 1965.*

¹⁴⁸ *Matthew Melko. Nature of Civilizations, Boston, 1969.*

¹⁴⁹ *William H. McNeil. The Rise of the West, Univ. of Chicago Press, 1963.*

¹⁵⁰ *Oswald Spengler. Op. Cit., (Конечно, Шпенглер, исходя из германской традиции, употреблял здесь термин Kultur, противопоставляя его стадии Zivilization, но имел он виду то же самое, что Хантингтон под «цивилизациями»).*

«цивилизаций» более или менее совпадает с тем, что предлагает нам Хангтингтон – 8 (правда, как мы уже говорили, «русской цивилизации» никто из них, включая Данилевского, почему-то не обнаружил. Единственное «государство-цивилизация», которое они упоминают, – Япония. Любопытно, что Шпенглер называл Россию «исторической псевдоморфозой», что странным, хоть и не буквальным образом перекликается с моей картиной российской политической гибридности). Другие, впрочем, добавляют еще латиноамериканскую, а Хангтингтон, как мы уже знаем, даже африканскую.

Так кто же все-таки из наших уважаемых мэтров прав? И сколько на самом деле на земле цивилизаций? Как не знал я ответа на этот вопрос, когда начал знакомиться с массивной «мультицивилизационной» литературой, так и по сию пору не знаю. Каждый из авторов очень убедительно доказывает именно свою правоту, и пока его читаешь, соблазнительно с ним согласиться. Но лишь до тех пор, покуда не начинаешь читать другого. А в целом – ответа нет. Тем более что многочисленные проповедники «мультицивилизационного» подхода даже и не пытаются, я не говорю примирить, но хоть как-то объяснить свои расхождения. Одним словом, невозможно избавиться от ощущения хаоса и произвола, царящих в этом теоретическом королевстве безраздельно.

* * *

Так с чем же оставляю я читателя? Выходит, с необходимостью сделать собственный выбор между классиками, у которых всё ясно, и модными постмодернистами с их дефиниционным произволом. Впе-

чатление такое, что они просто не заметили принципиальное различие между универсальной и полной достоинства гегелевской **цивилизovanностью** культур и народов, четко отделяющей свободных людей от варваров, и мутным «мультицивилизационным» подходом, ставящих на одну доску жертвы варварского террора и их палачей.

Зачем, однако, может спросить читатель, простому интеллигентному человеку в сегодняшней России вникать в разницу между классической проблемой перехода от варварства к Цивилизации (с прописной буквы) и постмодернистской идеей множественности «цивилизаций» (со строчной)? Затем, вернемся к началу нашего разговора, что именно в сегодняшней России это постмодернистское поветрие на глазах трансформируется в новую «единственно верную» идею, способную завести не только нас с вами, но и наших правителей, ученых и пропагандистов в такой же политический тупик, в какой уже завел нас однажды марксизм-ленинизм. И было бы, согласитесь, неразумно даже не попытаться остановить эту роковую трансформацию – пока не поздно.

Глава 20

МУЧИТЕЛЬ

Добрая слава Иоанна пережила его худую славу: стенания умолкли жертвы истлели. Но имя Иоанново напоминало о приобретении трех царств Монгольских, доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы царя-завоевателя, чтит в нем виновника нашей государственной силы, отвергнул или забыл название Мучителя, данное ему современниками. История злопамятнее народа.

Н.М. Карамзин

Вступление

Заключительная глава «Поверки мифов» посвящена мифам Иванианы. Актуальны ли эти мифы в 2016 году, четыре с лишним столетия после смерти «мучителя», как звали Ивана Грозного, напомнил нам Карамзин, современники? Судите сами. В 2016 году Никита Михалков публично обвинил «Ельцин-центр» в развращении молодых умов, в том числе и за искажение образа «великого царя», памятник которому только что воздвигнут в Орле. Много, мол, сил положил он, Михалков, на то, чтобы такой памятник был, наконец, воздвигнут, а эти... искажают. Что нам ему ответить?

Многие ли знают, что не меньше сил положили на такое же предприятие, т.е. на реабилитацию пусть «мучителя», но и завоевателя, в XVIII веке В. Н. Татищев, в XIX – К.Д. Кавелин, в XX – Р.Ю. Виппер и каждый раз шли они, эти усилия, прахом? Просто потому, что каждый раз находились в России люди, как сегодня в «Ельцин-центре», которым гекатомбы жертв казались не оправданием, а проклятием завоеваний. Такая страна Россия. Во всяком случае, на знаменитом памятнике 1913 года (к трехсотлетию Романовых), где изображены все русские цари, единственный, кого нет – Иван Грозный.

Разумеется, писалась Иваниана много лет назад. Но писалась, можно сказать, именно для такого случая, для очередной, четвертой по счету, попытки посмертной коронации изверга и мракобеса, **сотворившего самодержавие**. И актуальность Иванианы в том, что она ее, новую попытку, **предсказала**. Доказательство – одиннадцатая глава первого тома трилогии «Последняя коронация?». Как, впрочем, предсказала она и то, что прахом пойдет и эта попытка. Но это так, к слову.

Я писал уже в «Заметках по следам дискуссии» (гл. 2), что Иваниана самый дорогой мне сегмент трилогии. Во-первых, буквально. Ни в какой другой ее сегмент не вложено больше труда. Представьте объем работы, который понадобился, чтобы собрать все, что говорили, писали, думали о Грозном царе и о сотворении самодержавной государственности в России историки, философы, романисты, поэты, режиссеры, драматурги и публицисты, одним словом, креативная, как принято сейчас ее называть, элита страны – за четыре с лишним столетия (!). Во-вторых, потому, что никакой

другой пример не продемонстрировал бы с такой убедительностью **цивилизационную неустойчивость России** (я имею в виду повторяющиеся попытки отгородиться от Европы, отречься, другими словами, от своих цивилизационных корней, и уйти, по слову Чаадаева, «обратно в пустыню»).

Формально Иваниана – это прослеженная на протяжении веков история почти невероятных метаморфоз, пережитых образом одного исторического персонажа. По сути, однако, это **история русской общественной мысли** со всеми ее воодушевлениями и откатами, надеждами и отчаянием.

Вот уж кто, перефразируя известную мысль Пришвина, поистине добился при жизни бессмертия, так это Грозный царь. Посмертная его репутация колебалась от «героя добродетели» до «неистового кровопийцы» и от «великого государственного деятеля» до «злодея с подъяческим умом» (это для потомков, конечно, для современников он, как мы уже говорили, был однозначно «царем-мучителем», «мятежником в собственном государстве»). А потомки то втоптывали его в грязь, то вновь короновали, и снова топтали, и снова короновали. Во временном мини-масштабе видим мы нечто подобное с образом Сталина. Но Сталин **не творец государственности**, всего лишь самый успешный и кровожадный из ее пользователей. А Грозный ее сотворил, почувствуйте, как говорят в Одессе, разницу. И потому метаморфозы его бессмертия – на века.

Заметил это еще в конце XIX века один из самых влиятельных тогда публицистов Н.К. Михайловский: «Так-то рушатся, – растерянно признавался он, – все надежды на прочно установившееся определенное суждение об Иване Грозном. Принимая в соображение, что в стараниях выработать это определенное сужде-

ние участвовали лучшие умы русской науки, блестящие талантами и эрудицией, можно, пожалуй, прийти к заключению, что сама задача устранить в этом случае разногласия есть нечто фантастическое. Если столько талантливых, добросовестных и ученых людей не могут сговориться, то не значит ли это, что сговориться и невозможно?» (Н.К. Михайловский, Сочинения, т. 6, Спб., 1909, с. 134) Вот такая заковыка. Мы еще поговорим о ней подробно.

Сейчас скажу лишь, что «невозможность сговориться» была, как оказалось, лишь полбеды в Иваниане. И предположить не мог милый Николай Константинович (он умер в 1904), как выглядит в ней настоящая беда. Пришла она в середине XX века, когда все эти умные, ученые, талантливые люди – сговорились! Кто по царской воле, а кто и по собственной. Так или иначе, случился тогда наихудший из всех «историографических кошмаров», как именовал коронации Грозного замечательный советский историк С.Б. Веселовский. Но эту, самую загадочную из всех загадок Иванианы поберегу я для финала книги. Здесь поразмышляем мы с читателем лишь над самыми очевидными мифами Иванианы. А теперь – к тексту.

Надеюсь, у читателя не осталось сомнений, что когда я употребляю термин «цивилизационная катастрофы», как в случае Октябрьской революции 1917 или, ближе к нашей теме, самодержавной революции Ивана Грозного, имею я в виду отречение России от ее цивилизационных корней. Понятно, что воспринималось это современниками как крушение векового строя жизни, того, как жили их деды и прадеды, если не конец света. Любопытнее, однако, что и сам архитектор самодержавия вполне отдавал себе отчет

в том, что разрушает традицию предков, отторгает страну от её корней. Сознал, другими словами, что с точки зрения священной в его время «старины» попытка его **нелегитимна**.

Это заметил еще Ключевский: «Сам царь Иван смотрел на учрежденную им опричнину как на свое частное владение, на особый двор или удел, который он выделил из состава государства... Иван как бы признавал, что остальная русская земля составляла ведомство Совета, состоявшего из потомков её бывших властителей... из которых состояло московское боярство, заседавшее в земской думе»¹⁵¹.

Именно поэтому вся неопричная часть России, Земщина, управлявшаяся, как и прежде, аристократической Думой и её административным аппаратом, была отстранена царем от участия в политических решениях. Она оказалась как бы европейским островом в бушующем вокруг неё океане деспотической опричнины. Я говорю «европейским» потому, что латентные ограничения власти продолжали работать на территории Земщины, тогда как в царском уделе существовать они перестали.

В этой – первой в России попытке уничтожения латентных ограничений власти – и состоял, по-моему, смысл самодержавной революции. В тот короткий революционный миг – с 1565 по 1572 – Россия пережила чудовищный эксперимент сосуществования в одной стране деспотизма и абсолютизма, опыт, оставивший неизгладимый след на всей её последующей истории.

Попытка царя Ивана превратить абсолютную монархию в деспотизм удалась и не удалась. Не уда-

¹⁵¹ В.О. Ключевский. Сочинения, т. 2, 1937, с. 189–190.

лась в том смысле, что – из-за мощного сопротивления европейской традиции – деспотией Россия так и не стала. Но и удалась потому, что европейское государство оказалось в результате деформировано до неузнаваемости, превратилось во что-то другое, до тех пор неслыханное. Можно сказать, что, когда две мощные культурные традиции схлестнулись и переплелись друг с другом в сердце одной страны на короткое историческое мгновение, результатом этого рокового объятия было крушение русского абсолютизма и взрывное, как вспышка новой звезды, сотворение гибрида.

Но импульс первоначальной европейской традиции продолжал жить. И не только в глубинах национального сознания. Жил он и во вполне реальных феноменах, которых в принципе не могло быть при деспотизме: аристократия и политическая оппозиция оказались в России неискоренимы. Страна продолжала стремиться к модернизации и реформы практически не сходили с её повестки дня. Это обстоятельство наводит на мысль, что не всё еще было потеряно и после самодержавной революции.

В конце концов, европейская история полна «отклонений монархии к тирании», говоря словами Аристотеля, пусть и не столь страшных, как опричнина, но достаточно жестоких, чтобы заставить Мерсье де ла Ривьера и Шарля де Монтескье говорить о деспотизме во Франции. Почему, однако, не вернулась российская государственность, в отличие от французской, обратно к абсолютистской оси, где стартовала она вместе с Европой при Иване III? Отчасти, конечно, потому, что не нашлось среди ее лидеров еще одного Ивана III, «великого князя компромисса», способного развернуть страну на 180

градусов. Но главным образом потому, я думаю, что самодержавная революция в России совпала с историческими обстоятельствами, сделавшими стандартный в Европе откат к исходной форме абсолютной монархии невозможным.

Я имею в виду в первую очередь крушение православной Реформации, самыми очевидными результатами которого были первая катастрофа русской аристократии и тотальное закрепощение крестьянства, на столетия законсервировавшее патерналистскую ментальность подавляющего большинства закрепощенного народа. На академическом жаргоне говорю я о том, что выпадение из Европы оказалось **институционализировано**. Имею я также в виду и открытую границу в северной Евразии, и вытекавший из этого соблазн военно-имперской экспансии. Тот самый соблазн, что подвигнул в XIII веке монголов на попытку завоевания мира.

Если и играли во всем этом роль пресловутые азиатские и византийские влияния, на века пленившие западную историографию, то разве лишь в том, что существенно ослабили **культурные** ограничения власти (что это означало, видели мы в гл. 7 «Самодержавная государственность»).

ГДЕ КОНЧАЕТСЯ АНАЛОГИЯ

Я понимаю скептиков, сомневающих в самой возможности столь внезапной цивилизационной катастрофы. И сознаю, что практически невозможно было бы их убедить, когда б аналогичная катастрофа не повторилась в России и в XX веке.

Я уже цитировал слова Герцена, что Пушкин был ответом России на вызов, брошенный ей Пе-

тром. Мало кто в этом сомневается. Так же, как и в том, что реформы 1860-х, сыграли в русской истории роль аналогичную Великой Реформе 1550-х. То есть, несмотря на грубейшие, непростительные ошибки их архитекторов, порою даже против их воли, поставили-таки Россию на европейские рельсы. И впрямь ведь двинулась тогда, казалось, история страны по формуле Гегеля к «осознанию свободы».

Но что потом? Чем кончилось это второе, если хотите, «европейское столетие» России? Разве не такой же цивилизационной катастрофой, как в 1560-е? Разве не потекла внезапно история вспять – в тот же самодержавный тупик, к произволу власти – **демонстративно отрицавшей не только юридические, но и латентные ее ограничения?**

Короче, как мы уже говорили, там, где пасует логика, приходит на помощь история. И сама её сложность, как это ни парадоксально, упрощает порою работу историка. Но вот где аналогия кончается.

Очень немногие среди просвещенных людей и тем более среди историков станут отрицать роль Ленина в цивилизационной катастрофе XX века. Тут приговор жюри практически единодушен: виновен. Ничего подобного, однако, не происходит почему-то по отношению к аналогичной роли Ивана Грозного в такой же катастрофе века XVI. Больше того, тут, напомним слова Николая Михайловского, происходит нечто прямо противоположное.

Конечно, писались они задолго до исторического эксперимента 1917, пролившего совершенно неожиданный свет на феномен российской цивилизационной катастрофы. И «задача устранить разногласия» оказалась в советские времена еще более, если

это возможно, фантастической, чем во времена Михайловского. Почему? Едва ли пойдем мы до конца истоки нашей трагедии, не углубившись в эту самую загадочную, как я уже говорил, из ее загадок.

ЛАБИРИНТ

Приступая к анализу эволюции идей, историк ищет, прежде всего, приемы классификации, своего рода магнитные силовые линии, по которым можно комфортабельно расположить проповедников и хулителей тех или иных исторических стратагем. Со времен Великой Французской революции удобнее всего было располагать их как «правых» и «левых». Или, скажем, как «консерваторов» и «либералов». Или хотя бы как «идеологов» и «ученых». Особая беспримерная трудность Иванианы состоит в том, что ни одна из этих проверенных схем в ней не работает.

Приходишь в отчаяние, когда такой бесспорно «левый» диссидент, как декабрист Рылеев, сражается в Иваниане плечом к плечу с таким зубром реакции, как историк Погодин. Или когда подают друг другу руки через десятилетия голубой воды либерал Кавелин и черносотенец, член «Союза Русского Народа» Иловайский. Или когда Бестужев-Рюмин и Белов, объявленные во всех советских учебниках «представителями реакционной буржуазно-дворянской историографии», весело бегут в одной упряжке с авторами этих самых учебников Бахрушиным и Смирновым.

Соблазнительно было обойти эту головоломную трудность, просто объявив писания предшественников «ненаучными». В одних случаях это означало, что неудобные мнения продиктованы скорее эмоци-

ями и предрассудками, нежели анализом первоисточников. В других – как делали благочестивые марксисты – предшественники оказывались «заражены идеологией отживающих классов» и уже поэтому неспособны приобщиться к лону истинной науки. Одни порицали предшественников за «противоестественность воззрений» или за «пренебрежение фактическим материалом». Другие – за то, что те смотрели на вещи не с той стороны, с какой подобает смотреть истинным ученым.

Сегодня трудно читать без улыбки, скажем, пространную рецензию К.Д. Кавелина на статью М.Н. Погодина «О характере Ивана Грозного», где автор высокомерно, чтоб не сказать издевательски, разносит своего предшественника за «предрассудки»: «Кто хоть сколько-нибудь знаком с ходом нашей исторической науки, тот знает, сколько теперь напечатано материалов, в то время [в 1825 году] неизвестных и недоступных. Предрассудков было несравненно больше... Вдобавок, тогда еще безгранично господствовал авторитет Карамзина, который при всех своих великих и вечно-незабвенных заслугах для русской истории, внес в нее совершенно противоестественное воззрение»¹⁵².

Из этого следовало, разумеется, что, чем меньше будет «предрассудков», и чем скорее «противоестественное воззрение» заменится «естественным» (т.е. его, Кавелина), тем ближе мы будем к истине. Аналогичной точки зрения придерживался современник и единомышленник Кавелина С.М. Соловьев, объяснивший разногласия предшественников «незрелостью исторической науки, непривычкой

¹⁵² К.Д. Кавелин. Сочинения, ч. 2, М., 1889, с. 134.

обращать внимание на связь, преемство явлений. Иоанн IV не был понят, потому что был отделен от отца, деда и прадеда своих»¹⁵³.

Увы, несколько десятилетий спустя тот же Михайловский заметил по этому поводу саркастически: «Соловьев исполнил эту задачу, привел деятельность Ивана в связь с деятельностью отца, деда, прадеда и провел связь даже дальше вглубь времен, но разногласие не прекратилось»¹⁵⁴. А еще через полвека С.Б. Веселовский воскликнул в отчаянии: «созревание исторической науки подвигается так медленно, что может поколебать нашу веру в силу человеческого разума вообще, а не только в вопросе о царе Иване и его времени»¹⁵⁵.

Все это, однако, не помешало С.Ф. Платонову как раз в промежутке между двумя этими столь пессимистическими констатациями представить Ивану как образец «созревания» исторической науки. «Для подробного обзора всего, что написано о Грозном историками и поэтами, – писал он в 1923 году, – потребна целая книга. От “Истории Российской” князя Михайлы Щербатова (1789 год) до труда Р.Ю. Виппера “Иван Грозный” (1922 год) понимание Ивана Грозного и его эпохи пережило ряд этапов и пришло к существенному успеху. Можно сказать, что этот успех – одна из блестящих страниц в истории нашей науки, одна из решительных побед научного метода»¹⁵⁶.

¹⁵³ Н.К. Михайловский. Цит. соч., с. 134.

¹⁵⁴ Там же.

¹⁵⁵ С.Б. Веселовский. Исследования по истории опричнины, М, 1963, с. 35.

¹⁵⁶ С.Ф. Платонов. Иван Грозный, СПб, 1923, с. 5.

Вот и поди выберись из этого лабиринта. Но то ли еще будет!

ГЛЯДЯ «СВЕРХУ» И «СНИЗУ»

После того, как Платонов умер в ссылке, а «появление и распространение марксизма, – говоря словами А.А. Зимина, – произвело переворот в исторической науке»¹⁵⁷, все окончательно замутилось в Иваниане и пришло в состояние еще большей «незрелости», чем было оно до Кавелина и Соловьева. Если те смотрели на Карамзина как на раба идеалистических «предрассудков», то первый лидер советской историографии М.Н. Покровский думал о Соловьеве еще хуже, чем тот о Карамзине. «Взгляды Соловьева были взглядами историка-идеалиста, который смотрит на исторический процесс сверху, со стороны командующих классов, а не снизу, от классов угнетенных»¹⁵⁸.

И если Соловьев, глядя на исторический процесс «сверху», обнаружил, что Грозный «был, бесспорно, самый даровитый государь, какого только представляет нам русская история до Петра Великого, самая блестящая личность из всех Рюриковичей»¹⁵⁹, то для Покровского, смотревшего «снизу», тот же Грозный «представлял собой тип истеричного самодура, помнящего только о своем “я” и не желающего ничего знать, помимо этого драгоценного “я”, ника-

¹⁵⁷ А.А. Зимин. Реформы Ивана Грозного, М., 1960, с. 31.

¹⁵⁸ М.Н. Покровский. Избранные произведения, кн. 3, М., 1967, с. 239.

¹⁵⁹ С.М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. 3, 1960, с. 707.

ких политических принципов и общественных обязанностей»¹⁶⁰.

Но того, что произошло дальше, не могли предвидеть ни Соловьев, ни Покровский. Ибо дальше произошло нечто уже совершенно необъяснимое. А именно, оба взаимоисключающие «воззрения» вдруг амальгамировались, образовав чудовищную смесь, которая назвала себя «истинной наукой» и попыталась смотреть на Ивана Грозного одновременно и «снизу» и «сверху».

«НАУЧНАЯ» АМАЛЬГАМА

Сначала И.И. Полосин, смотря, как положено советскому историку, «от классов угнетенных», честно признал, что смысл опричнины Грозного «в закреплении крестьян, в крепостническом ограживании общинных угодий, в ликвидации Юрьева дня»¹⁶¹. Не в силах, однако, отказаться от соблазна посмотреть на дело и «со стороны командующих классов» – своего, конечно, времени – (отражая, по его собственным словам, «могучее воздействие современной действительности»), обнаружил он вдруг в той же самой опричнине «военно-самодержавный коммунизм»¹⁶².

Другими словами, Полосин нечаянно (и с потрясающей откровенностью) поставил знак равенства между коммунизмом и крепостничеством. Казалось бы, заслуживал он за такую откровенность порки – и «сверху», и «снизу». В одном случае за разобла-

¹⁶⁰ М.Н. Покровский. Цит. соч. кн. 1, М., 1966, с. 256.

¹⁶¹ И.И. Полосин. Социально-политическая история России XVI – начала XVII вв., М., 1963, с. 20.

¹⁶² И.И. Полосин. Цит. соч., с. 14

чение крепостнического смысла опричнины, в другом – за её неожиданную реабилитацию. Нельзя же, в самом деле, так очевидно сидеть на двух стульях. Однако коллегам Полосина было уже не до него. Под «могучим воздействием современной действительности» реабилитация Грозного набирала темп. Один почтенный историк спешил опередить другого. И хотя совсем уже отказаться от стула «угнетенных классов» было нельзя, но стул «командующих классов» становился все более привлекательным.

До такой степени, что к середине XX века даже Соловьев (который, хоть и восхищался правительственными дарованиями царя Ивана, но все-таки с дрожью в голосе укорял его в нравственной ущербности), казался смотрящим «снизу», тогда как советские историки смотрели теперь исключительно «сверху». Более того, именно такой взгляд и был объявлен «единственно научным». Как провозгласил во втором издании своей книги (в 1942 году) Р.Ю. Виппер, «только советская историческая наука восстановила подлинный образ Ивана Грозного как создателя централизованного государства и крупнейшего политического деятеля своего времени»¹⁶³.

Это, несмотря на отмену Юрьева дня и закрепощение крестьян. Несмотря на разграбление страны и внешнеполитическую катастрофу. Я не говорю уже о таких пустяках, как беспокоившее Карамзина и Соловьева превращение царя в «неистового кровопийцу». *Современный* поэт Наум Коржавин замечательно точно схватил суть этой «научной» амальгамы в одной строфе, посвященной другому московскому князю:

¹⁶³ Р.Ю. Виппер. Иван Грозный, Ташкент, 1942, с. 31.

Был ты видом довольно противен,
Сердцем подл, – но не в этом суть.
Исторически прогрессивен
Оказался твой жизненный путь.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО

Так или иначе, «переворот в исторической науке» привел к тому, что Иваниана и впрямь была в очередной раз перевернута с ног на голову. Именно это и назвал «историографическим кошмаром» С.Б. Веселовский. Он много размышлял о происхождении этого кошмара в книге, написанной в 1940-е, но опубликованной, разумеется, лишь четверть века спустя.

«С недавних пор все, кому приходилось писать об Иване Грозном и его времени, заговорили в один голос, что наконец-то Иван как историческая личность реабилитирован от наветов и искажений старой историографии и предстал перед нами во весь рост в правильном освещении. С. Бородин в отзыве о трилогии В. Костылева хвалил автора за то, что Иван Грозный показан у него “передовым государственным деятелем, преобразователем жизни страны, твердым в достижении своей цели, прозорливым и смелым”.

С. Голубов в отзыве о новой постановке пьесы А. Толстого на сцене Малого театра писал, что после многих веков наветов и клеветы врагов Ивана Грозного “мы впервые видим на сцене подлинную историческую фигуру борца за пресветлое царство, горячего патриота своей родины, могучего государственного деятеля”. Приблизительно так же высказался академик Державин: “Лишь сравнительно недавно события периода царствования Ивана IV получили

в нашей исторической науке правильное объективное толкование". Итак, реабилитация личности и государственной деятельности Ивана есть новость, последнее слово советской исторической науки. Но верно ли оно? Можно ли говорить, что историки самых разнообразных направлений, в том числе и марксисты, двести лет только и делали, что заблуждались и искажали прошлое своей родины?»¹⁶⁴

А почему, собственно, нельзя? Разве не то же самое говорили Кавелин и Соловьев о Карамзине и Погодине? А Покровский и Полосин о Соловьеве и Кавелине? В этом смысле Виппер и Державин вели себя как раз вполне традиционно, раскассировав Покровского и Веселовского и обвинив их в «искажении прошлого своей родины» (а заодно, конечно, отказав в «научности» и Соловьеву, и Кавелину, и тем более Карамзину и Погодину). Нет, не прошибить было печальными вопросами броню торжествующих оппонентов. Послушаем, однако, как объясняет Веселовский происхождение «кошмара».

Во-первых, полагает он, — дело в том, что «наставлять историков на путь истинный... взялись литераторы, драматурги, театральные критики и кинорежиссеры», один словом, профаны. Опять холостой выстрел. Потому что академик Державин, которого он только что цитировал, был вполне профессиональным историком. Так же, как академик Виппер, четырежды в четырех изданиях своего «Ивана Грозного» пропевший осанну «повелителю народов и великому патриоту». Крупнейшим специалистом по русской истории был и профессор Бахрушин, тоже выпустивший три издания своего «Ивана Грозного», где тиран изображен монархом демократиче-

¹⁶⁴ С.Б. Веселовский. Цит. соч., с. 36–37.

ским, отдавшим, так сказать, всю свою кровь, каплю за каплей, делу пролетариата, виноват, русского народа. Высокопризнанным специалистом был и профессор Смирнов, тоже автор «Ивана Грозного», дошедший в апологетическом экстазе до того, что открыто противопоставил научному анализу «силу народной мудрости, оценившей и прочно удержавшей в своем сознании действительно прогрессивные черты деятельности Грозного»¹⁶⁵.

Между тем даже Карамзин, казавшийся теперь уже совершенно допотопным, и тот с большим достоинством сумел отделить интеллект нации от ее предрассудков и – в противоположность профессионалам XX века – без колебаний отдал предпочтение первому. Вот как заканчивает он девятый том своей *Истории государства Российского*: «История злопаятнее народа»¹⁶⁶.

Проблема была, следовательно, не в торжестве профанов, но в том, что полтора столетия спустя после Карамзина историки-профессионалы сделали почему-то выбор противоположный. И без всякого стеснения предпочли своей профессии народные песни, где «Грозный царь выступает не просто как историческое лицо, а именно как герой, деяния которого воспеваются и прославляются». Они, а не профаны писали свои книги, как эти самые песни о «великом друге и вожде», писали, отбивая хлеб у драматургов и режиссеров, писали наперегонки с ними – и опережая их. Нет, не подтверждается фактами первый тезис Веселовского.

¹⁶⁵ И.И. Смирнов. Иван Грозный, Л., 1944, с. 5.

¹⁶⁶ Н.М. Карамзин. История государства Российского, т.9, СПб, 1821, с. 472.

«Но главное, – выдвигает он второй тезис, – то, что люди науки, и в том числе историки, давно утратили наивную веру в чудеса и твердо знают, что сказать что-либо новое в исторической науке не так легко, что для этого необходим большой и добросовестный труд над первоисточниками, новый фактический материал и совершенно недостаточно вдохновения, хотя бы и самого благожелательного»¹⁶⁷. Но разве не буквально то же самое слышали мы за столетие до этого от Кавелина и Соловьева? И разве предостерегли их проповеди общественное сознание России от жесточайшего рецидива «историографического кошмара»? Короче, и второй тезис С.Б. Веселовского мало что нам объясняет.

НАУКА И НАЦИОНАЛЬНАЯ ДРАМА

Степан Борисович был великолепным историком, ученым милостью Божией. Я искренне сочувствую его горестному недоумению и растерянности. Но сочувствие не может помешать мне констатировать, что дело тут намного сложнее, чем ему представлялось. Он встретился с национальной драмой, а пытался трактовать ее как случайное и временное отклонение от «науки». Даже оппоненты подсказывали ему, что не так все просто, что на самом деле уходит его спор с современным ему кошмаром вглубь веков. Тот же Полосин доказывал, что Веселовский «изучает опричнину с позиций князя Курбского, позиций ненадежных, попросту сказать, насквозь прогневших»¹⁶⁸.

¹⁶⁷ С.Б. Веселовский. Цит. соч., с. 37.

¹⁶⁸ И.И. Полосин. Цит. соч., с. 19.

Я уверен, что Степан Борисович никогда бы с такой аналогией не согласился. И зря. Потому что, если отбросить партийно-советскую брань, аналогия-то, по сути, верна. Потому что и Курбский, и Веселовский действительно сражались по одну сторону баррикад в вековой национальной дискуссии о природе и происхождении русского самодержавия, в исторической, если хотите, битве, происходящей в сердце одного народа, расколотом надвое.

Может быть, все разбитые надежды и отчаяние Веселовского происходили из того, что он никогда не усомнился в самом постулате Соловьева, связавшим две совершенно разные плоскости исторического бытия нации – глубокую травму общественного сознания с той или иной степенью «зрелости» науки. На самом деле окончательное решение теоретического спора о прошлом страны немислимо, покуда не утратит оно своей практической актуальности.

Ибо никакая степень зрелости науки не способна освободить общественное сознание от древней и мощной патерналистской традиции. Изжить ее общество может только в собственном историческом опыте. А наука, сколько б новых первоисточников ни ввела она в оборот, заменить этот опыт не в силах (разве не разворачивается перед нашими глазами сейчас совершенно такая же история с одним из свирепейших наследников Грозного Иосифом Сталиным?).

Другое дело, что, как врач больному, может она помочь обществу – или помешать ему – преодолеть эту традицию. Вопрос лишь в том – как? И только здесь подходим мы к действительной проблеме Иванианы. С моей точки зрения, состоит она в том, что все знаменитые критики Грозного в русской истори-

ографии, начиная от Михайлы Щербатова и кончая самим Веселовским, всегда были скорее диссидентами, нежели оппозиционерами.

ДИССИДЕНТЫ ИВАНИАНЫ

Иначе говоря, они спорили, обличали, негодовали и проклинали, они были правдивы и сильны в своей критике, покуда достаточно было одной критики. Но конструктивной альтернативы патерналистской традиции они никогда не выдвинули. Они просто не увидели ее в прошлом своей страны – ни теоретически, ни исторически. Не увидели, другими словами, что одним лишь самодержавным своим отрезком история России не исчерпывается. И что холопская традиция, из которой этот отрезок вырос, лишь часть её исторического предания.

Самое большее, что могли они в смысле альтернативы предложить, это опыт других, более благополучных, более цивилизованных стран. И потому неспособны были объяснить даже собственное свое происхождение. Вот почему так легко было представить их агентами, сознательными или бессознательными, чужих этих стран, антигосударственниками и антипатриотами. Убирайтесь в «латинскую» Литву, могли им сказать в XVI веке. Или в «жидовский» Израиль – в XX.

Зато апологеты самодержавия, начиная от самого Ивана Грозного и кончая Иваном Смирновым, опирались не только на эту холопскую традицию, но и на предрассудки нации, пережившей цивилизационную катастрофу. И на внедренное в массовое подсознание могучее стремление к оправданию сильной власти державного Хозяина. Да зачем далеко

ходить? Вот как суммировал уже в 2000 году главный урок «русской цивилизации» утонченный интеллеktуал и выдающийся идеолог неоевразийства проф. В.В. Ильин: «За какую бы политическую ширму правительства ни прятались, России хорошо при сильной власти, строящей или восстанавливающей её как империю»¹⁶⁹.

Потому-то неизменно и оказывались диссиденты Иванианы безоружны перед апологетами самодержавия. Ибо, что значили все первоисточники, все нравственное негодование и даже мартирологи жертв самодержавия перед страшной мощью массовых культурных стереотипов? Это было все равно что штурмовать неприступную крепость, вооружившись гусиными перьями.

Только противопоставив холопской традиции России её собственную европейскую традицию, ничуть, как мы видели, не менее древнюю и легитимную, могли бы обличители Грозного, по крайней мере, уравнивать шансы. И только разобравшись в причинах многочисленных поражений европейских реформ, рожденных этой альтернативной традицией, и научившись на ошибках своих предшественников, были бы они в силах противостоять на равных апологетам «людодерства».

Но никогда до сих пор они этого не сделали. И потому снова и снова терпели поражение от наследников Ивана Грозного и опричников русской историографии. Точно так же, как *потерпели поражение* их прародители, реформаторы XVI века – от рук самого Грозного и его опричников. В заключающих эту книгу главах *Иванианы XX века* я постараюсь показать, как это происходило.

¹⁶⁹ Российская цивилизация, М., 2000, с. 125.

**ИВАНИАНА
БЕК XX**

Глава 21

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ

Наблюдателю, который на грани веков, где-нибудь около 1900-го решился бы предсказать дальнейшее движение Иванианы, пришлось бы, я думаю, констатировать, что политической (не говоря уже о моральной) репутации Грозного царя нанесен смертельный удар. При всей спорности позиции Ключевского его приговор опричнине выглядел, казалось, окончательным. Отныне она должна была восприниматься лишь как символ политической иррациональности, как страшная судорога страны, впавшей в жестокий приступ самоистребления. Какие бы новые факты ни были открыты историками XX века, и к каким бы новым заключениям они ни пришли, одно должно было остаться бесспорным: Иван Грозный и его опричнина реабилитации не подлежат. И, стало быть, еще один «историографический кошмар» исключается. Ни новых Татищевых, ни новых Кавелиных больше не будет.

Мифы медленно отступали перед беспощадным светом разума. Отступали, казалось, навсегда. Историки осознали, что в Иваниане переступлен какой-то порог, за которым нет возврата к допотопным эмоциям и «государственным» символам. Едва ли может быть сомнение, что авторитет и спокойная му-

дрость Ключевского сыграли в этом повороте решающую роль.

В конечном счете сводилось все к тому, что драма уходит из Иванианы и превращается она в более или менее бесстрастное и респектабельное занятие архивистов и профессоров, бесконечно далекое от любопытства профанов и политических бурь. Из центра философских схваток, из способа самоосознания общества возвращается, *наконец*, Иваниана в материнское лоно академической историографии – таков, вероятно, был бы прогноз объективного наблюдателя в точке пересечения двух столетий.

Исходя из положения дел в тогдашней Иваниане, он был бы совершенно прав. Исходя из положения дел в тогдашней России, ошибся бы он непростительно. Ибо главная драма была как раз впереди: третий «историографический кошмар» поджидал Иваниану за новым поворотом в судьбе страны. Из петровской полуЕвропы она возвращалась после 1917 в московитскую Евразию. И масштабам этой цивилизационной катастрофы суждено было превзойти все, что в ней со времен опричнины происходило.

Я говорю сейчас не только о холопских гимнах «повелителю народов» и «великому государственному деятелю», которые предстояло услышать следующему поколению русских читателей Иванианы от следующего поколения русских историков. Говорю я о том, что снова *попытаются они рационализировать* иррациональность террора и оправдать неоправдываемое. Как все это произошло, мы скоро увидим.

А пока, чтобы дать читателю возможность представить себе масштабы грядущей реабилитации пер-

вого русского самодержца, сошлюсь лишь на один факт. Никогда, даже во время обоих предшествовавших «историографических кошмаров», не позволил себе ни один русский историк открыто оправдать вместе с опричниной величайшее зло, принесенное ею России, – **порабощение соотечественников**, крепостное право. Крестьянское рабство гирей висело на ногах адвокатов Грозного. Его откровенная реакционность бросала мрачную тень на светлые ризы «прогрессивной опричнины».

И вот в 1940-е само крепостное право **объявлено было прогрессивным**. Так и скажет И.И. Полосин: «Усиление крепостничества тогда, в XVI веке, означало усиленное и ускоренное развитие производительных сил страны... Крепостничество было естественной стихийной необходимостью, морально омерзительной, но экономически неизбежной»¹⁷⁰.

Как видим, никуда не ушли из Иванианы политика и драма. Напротив, вступала она в самую трагическую свою эпоху. Повторялась трагедия. Произошло это, конечно, не вдруг. И замечательно интересно посмотреть, как готовилась эта новая, можно сказать, коронация Грозного.

«СПЛОШНОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ»

Государственная школа тихо умирала в начале века. Несмотря на фундаментальные труды П.Н. Милюкова и Г.В. Плеханова, ее триумфы были уже позади. Знаменитые схемы, когда-то властвовавшие в историографии, будь то «борьба государства с ро-

¹⁷⁰ И.И. Полосин. Социально-политическая история России XVI–начала XVII века, М., 1963, с. 132.

довым строем» или «борьба со степью», вызывали теперь у профессионалов лишь снисходительную усмешку. Подобно новым монголам, орды специалистов, исповедовавших классовую борьбу и экономическое объяснение истории, одну за другой разрушали крепости государственной школы, с варварской дерзостью ниспровергая ее обветшавшие мифы.

Если первый властитель дум русской историографии XX века Сергей Федорович Платонов и признавал с издевательской академической вежливостью, что «научный метод историко-юридической [государственной] школы оказал могучее влияние на развитие науки русской истории», то имел он в виду лишь «количественный и качественный рост» трудов русских историков¹⁷¹. О «гиперболах» основателя школы Кавелина говорил он с тем же презрением к архаическому дилетантизму, с каким Кавелин говорил в свое время о метафорах Карамзина. Другой властитель дум нового времени Михаил Николаевич Покровский не был даже вежлив: он откровенно потешался над старыми мифами.

Его едкие насмешки заслуживают воспроизведения. В писаниях историков государственной школы, — говорит он, — «развертывается грандиозная картина, как “борьба со степью” создала, выковала русское государство. Степняки, как хищные звери, нападали на Русь; чтоб спастись от этих набегов, все государство было построено по-военному: половина, служилые люди (помещики) должны были жить в постоянной готовности для боя; другая половина, тяглые люди (купцы, ремесленники и крестьяне) должна была содержать первую... Так государство во имя общего

¹⁷¹ С.Ф. Платонов. Иван Грозный, СПб., 1923, с. 19.

интереса закрепостило себе общество; только когда борьба со степью кончилась победой русского государства, началось раскрепощение: сначала в XVIII веке была снята повинность с дворян, потом в XIX пало крепостное право и для крестьян... В этой грандиозной картине имеется один недостаток: она совершенно не соответствует действительности. Наибольшее напряжение борьбы со степью приходится на XI–XIII века... но как раз тогда не образовалось единого государства, и никакого закрепощения не было... А в XVI–XVIII вв., когда возникли и Московское государство, и крепостное право, татары уже настолько ослабели, что и мечтать не могли о завоевании Руси»¹⁷².

Заметьте на полях, что докрепостнические конец XV и первую половину XVI веков Покровский пропустил, целое почти столетие, то самое, что я впоследствии назову «европейским», пропустил, словно его и не было. Но как бы то ни было, философия истории, над которой смеются, очевидно, не может больше исполнять свою функцию. Историко-юридическая школа (которую попытался было, заметим в скобках, воскресить И.М. Клямкин), хотя и продолжала в начале XX века царствовать, но, подобно английской королеве, больше не правила. В Иваниане, можно сказать, произошел своего рода государственный переворот. К сожалению, однако, рациональности не прибавил он ей нисколько. Ибо на смену мифам государственной школы шла столь же откровенная мифология школы аграрной. Даже рискуя свехупрощением этого «аграрного переворота», скажу, тем не менее, что ровно ничего удивительно я в нем не нахожу.

¹⁷² М.Н. Покровский. Избранные произведения, т. 3, М., 1967, с. 239–240.

XIX век мучился загадкой **силы** русской государственности, поднявшей страну из «тьмы небытия» к высотам сверхдержавности. XX столетие началось с загадки **слабости** этой государственности, накренившейся над пропастью и грозившей снова уронить Россию во «тьму небытия». Так же, как в XVI веке, в центре конфликта опять стоял **вопрос о собственности на землю**. Он усугублялся гигантским демографическим бумом. И на повестке дня был новый передел земли.

Интеллигентные монархисты надеялись укрепить самодержавие, удовлетворив земельный голод крестьянства за счет выделения крепких мужиков «на хутора» и оплаченного государством массового переселения в Сибирь. Левые, напротив, надеялись сокрушить самодержавие, натравив на него крестьянство, жаждавшее помещичьей земли. Накликивали, короче говоря, новую пугачевщину. Правые радикалы мечтали о новой опричнине.

Но для всех, кто предчувствовал катастрофу, придворная аристократия, «новое боярство», окружавшее царя, было враждебной силой, препятствовавшей осуществлению их планов. И политика, как всегда, тотчас перекинулась в Иваниану. Во всяком случае «аграрный переворот» в ней и впрямь произведен был противоестественной коалицией правых (во главе с монархистом Платоновым) и левых (возглавленных марксистом Покровским).

Правый радикал К. Ярош, которого, если помнит читатель, привел в ужас Синодик Грозного, оправдывал, тем не менее, царя, уничтожившего своих советников. Царь, уверен был он, «понимал, что единственную опасность для сердечных отношений между русским народом и престолом составляют эти

навязчивые патентованные советники. Иоанн хотел отстранить их в разряд вообще граждан России и слуг отечества»¹⁷³. А поскольку они не желали «отстраняться», пришлось их уничтожить. Это была прозрачно завуалированная рекомендация Николаю II возглавить новую опричнину.

Так входил в Иваниану драматизм времени. Древняя история словно возвращалась в новую Россию, и мертвые хватали живых. Современная страна, успевшая удивить мир не только военной мощью, как во времена Ломоносова и Кавелина, но и великой культурой, страна, крупнейшему историку которой опричнина совсем еще недавно казалась *бессмысленной и бесцельной*, опять стояла на пороге средневековой судороги. Бесконечно более чем Ярош тонкий и серьезный мыслитель Платонов изображал теперь истоки опричной драмы так: «Грозный почувствовал около себя опасность оппозиции и, разумеется, понял, что это оппозиция классовая, княжеская, руководимая политическими воспоминаниями и инстинктами княжат, “восхотевших своим низменным обычаем” стать удельными владыками рядом с московским государем»¹⁷⁴. Другими словами, вернуть Русь в домонгольские, «удельные» времена, расколоть государство. Короче, Платонов отказывался рассматривать конфликт, приведший к опричнине, в традиционных терминах Соловьева-Горского, т.е. борьбы дворянства (**нового**) с боярством (**старым**). Тем более отказывался принять эту упрощенную схему государственной школы Покровский.

¹⁷³ К. Ярош. Психологическая параллель, Харьков, 1898, с. 28.

¹⁷⁴ С.Ф. Платонов. Цит. соч., с. 119.

Если Платонов поставил в центр исторической сцены «класс княжат», Покровский втолкнул на неё «класс буржуазии». Если для Платонова Правительство Адашева соответственно представляло «класс княжат», то для Покровского представляло оно «классовый союз буржуазии и помещиков». Если для Платонова поэтому суть опричнины состояла в том, что царь отнял землю у многоземельных княжат, отдав их малоземельным помещикам и предотвратив тем самым новый распад страны, то для Покровского суть её была совсем в другом. С его точки зрения, царь оказался в этом конфликте орудием буржуазии, которая, отвергнув классовый союз с боярством, выбрала себе нового партнера – помещиков.

«Во всем этом перевороте, – объясняет он, – речь шла об установлении нового классового режима, для которого личная власть царя была лишь орудием, а вовсе не об освобождении лично Грозного от стеснявшей его боярской опеки»¹⁷⁵. Но и для Платонова, и для Покровского в основе конфликта одинаково лежало перераспределение собственности на землю, аграрный кризис, экономический переворот. И тот и другой, попытавшись заменить старые мифы собственными, ничуть не менее фантастическими, потерпели, как мы увидим, сокрушительное поражение. И в то же время одержали они победу – ублюдочная «аграрная школа», родившаяся от противоестественного союза монархистов и левых, господствовала в Иваниане на протяжении большей части XX века.

Отношение Платонова к опричнине не менее сложно, нежели отношение к ней Соловьева. С одной стороны, он с точно такой же безапелляционностью,

¹⁷⁵ М.Н. Покровский. Цит. соч., т. 1, М., 1966, с. 313.

как Соловьев, провозглашает, что «смысл опричнины совершенно разъяснен научными исследованиями последних десятилетий»¹⁷⁶. И мы уже знаем, что смысла этот состоял, по Платонову, в конфискации владений княжат. Но с другой, кровь, грязь, зверства опричнины вызывали у нового классика такое же отвращение, что и у старого. И Платонов оговаривается: «цель опричнины могла бы быть достигнута менее сложным способом», ибо «способ, какой был Грозным применен, хотя и оказался действительным, однако, повлек за собою не одно уничтожение знати, но и ряд иных последствий, каких Грозный вряд ли желал и ожидал»¹⁷⁷.

Какой же в таком случае могла быть альтернатива опричнине? Как иначе мог поступить царь перед лицом нового распада, угрожавшего, по Платонову, стране? Что мог он сделать, если на стороне княжат стояло само московское правительство (или «Избранная рада», как он его по традиции называет)? «Состав рады, как надо предполагать, – говорит классик, – был княжеский, тенденция, по-видимому, тоже княжеская. Сила [их] влияния в первые годы была очень велика... весь механизм управления был в их руках»¹⁷⁸.

Так что же и вправду было делать бедному царю, восставшему против собственного правительства, а заодно и против княжеского «правительственного класса»? Мыслима ли была в таких условиях его победа без опричнины? То есть без государственного переворота, без создания собственной армии и по-

¹⁷⁶ С.Ф. Платонов. Цит. соч., с. 119.

¹⁷⁷ Там же, с. 133.

¹⁷⁸ Там же, с. 124–125.

лиции, свободной от влияния княжат, без массового террора и всех тех зверств, которые казались Платонову омерзительными? В конце концов он ведь и сам – даже 400 лет спустя – оказался не в силах придумать никакой альтернативы опричнине. Увы, моральные ламентации помогают ему не больше, чем помогли они Соловьеву. И логика его конструкции столь же неумолимо вела к **оправданию** ивановых художеств.

Это, однако, еще с полбеды. Настоящая беда началась, когда за проверку платоновской концепции взялся такой мощный и скрупулезный исследователь, как С.Б. Веселовский и пришел к выводу для нее убийственному. Концепция оказалась фикцией.

Если М.Н. Покровский, пытаясь опереться на Платонова, характеризовал его как «одного из осторожнейших в своих выводах русских историков», то заключение Веселовского было противоположным: «в погоне за эффектностью и выразительностью лекций С.Ф. Платонов отказался от присущей ему осторожности мысли и языка и дал концепцию политики царя Ивана... переполненную промахами и фактически неверными положениями». Далее, прямо именуя интерпретацию Платонова «мнимонаучной» и даже «обходным маневром реабилитации монархизма», Веселовский мрачно констатирует, что «направленность опричнины против старого землевладения удельных княжат следует признать **сплошным недо-разумением**»¹⁷⁹.

Это уничтожающее заключение полностью разделяет крупнейший (после А.А. Зимина) знаток оприч-

¹⁷⁹ С.Б. Веселовский. Исследования по истории опричнины, М., 1963, с. 332.

нины Р.Г. Скрынников: «опричина не была специальной антиудельной мерой... Ни царь Иван, ни его опричная дума никогда не выступали последовательными противниками удельного землевладения»¹⁸⁰.

ПАРАДОКС ПОКРОВСКОГО

Все это, однако, стало ясно лишь много десятилетий спустя. Для Покровского, ревизовавшего в начале века русскую историю под углом зрения марксизма, и нуждавшегося поэтому в экономическом объяснении всего на свете, концепция Платонова была даром небес. Ибо тот первым изобразил опричную драму не как бессодержательную схватку «нового» со «старым», но как воплощение классовой борьбы и неукротимого экономического прогресса. А прогресс, он что ж – он, согласно знаменитой марксовой метафоре, подобен языческому идолу, который не желает пить нектар иначе, как из черепов убитых им врагов. Прогресс связан с нравственными издержками: лес рубят, щепки летят.

Если либерал Кавелин не постыдился использовать моду на «прогресс государственности» для оправдания опричины в XIX веке, то чего ж было стесняться марксистскому либералу Покровскому, используя моду века XX на «экономический прогресс»? Опираясь на гипотезу Платонова, он создал то, что я бы назвал экономической апологией опричины.

Создал в тот самый момент, когда царь Иван безвозвратно, казалось, удалялся из политической

¹⁸⁰ Р.Г. Скрынников. Опричный террор, Л., 1967, с. 214–215.

реальности в темное средневековье, к которому и принадлежал. Именно в этот момент и обрела вдруг его опричнина вполне рациональное марксистское оправдание. Она исполняла в русской истории совершенно необходимую функцию, разрушая боярские латифундии и открывая тем самым дорогу «прогрессивному экономическому типу помещичьего землевладения», который нес с собою замену натуральных повинностей товарно-денежными отношениями. Царь Иван неожиданно оказался орудием марксистского Провидения, то бишь всемогущего Базиса.

И что против этого были интеллигентские спекуляции Ключевского о борьбе абсолютной монархии с аристократическим персоналом? Что возмущенное нравственное чувство Соловьева? Бессильные «надстроечные» сантименты. Так вознесенный на пьедестал экономического детерминизма снова подвергся реабилитации Царь-Мучитель.

Однако и у гранитно-неуязвимой экономической апологии обнаружились свои проблемы. Требовалось доказать, во-первых, что опричнина действительно преследовала прогрессивную задачу разрушения феодального землевладения; во-вторых, что боярские латифундии и впрямь стали в XVI веке реакционным бастионом на пути прогресса, и в-третьих, наконец, что именно заменившее их помещичье землевладение искомому прогрессу как раз и отвечало.

Покровский бесстрашно взялся за эту задачу: Вот как он это делал. «Два условия вели к быстрой ликвидации тогдашних московских латифундий. Во-первых, их владельцы редко обладали способностью и охотой по-новому организовать свое хозяй-

ство... Во-вторых, феодальная знатность “обязывала” и в те времена, как позже. Большой боярин должен был по традиции держать обширный “двор”, массу тунейной челяди и дружину. Пока все это жило на даровых крестьянских хлебах, боярин мог не замечать экономической тяжести своего официального престижа. Но когда многое пришлось покупать на деньги – деньги, всё падавшие в цене год от года по мере развития московского хозяйства – оно стал тяжким бременем на плечах крупного землевладельца... Мелкий вассалитет был в этом случае в гораздо более выгодном положении: он не только не тратил денег на свою службу, он еще сам получал за нее деньги. Если прибавить к этому, что маленькое имение было гораздо легче организовать, чем большое... что мелкому хозяину легко было лично учесть работу своих барщинных крестьян и холопов, а крупный должен был это делать через приказчика, то мы увидим, что в начинавшейся борьбе крупного и среднего землевладения экономически все выгоды были на стороне последнего». И, стало быть, «экспроприруя богатого боярина-вотчинника, опричнина шла по пути естественного экономического развития»¹⁸¹. (Представляете, как удивился бы царь Иван Васильевич своей экономической проницательности?)

Как бы то ни было, однако, здесь получили мы разом оба доказательства: и реакционности боярского, и прогрессивности помещичьего землевладения. Правда, экономический характер обоих внушает, признаться, некоторые сомнения. Ибо, касаясь главным образом «тяжести официального престижа» и «неохоты по-новому организовать хозяйство»,

¹⁸¹ М.Н. Покровский. Цит. соч., т. 1, с. 272, 273.

остаемся мы покуда все-таки в сфере скорее социально-психологической. Единственным собственно экономическим соображением выглядит здесь обесценение денег и, следовательно, рост цен на хлеб. Однако именно эта «революция цен» была вовсе не московским, а общеевропейским явлением – факт, известный каждому студенту-историку даже во времена Покровского.

Но если так, то отчего же связанный с нею прогрессивный «аграрный переворот» в пользу мелкого вассалитета оказался успешным лишь в России и нигде на Западе распространения не получил? Разве западные сеньоры испытывали большую, нежели московские бояре «охоту по-новому организовать хозяйство»? Или, может, феодальная знатность их менее обязывала, и потому им легче было выносить «экономическую тяжесть своего официального престижа»? Увы, на эти простые вопросы экономическая апология опричнины ответа не дает.

А ведь были и покруче. Вот один. Как мы уже знаем, опричная Россия, согласно Покровскому, хотя и являлась по форме «государством помещичьего класса»¹⁸², не только была организована «при участии капитала»¹⁸³, но и оказалась по существу этапом к воцарению на московском престоле «торгового капитала в шапке Мономаха». Одним словом, была опричина русским эквивалентом западных буржуазных революций.

В этой интерпретации Москве следовало бы, вероятно, оспорить у Нидерландов право пионера и первооткрывателя на тернистом пути европейского

¹⁸² М.Н. Покровский. Цит. соч., с. 313.

¹⁸³ Там же, с. 307.

прогресса. Я не говорю уже о том, что если триумфальная победа мелкого вассалитета и впрямь воплощала поступь прогресса, то именно Россия должна была получить решающее преимущество над странами Запада, не допустившими у себя такого прогрессивного процесса. Запад обречен был отстать в историческом соревновании, а лидером мирового прогресса предстояло стать Москве Грозного.

Непонятно лишь одно: как быть с последующими четырьмя столетиями русской истории. Как объяснить, что всех этих чудес, обещанных замечательным аграрным переворотом, почему-то не произошло? Более того, произошло как раз обратное: Россия была отброшена «во тьму небытия», а прогрессивный помещик оказался вдруг крепостником, организатором феодального рабства. Согласитесь, что-то здесь у Покровского не вытанцовывается.

Позднейшие его отечественные коллеги исходили, как мы знаем, из известного постулата, что они сначала марксисты, а потом уже ученые. Покровский был еще сначала ученым, а потом марксистом. Видимо, «буржуазная» закваска все еще давала о себе знать (он ведь был учеником Ключевского). Во всяком случае, он даже не попытался отвлечь внимание читателя от этой странной метаморфозы «прогрессивного помещика», повергавшей в прах всю его концепцию. Эта странная метаморфоза так навсегда и осталась для Покровского загадочной и необъяснимой. «Его [помещика] победа, – растерянно признавался он, – должна была бы обозначить крупный хозяйственный успех – окончательное торжество “денежной” системы над “натуральной”. На деле мы видим совсем иное. Натуральные повинности, кри-

сталлизовавшиеся в сложное целое, известное нам под именем крепостного права, снова появляются в центре сцены и держатся на этот раз цепко и надолго... Во имя экономического прогресса, раздавив феодального вотчинника, помещик очень быстро сам становится экономически отсталым типом: вот каким парадоксом заканчивается история русского народного хозяйства эпохи Грозного»¹⁸⁴.

Конечно, и этот невероятный парадокс не заставил Покровского усомниться в марксистском понимании истории. Усомнился он в себе, усомнился в возможностях тогдашней науки, возложив свои надежды на то, что его «последователи в деле применения материалистического метода к данным русского прошлого будут счастливее»¹⁸⁵. Таково было завещание патриарха советской исторической науки. Таков был генеральный вопрос, поставленный им перед последователями более полувека назад.

Последователи, впрочем, первым делом бестрепетно пожертвовали учителем, *объявив его «вульгарным материалистом»*. Но ведь это, согласитесь, никак еще не объясняло самого парадокса Покровского.

НЕЧАЯННЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Мы были бы с вами, читатель, очень наивными людьми, если б вообразили, что после того, как конструкция Платонова оказалась «сплошным недоразумением», а Покровский сам признался в своей бессилии, экономическая апология опричнины рухну-

¹⁸⁴ М.Н. Покровский. Цит. соч., т.1, с. 317–318.

¹⁸⁵ Там же, с. 319.

ла – и с нею пал очередной бастион адвокатов Грозного. Ведь знаем мы уже из опыта, что столь мощные культурно-идеологические фортеции в состоянии вынести любой штурм фактов, здравого смысла и логики. Что на месте одного павшего бастиона словно из-под земли вырастает новый, и конца им не видно, и ставить себе поэтому задачу полного их сокрушения мог бы, наверное, лишь рыцарь печального образа.

Вот доказательство: на обломках «недоразумения» и «парадокса» сложилась – и благополучно функционировала на протяжении десятилетий – так называемая аграрная школа советских историков. Более того, в Иваниане XX века она господствовала. По авторитетному свидетельству Н.Е. Носова, «именно такая точка зрения проводится в трудах Б.Д. Грекова, И.И. Полосина, И.И. Смирнова, Р.Г. Скрынникова, Ю.Г. Алексеева и до сего времени является, пожалуй, наиболее распространенной»¹⁸⁶. Это написано в 1970 году, и перечислены здесь почти все светила советской историографии.

Между тем очень просто показать – опираясь на исследования и выводы самих советских историков (разумеется, тех, кто не причислял себя к аграрной школе) – что парадокс Покровского ничуть не меньше, чем концепция Платонова, основан на элементарном недоразумении. Крупное землевладение в средневековой России вовсе не было **синонимом крупного хозяйства**. Как раз напротив, часто было оно лишь организационной формой, лишь защитной оболочкой, внутри которой происходил действи-

¹⁸⁶ Н.Е. Носов. О двух тенденциях развития феодального землевладения в Северо-Восточной Руси в XV–XVI веках, М., 1970, с. 5.

тельно прогрессивный, единственно прогрессивный процесс крестьянской дифференциации. Здесь, как говорит Носов, «развитие идет уже по новому, буржуазному, а не феодальному пути. Имеем в виду социальную дифференциацию деревни, скупку земель богатыми, складывание крестьянских торговых и промышленных капиталов. Но именно этот процесс и был резко заторможен, а потом и вообще остановлен на поместных землях»¹⁸⁷.

Точно так же описывает эту метаморфозу крупного вотчинного хозяйства в поместное академик С.Д. Сказкин: «барская запашка превращается в крупное, чисто предпринимательское хозяйство. В связи с этим изменяется и значение крестьянского хозяйства. [Оно] становится источником даровой рабочей силы, а для самого крестьянина его надел и его хозяйство становятся, по выражению В.И. Ленина, “натуральной заработной платой”»¹⁸⁸.

Надо быть уж очень ленивым и нелюбопытным, чтоб не спросить, что же на самом деле описывали Сказкин и Носов. Экономические ли результаты «ивановой опричнины» в XVI веке или сталинской коллективизации в веке XX? Разве не состоял действительный смысл коллективизации в том самом изменении значения крестьянского хозяйства, о котором говорил Сказкин? В том самом превращении приусадебного участка, оставленного крестьянину, в его «натуральную заработную плату», о котором говорил Ленин? В том самом превращении труда

¹⁸⁷ Н.Е. Носов. Цит. соч., с. 12.

¹⁸⁸ С.Д. Сказкин. «Основные проблемы так называемого второго издания крепостничества в Средней и Восточной Европе» // Вопросы истории, 1958, № 2, с. 104

крестьянина в даровую рабочую силу для обработки «барской запашки» помещиков? Разве не в разгроме и ограблении «лутчих людей» русской деревни состоял экономический смысл **обеих** опричнин (в сталинские времена это называлось раскулачиванием)?

Совпадение, согласитесь, поразительное. И ни сном, ни духом не повинны в нем Носов или Сказкин. Виновата история. Виновата новая опричнина, результат которой закономерно повторил результат опричнины старой: сельское хозяйство страны было **разрушено**. Если так, то о каком «экономическом прогрессе» может идти речь? Опричнина предстает перед нами – одинаково и в XVI и в XX веке – чудовищным воплощением средневековой реакции, в экономическом смысле ничуть не менее чем в политическом. И в этом действительный ответ на парадокс Покровского. Ответ самой истории.

Как бы то ни было, в 1930-е так называемая школа Покровского рухнула. Формально обвинили ее в вульгарном экономизме. И сажали ведь за это. Обвинительные статьи формулировались, конечно, иначе, но сроки-то давались именно за «вульгарный экономизм»! Действительная причина была, разумеется, в другом. Слишком уж назойливо эксплуатировали последователи Покровского призрак революции, находя его, как мы видели, даже в опричнине. Между тем в 1930-е созревало в России новая самодержавная государственность. И она жаждала **стабилизации**. Свою революцию она уже совершила, и новые были ей совершенно не нужны.

Соответственно потребовалась историография, которая **соединяла бы** это новое самодержавие со старым, порушенным в 1917, а не отделяла от него.

Для этого готово оно было идти на жертвы, готово было даже предпочесть старых профессоров новым революционерам. Происходило непредвиденное и невероятное. Р.Ю. Виппер, например, который впервые опубликовал свою книгу об Иване Грозном в 1922 году, когда он был бесконечно далек от марксизма, мог **двадцать лет спустя** с гордостью написать в предисловии ко второму ее изданию: «Я радуюсь тому, что основные положения моей первой работы остались непоколебленными и, как мне кажется, получили, благодаря исследованиям высокоавторитетных ученых двух последних десятилетий, новое подтверждение»¹⁸⁹. Виппер торжествовал по праву: марксисты пришли к нему, а не он к марксистам. И опять, как Кавелин в 1840-е и Платонов в 1920-е, выдвигал он стандартный и неотразимый аргумент – «исследования двух последних десятилетий».

Но даже принимая все это во внимание, нелегко объяснить ту торжественную манифестацию лояльности к Ивану Грозному, которая произошла в 1940-е. В конце концов весь пафос большевистской революции в России был направлен против «проклятого царизма» и «тюрьмы народов», в которую превратил он страну. А Грозный все-таки был первым русским царем, т.е. отцом-основателем этого самого царизма. Мало того, он был еще и основателем империи, сиречь тюрьмы народов. Я, право, не знаю, как можно было бы объяснить такой неожиданный поворот на 180 градусов, такую внезапную метаморфозу царя из тирана в символ национальной гордости, не прибегая к предложенной здесь концепции происхождения нашей трагедии.

¹⁸⁹ Р.Ю. Виппер. Иван Грозный, Ташкент, 1942, с. 3.

Мое объяснение, если помнит читатель, состоит в том, что – из-за фундаментальной двойственности своей политической культуры – Россия, как никакая другая страна в Европе (кроме разве Германии), **цивилизационно неустойчива**, иначе говоря, подвержена при определенном политическом и социальном раскладе выпадениям из Европы и вытекающим из них грандиозным цивилизационным катастрофам. Первой – и решающей – такой катастрофой и стала самодержавная революция Грозного.

Едва ли, однако, привела бы эта революция к **тотальному** перерождению русской государственности (к «политической мутации», как мы это назвали), сделавшей последующие выпадения России из Европы, по сути, неминуемыми, когда б не страшный шок, пережитый страной в 1560-е. А причиной этого шока как раз и была опричнина.

Так как было не ожидать от аналогичной катастрофы 1917 года аналогичного шока? Преследовала-то власть в XX веке совершенно ту же цель, что и революция Грозного в 1560 году – сокрушение традиционной государственности. Именно поэтому, если моя гипотеза верна, катастрофа 1917 **не могла не привести** несколькими годами позже и к тотальному террору (ибо без такого шока невозможно оказалось обеспечить необратимость революции на многие десятилетия). В 1930-е шок случился. Что дает мне, согласитесь, некоторое основание рассматривать возникновение сталинского террора **как экспериментальное, если хотите, подтверждение своей гипотезы.**

Глава 22

МЕХАНИЗМ ТЕРРОРА: ОПРИЧНИНА

Если, однако, читатель найдет неопровержимое сходство между закрепощением крестьянства в эпоху Грозного и «третьим изданием» крепостничества 400 лет спустя во времена сталинской коллективизации недостаточным подтверждением этой гипотезы, то вот, пожалуйста, другие. Р.Г. Скрынников первым в российской историографии подробно исследовал механизм опричного террора времен Грозного. И картина, возникшая под его пером, была поистине сенсационной. В том смысле, что читатель неизбежно сталкивался в ней с чем-то мучительно знакомым.

В самом деле, что должна была напоминать бесконечная вереница вытекающих одно из другого «Дел» («Дело митрополита Филиппа», «Московское дело», «Новгородское дело», «дело архиепископа Пимена», «дело Владимира Старицкого»)? Что напоминала эта волна фальсифицированных показательных процессов – с вынужденными под пыткой признаниями обвиняемых, с кровавой паутиной взаимных оговоров, с хамским торжеством «государственных обвинителей», со страшным жаргоном палачей (убить у них называлось «отделать», так и писали: «там-то отделано 50 человек, а там-то 150»)? И не записывалось ведь это ни в каком Синодике, смысла которого заключался в поминовении

душ погибших (человеческих душ, естественно, а не анонимных чисел). Это я к тому, что упомянута в Синодике лишь малая часть, лишь самые именитые из «отделанных». Между тем, мифическое число («все-го лишь» 3000 убитых опричниками), повторенное в дискуссии Игорем Чубайсом, основано-то именно на Синодике.

Как бы то ни было, не правда ли, слышали мы уже нечто подобное задолго до Скрынникова? Без сомнения, описывая террор 1560-х, он рассказывает нам то, что мы и без него знаем: историю «великой чистки» 1930-х. Но еще более удивительно, что рассказывает он это нам, не только не намекая на сталинский террор, но, быть может, и не думая о нем. Скрынников медиевист, скрупулезный историк ивановой опричнины, и говорит он о ней, только о ней. Но читатель почему-то не верит в его, так сказать, медиевизм. Не верит, ибо совершенно отчетливо возникает перед ним призрак другой, сталинской опричнины, её архетип, её совпадающая вплоть до деталей схема. Остановимся на ней на минутку.

Первой жертвой опричнины Грозного стал один из самых влиятельных членов Думы, покоритель Казани князь Горбатый. Крупнейший из русских военачальников был внезапно обезглавлен вместе с пятнадцатилетним сыном и тестем, окольным Головиным. Тотчас же вслед за ним были обезглавлены боярин князь Куракин, боярин князь Оболенский и боярин князь Ростовский. Князь Шевырев был посажен на кол. Невольно представляется, что эта чистка Политбюро-Думы от последних могикан «правой оппозиции» (может быть, членов, а может, попутчиков правительства Адашева, разогнанного еще за пять лет до

этого) должна была служить лишь прелюдией к некоей широкой социальной акции. И действительно, за ней следуют конфискации земель титулованной аристократии и выселение княжеских семей в Казань, которая в тогдашней России исполняла функцию Сибири.

А что затем? Не последует ли за ней акция против крестьянства? Последует. Ибо конфискации, конечно, сопровождались неслыханным грабежом и разорением крестьян, сидевших на конфискованных землях, *естественно, в первую очередь тех, у кого было, что грабить*. Опять, в который уже раз убеждаемся мы, что перед нами лишь средневековый эквивалент того, что в 1930-е называлось раскулачиванием. Это было начало не только массового голода и запустения центральных уездов русской земли, но и крепостного права (поскольку, как станет впоследствии это оправдывать академик Б.Д. Греков, «помещичье правительство не могло молчать перед лицом «великой разрухи», грозившей его социальной базе»¹⁹⁰).

Но главная аналогия все-таки в механизме «чистки». Вот смотрите, первый этап: устраняется фракция в Политбюро-Думе, представлявшая в ней определенную социальную группу и интеллектуальное течение внутри элиты. Второй этап: устраняется сама эта группа. Третий этап: массовое раскулачивание «лутчих людей» русского крестьянства. Самое интересное, однако, впереди.

После разделения страны на Опричнину и Земщину к власти в Земщине приходит слой нетитулованного боярства, ненавидевший князей и в этом смысле сочувствовавший царю (а иногда и прямо

¹⁹⁰ Б.Д. Греков. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века, М.-Л., 1946, с. 297.

помогавший ему в борьбе с «правой оппозицией» правительства Адашева. Каково бы ни было, однако, отношение этих людей к княжеской аристократии, сейчас, оказавшись у руля в Земщине, должны были они подумать – хватит! Свою революцию они сделали – и продолжение террора становилось не только бессмысленным, но и опасным. Не без их влияния, надо полагать, созывается весной 1566-го XVII съезд партии, «съезд победителей» (виноват, Земский собор – самый, между прочим, представительный до тех пор в России).

«Победители» деликатно намекают царю, что с опричниной, пожалуй, пора кончать. В головах других, более реалистичных, бродит план противопоставить Ивану Грозному Кирова (т.е., конечно же, князя Владимира Старицкого, двоюродного брата царя). До заговора дело не доходит, но царю достаточно было и разговоров. Следующий удар наносится по этой группе. «Когда эти слои втянулись в конфликт, – замечает Скрынников, – стал неизбежным переход от ограниченных репрессий к массовому террору»¹⁹¹.

Разумеется. У террора ведь своя логика. Один за другим гибнут руководители Земской думы, последние лидеры боярства. За ними приходит черед высшей бюрократии. Сначала распят, а потом разрублен на куски один из влиятельнейших противников Правительства компромисса, московский министр иностранных дел, великий дьяк Висковатый, приложивший в свое время руку к падению Адашева. Государственного казначея Фуникова заживо сварили в кипятке. Затем приходит очередь лидеров православной иерархии. Затем и самого князя Старицкого.

¹⁹¹ Р.Г. Скрынников. Иван Грозный, М., 1975, с. 117.

И каждый из этих людей, и каждая из этих групп вовлекали за собою в водоворот террора все более и более широкие круги родственников, сочувствующих, знакомых и даже незнакомых, с которыми опричники просто сводили счеты, наконец, слуг и домочадцев. Когда сложил голову на плахе старший боярин Земской думы Челяднин-Федоров, слуг его рассекли на части саблями, а домочадцев согнали в сарай и взорвали. В Синодике появилась запись: «В Бежецком Верху отделано 65 человек да 12 человек, скончавшихся ручным усечением»¹⁹². Ничего себе «православный эзотерик», воспетый нашим современником, «опричным братом» А. Елисеевым!

Это требует пояснения. Тем более что не все знают, что есть в сегодняшней Москве и некое «опричное братство», не так давно вызвавшее шумную дискуссию в церковных кругах, потребовав возведения Ивана Грозного в сан православного святого (впрочем, и в наши дни возводится же ему памятник в Орле). Надо отдать должное главному идеологу «братства» А. Елисееву, кандидату, между прочим, исторических наук: восславляет он своего кумира с самой неожиданной стороны, до которой никто до него за все столетия Иванианы не додумался, со стороны пыточных камер, до которых царь, как известно, был большой охотник. Не зря же британский историк Изабел де Мадариага назвала его в недавней книге (не умирает, как видите, Иваниана, на наших глазах продолжается) Люцифером¹⁹³.

Вот, чтоб не быть голословным дифирамб Елисеева, «Иоанн IV – пишет он – утверждает благой, в

¹⁹² Р.Г. Скрынников. Цит. соч., с. 138.

¹⁹³ Изабел де Мадариага. *Ivan the Terrible*, Yale Univ. Press, 2005, с. 281.

целом, характер смерти. Одна из главных задач инквизиции в том, чтобы провести грешника через некий ритуал духовного созерцания, обусловленного умерщвлением плоти. Долгие страдания постепенно делают человека невосприимчивым к физическим ощущениям. Разум, свободный теперь от телесных мучений, неожиданно открывает для себя новые функции. Наступает стадия просветления разума, когда он начинает свободно впитывать в себя божественные энергии высших сфер. Все это легко накладывается на опричный террор, который, несомненно, представлял собой одну из форм православной инквизиции. Иоанн Грозный и его верные опричники отлично осознавали свою страшную, но великую миссию – спасали Русь от изменников, а самих изменников – от вечных мук»¹⁹⁴.

Всё. Дальше я пощажу читателей и себя, ибо пишу я, в конце концов, не мартиролог жертв опричнины. Упомяну лишь, что точно так же, как в 1930-е, словно и не замечали ее вожди, как все ближе и ближе подбираются роковые круги террора к ним самим, и Алексей Басманов, этот средневековый Ежов, кажется уже опасным либералом любимцу Грозного (и Сталина), откровенному разбойнику Малюте Скуратову, собственноручно задушившему митрополита Филиппа. И князь Афанасий Вяземский, организовавший расправы над Горбатым и Оболенским, сам уже на подозрении, когда арестован в ходе разгрома Новгорода его ставленник, яростный сторонник опричнины архиепископ Пимен. «В обстановке массового террора, всеобщего страха и доносов аппарат насилия, созданный в опричнине, – с ужасом

¹⁹⁴ Элементы, М., 1992, № 1.

повествует Скрынников, – приобрел совершенно непомерное влияние на политическую структуру руководства. В конце концов адская машина террора ускользнула из-под контроля её творцов. Последними жертвами опричнины оказались все те, кто стоял у её колыбели»¹⁹⁵.

Потрясающее свидетельство Скрынникова важно именно тем, что он сам принадлежит, как мы помним, к «аграрной школе» советской историографии и постольку заинтересован не в преувеличении злодейств опричнины, а напротив, в их умалении. (Кстати, именно на него и ссылался А.Н. Сахаров, утверждая, что правление Грозного принесло России намного меньше жертв, чем «восточно-деспотическое» царствование Елизаветы в Англии). В этом смысле Скрынников скорее свидетель защиты Грозного. И тем не менее, как мог убедиться читатель, сходство со сталинским террором, вытекающее из нарисованной им картины, устрашающе неотразимо.

Но ведь и на этом оно не заканчивается. Совпало буквально всё. Вплоть до «вывода» целых народов в сибирские степи. Вплоть до введения монополии внешней торговли. Вплоть до того, что опять бежали из страны ее Курбские и иные из них, как Федор Раскольников, например, опять писали из-за границы отчаянные письма царю (даже не подозревая, что все это с Россией уже было). Вплоть до очередного завоевания Ливонии (Прибалтики).

Короче, налицо были все атрибуты новой самодержавной революции. Сходство било в глаза. И единственной загадкой остается, как могли не заметить его историки ивановой опричнины. Я понимаю,

¹⁹⁵ Р.Г. Скрынников. Опричный террор, с. 223.

какие-нибудь наивные и восторженные западные попутчики, увидевшие в сталинском возрождении средневековья альтернативу современному капитализму. Что могли эти люди знать о прошлом России? Я понимаю, массы, сбитые с толку трескучей «патриотической» риторикой. Я понимаю, наконец, новых рабоче-крестьянских политиков, которым террор открыл путь наверх к вожделенной власти и привилегиям. Но коллеги мои, историки, читавшие Синодик Грозного и знавшие всю подоплеку событий наизусть, с ними-то что произошло? Они-то куда лезли со своими дифирамбами? Почему не почувствовали во всем этом *déjà vu*, как говорят французы?

ЗАДАНИЕ ТОВА. СТАЛИНА

Можно было бы сказать в их оправдание, что формальных различий между двумя опричинами было предостаточно. Главное из них: Сталину и в голову не пришло отделить партию или НКВД от, так сказать, Земщины (правительства и Верховного Совета) территориально, перевести их, если не в Александровскую слободу, то хотя бы в Ленинград. Но разве это удивительно? Четыреста лет все-таки прошло, другая страна была у него под ногами. Просто в XVI веке при минимуме административных средств не мог, надо полагать, Грозный максимизировать политический контроль, не поставив политический центр страны «опричь» ординарной администрации.

Два с половиной столетия спустя, когда вводил в России свою опричину Николай I, никакой надобности расчленять страну территориально тоже ведь не было. Инструментом политического контроля

над ординарной администрацией служил для него корпус жандармов. Еще меньше нужды разделять страну было у Ленина, поставившего над советами опричную партию. И тем более у Сталина, когда он воздвиг двойную иерархию политического контроля, поставив опричную секретную полицию над партией. Сталинская Москва, можно сказать, объединила в себе Александровскую слободу царя Ивана и Третье отделение собственной е.в. канцелярии императора Николая.

Говорю я все это вовсе не затем, чтобы преуменьшить историческую значимость злодеяний Грозного. Ибо модель самодержавной государственности, **обеспечивающую тотальную мобилизацию ресурсов для перманентной войны** – внутри страны и за её пределами – изобрел именно он. А ведь в этой мобилизации и состоял, собственно, смысл опричнины – одинаково и в XVI веке, и в XIX, и в XX. Только человеку поистине недюжинного ума дано было еще в позднее средневековье понять, что нельзя вовлечь государство в перманентную завоевательную войну без принципиального разделения функций между политической и административной властями. Да не отнимет историк у Грозного этой заслуги перед евразийской Россией. Если Монтескье изобрел разделение властей, Грозный изобрел разделение функций между властями. Так же, как разделение властей означало политическую модернизацию, разделение функций вело в исторический тупик.

Уже в наше время не бог весть какой мыслитель Жан Тириар, нацистский геополитик и кумир современных московских проповедников «консервативной революции», совершенно точно сформулировал смысл опричнины. Говорил он, конечно, лишь о со-

ветском её инобытии (как все геополитики, Тириар пренебрегал историей), но его формула имела самое прямое отношение и к любой опричнине, в том числе и к опричнине Грозного. Вот эта формула: «Не война, а мир изнуряет СССР. В сущности, Советский Союз и создан, и подготовлен лишь для того, чтобы воевать. Учитывая крайнюю слабость его сельского хозяйства, он не может существовать в условиях мира»¹⁹⁶. Так можно ли допустить, что блестящие интеллектуалы-историки не поняли того, что ясно было даже заурядному нацисту?

Не могли они не понять и другого предназначения опричнины. И понимали. Вот вам признание И.И. Полосина: «Опричнина в её классовом выражении была оформлением крепостного права, организованным ограблением крестьянства... Дозорная книга 1571/72 гг. рассказывает, как в потоках крови опричники топили крестьян-повстанцев, как выжигали они целые районы, как по миру нищими бродили “меж двор” те из крестьян, кто выживал после экзекуции»¹⁹⁷.

И что же, спрашивается, кроме гражданского негодования и смертной тоски должна была вызвать у нормального человека эта картина истребления собственного народа? У Полосина, как мы слышали, вызвала она лишь горделивую декларацию, что крепостничество было абсолютной необходимостью для «усиленного и ускоренного развития производства».

Сегодня это может показаться холодным цинизмом. Но в 1940-е казалось это исполненным полемического пыла и пионерского энтузиазма. Ведь первый

¹⁹⁶ Элементы, М., 1992, № 1.

¹⁹⁷ И.И. Полосин. Цит. соч., с. 132.

постулат нового государственного мифа, создававшегося новым Иваном Грозным, состоял в том, что история общества есть, прежде всего, история производства. Второй – что по мере того, как это общество-производство развивается, растут и измена внутри него и опасность извне. А отсюда уже логически вытекал и постулат третий, гласивший, что террор («борьба с изменой») и наращивание военной мощи есть единственная гарантия «усиленного и ускоренного развития» общества-производства. Оба генеральных мотива – измена и война – намертво переплелись в новой версии государственного мифа.

Сам новый царь-мучитель говорил о своем предшественнике именно в этих терминах. Его беседа с актером Н.К. Черкасовым, исполнявшим роль Ивана в фильме Эйзенштейна, сохранила для потомства такое драгоценное свидетельство: «Говоря о государственной деятельности Грозного, тов. И.В. Сталин заметил, что Иван IV был великим и мудрым правителем, который оградил страну от проникновения иностранного влияния... В частности, говоря о прогрессивной деятельности Грозного, тов. И.В. Сталин подчеркнул, что Иван IV впервые ввел в России монополию внешней торговли... Иосиф Виссарионович отметил также прогрессивную роль опричнины... Коснувшись ошибок Ивана Грозного, Иосиф Виссарионович отметил, что одна из его ошибок состояла в том, что он не сумел ликвидировать пять оставшихся крупных феодальных семей, не сумел довести до конца борьбу с феодализмом – если бы он это сделал, то на Руси не было бы Смутного времени»¹⁹⁸.

¹⁹⁸ Н. Черкасов. Записки советского актера, М., 1953, с. 308.

Конечно, историку-марксисту от такой постановки вопроса положено было содрогнуться. Противоречие в ней вопиющее. Возможно ли, в самом деле, было в XVI веке довести до конца борьбу с феодализмом, если, как мы только что слышали, даже опричник Полосин тем именно и оправдывал «экономическую неизбежность крепостничества», что «Россия XVI века строилась и могла строиться **только** на базе феодально-крепостнического производства»?¹⁹⁹

Но, во-первых, для Сталина такие тонкости были несущественны. Во-вторых, содрогнуться оказалось некому: историки заворожено внимали новому кумиру. А в-третьих, – и это самое главное – для Сталина довести до конца борьбу с феодализмом означало всего лишь дорезать «пять оставшихся крупных феодальных семей». Ибо недорезанные погубили они все подвиги Грозного по «ограждению страны от проникновения иностранного влияния». Короче, если причина Смутного времени была в непоследовательности, в недостаточности террора, то доказать это было первым, предварительным заданием тов. И.В. Сталина советской историографии.

И что вы думаете? Тотчас и обнаружались новые свидетельства, которые «объясняют террор критической эпохи 1567–1572, показывают, что опасности, окружавшие дело и личность Ивана Грозного были еще страшнее, политическая атмосфера еще более насыщена изменой, чем это могло казаться по данным ранее известных... источников»²⁰⁰. Больше того, выяснилось вдруг, что «Ивана Грозного не приходится обвинять в чрезмерной подозрительности;

¹⁹⁹ И.И. Полосин. Цит. соч., с. 132.

²⁰⁰ Р.Ю. Виппер. Цит. соч., с. 113–114.

напротив, его ошибкой была, может быть, излишняя доверчивость, недостаточное внимание к той опасности, которая грозила ему со стороны консервативной и реакционной оппозиции, и которую он не только не преувеличивал, но и недооценивал»²⁰¹. Поскольку неожиданно оказалось, что «дело шло о крайне опасной для Московской державы измене. И в какой момент она угрожала разразиться? Среди трудностей войны, для которой правительство напрягало все государственные средства, собирало все военные и финансовые резервы, требовало от населения наибольшего патриотического одушевления»²⁰².

И никто, разумеется, даже не спросил, по поводу чего, собственно, следовало населению «патриотически одушевляться». Неужто по поводу грабительской войны царя-мучителя, войны, развязавшей в стране террор, разоривший её и открывший границы крымским разбойникам? Войны, которой вдобавок не видно было конца? Акад. Р.Ю. Виппер, которому принадлежат все эти песнопения, полагал, впрочем, что дело вовсе не в этом. Ибо именно потому мы и по сию пору не поняли масштабов и коварства измены, окружавшей Грозного, что русская историография попросту утратила бдительность.

«Те историки нашего времени, которые в один голос с реакционной оппозицией XVI века стали бы настаивать на беспредметной ярости Ивана Грозного должны были бы задуматься над тем, насколько антипатриотично и антигосударственно были в это время настроены высшие классы. Замысел на жизнь царя ведь был теснейше связан с отдачей врагу не

²⁰¹ Р.Ю. Виппер. Цит. соч., с. 113–114.

²⁰² Там же.

только вновь завоеванной территории, но и старых русских земель, дело шло о внутреннем подрыве, об интервенции, о разделе великого государства!»²⁰³

Это уже не Сталин. И даже не государственный обвинитель на процессе боярской оппозиции «правотроцкистского блока». Это академик Роберт Юрьевич Виппер, предвосхищая аргумент о недорезанных семьях, упрекает не только наивных коллег, но и самого Грозного в излишней доверчивости. Как видим, предварительное задание тов. И.В. Сталина было выполнено.

МИЛИТАРИСТСКАЯ АПОЛОГИЯ ОПРИЧНИНЫ

Но главным для вождя было все же не крепостничество и даже не террор. То были лишь средства. Цель, как и у Грозного, состояла в превращении страны в колонию военно-промышленного комплекса, в инструмент «першого государствования». Именно это – главное – и следовало надлежащим образом легитимизировать национальной традицией. При всем своем невежестве в русской истории Сталин интуитивно выделил из множества русских царей своих предшественников. И они – какое совпадение! – оказались теми же, чей подвиг, по мнению Ломоносова (в эпоху первого «историографического кошмара»), сделал возможным, «**чтоб россов целый мир страшился**».

И ценил их Сталин откровенно за одно и то же – за долгие, затянувшиеся на целые поколения войны. Малюту Скуратова, этого средневекового Берюю, он назвал – случайно ли? – «крупным русским во-

²⁰³ Там же.

начальником, героически павшим в борьбе с Ливонией»²⁰⁴. Петра ценил *лишь* за то, что царь «лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны»²⁰⁵.

Однако у Сталина было все же много других дел, кроме партизанских набегов на русскую историю. И потом – после энтузиазма, с которым подведомственные ему историки оправдали и «борьбу с изменой», и крепостничество, и террор – не было уже у него ни малейшего сомнения, что справятся они и с главным его заданием: с милитаристской апологией опричнины. Что ж, историки оправдали доверие вождя.

Одним из первых осознавших этот патриотический долг был П.А. Садиков, крупнейший исследователь опричнины (на работах которого Платонов, собственно, и построил свою злополучную гипотезу, оказавшуюся, как мы помним, впоследствии «сплошным недоразумением»). В каноническую платоновскую конструкцию он внес совсем новую – милитаристскую – ноту. По его мнению, «врезавшись клином в толщу московской территории, государев удел должен был по мысли Грозного не только явиться средством для решительной борьбы с феодальными князьями и боярством путем перетасовки их земельных владений, но и организующим ядром в создании возможностей для борьбы против врагов **на внешнем фронте**»²⁰⁶.

Таким образом, опричнина перерастала провинциальные внутривластные задачи, на анализе которых десятилетиями концентрировались русские

²⁰⁴ Н. Черкасов. Цит. соч., с. 35.

²⁰⁵ И.В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд.9, с. 359.

²⁰⁶ Цит. по: Р.Ю. Виппер, с. 123.

историки. Теперь она связывалась непосредственно с функцией «борьбы на внешнем фронте». У нее обнаружилась совсем новая, раньше как-то остававшаяся в тени роль – мобилизационная. Недаром Виппер так комментирует это открытие Садикова: «Если с легкой руки ворчунов княжеской и боярской оппозиции историки XIX века любили говорить о беспорядочном ограблении Иваном Грозным и его опричниками всего Замосковского края, то историк нашего времени противопоставляет этим голословным утверждениям документально обоснованные факты, которые показывают конструктивную работу, совершавшуюся в пределах опричной территории»²⁰⁷.

И конструктивность этой работы Виппер видит уже не в разгроме «княжат», как Платонов, и не в «классовой борьбе», как Покровский (классовая борьба полностью подменена у него борьбой с изменой), а в том, что Грозный начал превращение страны в «военную монархию». Поэтому и опричнина была для него, прежде всего, «мерой военно-организационного характера»²⁰⁸.

Как ни парадоксально, но тут я вполне со своими оппонентами согласен. Они правы. Опричнина действительно была орудием, школой и лабораторией тотальной милитаризации страны. И что бы ни думали о происхождении русской государственности западные и отечественные «деспотисты», Грозный и впрямь был родоначальником этой мобилизационной политической системы, известной в истории под именем самодержавия.

Единственное, в чем не согласен я с Виппером, Садиковым или Полосиным (и, добавим в скобках, с

²⁰⁷ Там же.

²⁰⁸ Там же, с. 75.

Тириаром), это в оценке прославляемой ими системы. Перманентная и тотальная милитаризация страны, которая кажется им достоинством России, представляется мне ее историческим несчастьем. Как бы то ни было, однако, едва примем мы их точку зрения, совсем другой смысл обретает сама концепция Ливонской войны, во имя которой предпринималась самодержавная трансформация страны.

Конечно, и основоположники «аграрной школы» (так же, как и их предшественники-«государственники») стояли в стратегическом споре царя с Правительством компромисса на стороне царя. Платонов писал, что «время звало Москву на Запад, к морским берегам, и Грозный не упустил момента предъявить свои претензии на часть ливонского наследства»²⁰⁹. Покровский заметил, что «террор опричнины может быть понят только в связи с неудачами Ливонской войны»²¹⁰. Однако и война, и террор были для них лишь элементами великого «аграрного переворота». Для «милитаристов» сам аграрный переворот оказался, как видим, элементом войны.

Для П.А. Садикова даже «образование опричного корпуса» находилось в прямой «зависимости от условий военной обороны». Более того, цитируя свидетельства очевидцев, он подчеркивает, что помещики были гораздо **худшими** хозяевами земли, чем бояре: «малое умение опричников справиться с ведением хозяйства в их новых поместьях» приводило к тому, что «огромные имущества были разрушены и расхищены так быстро, как будто бы прошел не-

²⁰⁹ С.Ф. Платонов. Иван Грозный, с. 105

²¹⁰ М.Н. Покровский. Цит. соч., т. 1, с. 302.

приятель»²¹¹. Тут уже и речи, как видим, нет о самом важном для «аграрной школы», о том, что помещик выигрывал экономическую конкуренцию с боярином и поэтому, экспроприируя боярина-вотчинника, опричнина шла по пути естественного экономического прогресса, как думал Покровский. Для «милитаристов» опричнина была лишь «мерой, необходимой для успешного ведения войны»²¹². И для этого они готовы были пожертвовать чем угодно, включая «экономический прогресс».

Но зато и война переставала для них быть прозаической завоевательной авантюрой, простой претензией на «часть ливонского наследства», как для Платонова²¹³, или «войной из-за торговых путей, т.е. косвенно из-за рынков», как для Покровского²¹⁴. Она становилось Войной с большой буквы, крестовым походом, сакральным подвигом, обретала черты судьбоносного предприятия – исторического, чтоб не сказать мистического значения. «Во второй половине 1560-х Россия решала сложные вопросы внешней политики, – пишет Полосин – это было время, когда борьба за Литву, Украину и Белоруссию стала особенно острой. Это было время, когда решался вопрос о Ливонском королевстве. Это было время, когда Ватикан перешел в наступление. Из-за спины польского короля и архиепископа Рижского постоянно выглядывала фигура римского папы, закрывшего Тридентский собор для того, чтоб энергичнее

²¹¹ П.А. Садиков. Очерки по истории опричнины, М.–Л., 1950, с. 113.

²¹² Р.Ю. Виппер. Цит. соч., с. 123.

²¹³ С.Ф. Платонов. Цит. соч., с. 105.

²¹⁴ М.Н. Покровский. Цит. соч., т. 1, с. 319.

развернуть наступление католичества. Под угрозой были не только Латвия и Литва, под угрозой оказались Украина и Белоруссия... Грозный с полным к тому основанием считал Ватикан своим основным врагом и не без намека на папские ордена была организована опричнина»²¹⁵.

Где уж тут думать о крымской угрозе, как наивный Карамзин, или о борьбе с каким-то «аристократическим персоналом», как Ключевский, или даже с «классом княжат», как полагал теперь уже безнадежно отсталый Платонов, когда речь шла об отпоре всей «латинской» Европе и собственной грудью защищала Москва в Ливонской войне Украину и Белоруссию, не говоря уже о Латвии и Литве? Разворачивался всемирный католический заговор. Вся религиозная война в Европе, вся Контрреформация направлена, оказывается, была вовсе не против европейского протестантизма, а против России. И Москва каким-то образом оказалась единственной силой, способной этому заговору противостоять.

Вот ведь что получается: пытаюсь захватить Ливонию, царь Иван исполнял уже не только патриотический долг, но и своего рода великую религиозно-политическую миссию. Из тривиального средневекового гангстера, пытавшегося ухватить, что плохо лежало, превращался он вдруг в благородного православного крестоносца, «в одного из крупнейших», по словам Виппера, «политических и военных деятелей европейской истории XVI века»²¹⁶. Он спасал Восточную Европу от католического потопа, как в свое время спасла ее однажды Русь от потопа

²¹⁵ И.И. Полосин. Цит. соч., с. 137.

²¹⁶ Р.Ю. Виппер. Цит. соч., с. 174.

монгольского. Вот когда начинают по-настоящему вырисовываться перед нами контуры главного задания тов. И.В. Сталина русской историографии или, говоря шире, социального заказа, пронизавшего самый дух сталинской эпохи.

ДУХ ЭПОХИ

Если бы понадобилось нам дополнительное доказательство этой удивительной переключки двух опричных, разделенных четырьмя столетиями, то вот оно перед нами. Авторам милитаристской апологии удалось то, что оказалось недостижимым для всех их предшественников, о чем так и не догадались ни «государственники», ни «аграрники». Полосин и Виппер точно уловили то, что казалось до той страшной поры неуловимым, – самый дух эпохи Грозного. И удалось это им лишь потому, что так глубоко и беззаветно прониклись они духом **собственной** эпохи. В этом главное, неотразимое, я думаю, доказательство интимного родства обеих опричных.

Если отвлечься на минуту от великолепной риторики Кавелина, вдохновившей поколения «государственников», то право же немислимо себе представить, чтоб Грозный всерьез руководился скучнейшей задачей преодоления родового строя в политическом развитии страны. Еще менее правдоподобно, чтоб хоть сколько-нибудь его интересовали успехи помещика как «прогрессивного экономического типа» в борьбе против «реакционного боярства».

Но в том, что «першее государство», т.е. на современном языке сверхдержавность, мировое первенство Москвы действительно вдохновляло царя до сердечного трепета, едва ли может быть со-

мнение. И тому, что именно с этим его страшным вождением связаны и борьба с «изменой», и террор, и тем более «поворот на Германы», документальных свидетельств хоть отбавляй. Приглядимся же к ним.

«Заносчивость и капризы Грозного, – читаем у Виппера, – стали отражаться в официальных нотах, посылавшихся иностранным державам, как только он сам начал заправлять политикой. В дипломатической переписке с Данией появление Ивана IV во главе дел ознаменовалось поразительным случаем. Со времени Ивана III московские государи называли датского короля братом своим, и вдруг в 1558 г. Шуйский и бояре находят нужным упрекнуть короля за то, что он именует “такого православного царя всея Руси, самодержца братом; и преж того такой ссылки не было”»... Бояре заведомо говорят неправду; конечно, в Москве ничего не запомнили, ни в чем не сбились, «а просто царь решил переменить тон с Данией и вести себя с ней более высокомерно»²¹⁷. Между тем Дания была тогда великой державой, и Москва позарез нуждалась в ней в качестве союзницы. Проблема в другом: в свете того, что происходило дальше, эпизод, описанный Виппером, нисколько не выглядит «поразительным».

Два года спустя, в разгар Ливонской эпопеи, когда дипломатические усилия Москвы по логике вещей должны были сосредоточиться на том, чтобы не допустить вмешательства Швеции на стороне ее врагов, Грозный вдруг насмерть разругался со шведским королем. И по той же причине: Густав возымел нечестивое желание именовать его в посольских грамотах братом. Мыслимо ли было такое стерпеть, если «нам цесарь римский брат и иные великие государи, а

²¹⁷ Р.Ю. Виппер. Цит. соч., с. 130.

тебе тем братом называться невозможно, потому что свейская земля тех государств честию ниже»²¹⁸. Швеция, естественно, оскорбилась, вмешалась в войну на стороне антирусской коалиции и отняла Москвы балтийское побережье, то самое, что пришлось впоследствии Петру отвоевывать большой кровью.

Но в послании шведу подразумевалось, по крайней мере, что существуют – и помимо цесаря римского – еще какие-то «иные великие государи», своего рода «Большая восьмерка» средневекового мира, державный клуб, если хотите, членам которой «дозволено называть нас братом». В спорах начала 1570-х становится ясно, что и этот клуб – фикция. Число возможных кандидатов в братья стремительно сокращается до двух: того же цесаря да турецкого султана, которые «во всех королевствах першие государи». Подобно мопассановскому Дюруа, царь, как видим, рвется в высшее державное общество. Он «сносится братством» лишь «с першими государями», а с «иными великими» ему это уже неподобно.

В 1572 году, когда встал вопрос о кандидатуре на польский престол царевича Федора, в послании царя полякам проскальзывает, однако, намек, что он не прочь бы вытолкнуть из узкого круга «перших» уже и самого цесаря римского: «Знаем, что цесарь и король французский присылали к вам, но нам это не пример, потому что кроме нас да турецкого султана ни в одном государстве нет государя, которого бы род царствовал непрерывно через двести лет; потому они и выпрашивают себе почести, а мы от государства господари, начавши от Августа кесаря из начала

²¹⁸ М.Я. Дьяконов. Власть московских государей, СПб., 1889, с. 151.

веков, и всем людям это ведомо»²¹⁹. В ответ теперь уже и поляки присоединились к антирусской коалиции и отняли у Москвы сто ливонских городов, да еще и пять русских в придачу.

И в самом деле, коли уж на то пошло, что такое этот цесарь римский, как не простая выборная должность, как не «урядник» собственных вассалов? На исходе 70-х султан турецкий остался единственным, как видим, кому дозволялось сносить с нами братством, да и то не безоговорочно, ибо уже в силу своего басурманства никак не мог быть он причастен к «началу веков», не говоря уже об Августе кесаре.

А уж о прочей коронованной шпане, о польском Стефане Батории, совсем еще недавно жалком воеводе, об английской Елизавете, которая «как есть пошлая девица», о шведском Густаве, который, когда приезжали с товаром торговые люди, самолично, надев рукавицы, сало и воск «за простого человека опытом пытал», а туда же, в братья к нам набивается, обо всех этих «урядниках» – венгерских ли, молдавских или французских, что толковать, если мы и самому, коли угодно, Августу кесарю не уступим?

Я ничуть не преувеличиваю. Именно таким языком заговорили вдруг московские дипломаты в конце жизни Грозного, на пороге капитуляции: «Хотя бы и Рим старой, и Рим новой, царствующий град Византия, начали прикладываться к государю нашему, и государю свое государство московское как мочно под которое государство поступится?»²²⁰

И чем больше унижала его жизнь, чем бледнее становилась в свете беспощадной реальности при-

²¹⁹ М.Я. Дьяконов. Цит. соч., с.151.

²²⁰ Там же.

зрачная звезда его величия, тем круче его заносило. И утверждал он уже перед смертью, что «Божием милосердием **некоторое государство** нам высоко не бывало»²²¹. Происходила странная абберрация. Психологическая установка оказалась могущественнее действительности – и человек потерял способность ощущать политическую реальность. Вспомните, в родном Новгороде Грозный вел себя, как чужеземный завоеватель, а чужеземных государей третировал, как родных бояр: все рабы и рабы – и никого больше, кроме рабов.

²²¹ Там же.

Глава 23

ИСПОВЕДЬ

О чем говорит нам эта безумная эскалация притязаний царя, кроме того, что, несомненно, страдал он, как и Сталин, профессиональной болезнью тиранов, политической паранойей, и совершенно очевидно готов был бестрепетно принести ей в жертву судьбу своего народа? Я думаю, помогает она понять две очень важные вещи. Прежде всего, действительные причины внезапного и чреватого национальной катастрофой поворота Москвы «на Германы».

Иван Грозный первым из московских великих князей (если не считать никогда не правившего царевича Димитрия) венчался на царство. Но для того, чтоб его действительно сочли в Европе царем, т.е. равным по рангу императору-цесарю, мало было так называться. В официальной державной иерархии он продолжал оставаться московским князем, даже не королем, не то, что цесарем. Такие самовольные скачки не дозволялись в ней никому. Они покупались – и дорогой ценой. Только первостепенные и общепризнанные победы, всемирная слава могли дать на это право. Получался странный парадокс. Иван, если верить Випперу, был «великим царем величайшей империи мира», он слышал это от своих воспитателей-иосифлян и придворной котерии. Но он не слы-

шал этого от «иных великих государей». На том и развился у него своего рода королевский комплекс неполноценности. И как всякий комплекс, он требовал гиперкомпенсации. Ему уже мало было стать равным по рангу «иным великим государям» и самому даже императору-цесарю. В зачаточной, средневековой форме Грозный заявлял здесь претензию на мировое первенство.

Но что мог он предпринять, чтоб не страдать от своего королевского комплекса? Петр заканчивал Северную войну императором. Грозный назвался царем еще до Ливонской и даже до Казанской войны. Ему позарез нужна была своя Северная война. Не борьба с крымчаками, требовавшая незаметного кропотливого труда, а немедленный сенсационный разгром европейского государства, покорение Ливонии ему нужно было, чтоб сочли его «першим государем».

Вот почему наивными и надоедливими должны были казаться ему доводы Правительства Адашева о необходимости здоровой национальной стратегии, об ударе на Крым как логическом завершении казанской кампании, об окончательном разгроме «татарщины» и освобождении христианских пленников. Его демоническое честолюбие, его личные цели были для него бесконечно важнее всех этих скучных сюжетов. Вернее, как всякий тиран, полагал он, что у государства просто не может быть иных целей, кроме его собственных. И подчинив Москву этим целям, он бросил её в «бездну истребления» (по выражению самого Р.Ю. Виппера).

Во-вторых, объясняет нам эскалация политических вождедений царя сам дух эпохи, которым он сумел заразить опричную элиту страны и которую так чутко уловили авторы милитаристской аполо-

гии опричнины. Аргументы, которыми убеждал он Земский собор 1566 года продолжать Ливонскую войну, были, надо полагать, двойственными. С одной стороны, должны были они звучать примерно так: «Хотите ли вы, чтобы наше отечество было побито и чтобы оно **утратило свою независимость?**»²²² Но с другой стороны, следовало его аргументам звучать мажорно. Допустим, так: «Мы делаем дело, которое в случае успеха **перевернет весь мир**»²²³.

Я, конечно, цитировал сейчас не Грозного, а Сталина. Но альтернатива, которую рисовал современный тиран, ничуть не отличалась от той, какой представлялась она его предшественнику. Если попробовать свести ее к одной фразе, звучала бы она, наверное, так: весь мир ополчился против нас, если мы его не перевернем, он лишит нас независимости. И третьего не дано.

Было в этой альтернативе Грозного (и Сталина) что-то глубоко извращенное, иррациональное, словно бы возникшее из адских глубин средневековья: чудовищная смесь мании преследования (они хотят нас «лишить независимости») с монументальной агрессивностью (на меньшее, чем «перевернуть мир», мы не согласны). Та самая смесь, что заставляла Сталина утверждать одновременно будто «история России состояла в том, что ее били», а с другой, призывать на русские знамена благословение победоносных царей и их полководцев. Та самая, что заставляла Грозного – в момент, когда он был уверен, что окружен со всех сторон врагами – неустанно, как мы только что видели, плодить себе все новых и новых врагов.

²²² И.В. Сталин. Цит. соч., изд. 11, с. 329.

²²³ Там же, с. 328.

Противоречия здесь очевидны. Ни Сталин, ни Грозный, однако, не умели их примирить (если вообще замечали). Справедливости ради скажем, что им, собственно, и надобности не было этого делать: историки-профессионалы усвоили их параноидальный подход к истории и работали в полном соответствии с ним. В применении к эпохе Грозного должен он был звучать, допустим, так: если бы царь не напал на Ливонию, то Россия стала бы «добычей монголов или Польши»; в применении к эпохе Петра: если бы Петр не напал на Прибалтику, Россия стала бы колонией Швеции.

Я опять-таки цитирую не Сталина. Ибо говорили всё это усвоившие дух эпохи профессионалы-историки. И если читатель думает, что я преувеличиваю, пусть откроет рекомендованный Всесоюзным Комитетом по делам высшей школы учебник Н.А. Рубинштейна «Русская историография» (для студентов исторических факультетов университетов и педвузов). Вот что он в нем прочтет: «Складывание многонационального централизованного государства в России XVI века было началом превращения царской России в тюрьму народов. Но если б этого не произошло, Россия стала бы добычей монголов или Польши... Политика Петра I ложилась тяжелым гнетом на крестьян, но спасла Россию от грозившей ей перспективы превращения в колонию или полуколонию Швеции»²²⁴.

Современному читателю все это может показаться фантастикой. Какие к черту монголы могли угрожать России в XVI веке? Кому не известно, что не шведы напали на Россию при Петре, а Россия на

²²⁴ Н.А. Рубинштейн. Русская историография, ОГИЗ, 1941, с. 634.

шведов? Сталин мог позволить себе такие вольности – по неведению ли в русской истории, по политическому расчету или по обуревавшей его паранойе. Но как могли позволить себе такое историки-профессионалы? Поистине заговорила вдруг русская историография языком Ивана Грозного (пусть и с грузинским акцентом). Забыта была пылкая клятва Сергея Михайловича Соловьева: «Да не произнесет историк слова оправдания такому человеку». Человек этот был оправдан. Забыт был ужас Алексея Константиновича Толстого перед тем, что «могло существовать общество, которое смотрело на него без отвращения». Общество такое существовало. Как это могло случиться?

ГРЕХОПАДЕНИЕ

Я понимаю, что это вопрос в значительной мере интимный. Он касается не столько объяснения исторических обстоятельств, сколько, я бы сказал, внезапного нравственного расслабления, охватившего русскую историографию, феномена, который в религиозной литературе, вероятно, назвали бы грехопадением. Конечно, то же самое случилось в 1930-е в Германии. Разница, однако, в том, что в послегитлеровские времена немцы свели счеты с историей, сделавшей возможным такое грехопадение, а в России послесталинской раскаяние к историкам не пришло. Хрущевская «оттепель» напоминала плохую прополку: сорную траву выбросили, а корешки остались. Критика времен гласности корешков не коснулась тоже.

Поэтому в устах западного автора вопрос «как это могло случиться?» подразумевал бы объектив-

ный анализ того, что произошло. Того, что не произошло, он оставил бы за скобками. Я не могу позволить себе такую роскошь. Для меня это кусок жизни, а не только предмет изучения. Я чувствую себя бесконечно униженным из-за того, что случилось это с моей страной, с моим поколением. И для меня поэтому вопрос не только в том, чтобы описать прошлое, но и в том, чтоб рассчитаться с ним. По этой причине всё, что я могу предложить в этой главке читателю, ближе к жанру исповеди, нежели исследования. Читатель, равнодушный к исторической рефлексии и склонный думать, что наука есть наука, а прочее, как говорил Пастернак, литература, может спокойно эту главку пропустить.

Нельзя рассчитаться с грехопадением страны, не рассчитавшись с ним в самом себе. Ибо и во мне, как в любом человеке, выросшем в России, две души живут в душе одной. И не просто живут, а борются насмерть. Точно так же, как борются в сознании страны две ее политические традиции, берущие, как мы видели, начало от самых ее корней. У каждой из них своя иерархия ценностей. Высшая ценность одной – Стабильность (и соответственно низшая – хаос). Высшая ценность другой – Свобода (и соответственно низшая – рабство).

Я ненавижу рабство, но и боюсь хаоса. Я испытываю соблазн поверить в «сильную власть», способную защитить униженных и оскорбленных, осушить все слезы и утолить все печали. И я стыжусь этого соблазна. Порою мне кажется, что свобода действительно порождает хаос (как казалось С.М. Соловьеву, видевшему главную язву русской жизни в «свободе отъезда и перехода»). Иногда я думаю,

что рабство порождает Стабильность (как казалось И.И. Полосину, оправдывавшему крепостничество). Я чувствую необходимость сказать это здесь и сейчас, ибо именно здесь, в Иваниане, и именно сейчас, когда Россия снова на перепутье, снова между Европой и Евразией, с тревожной ясностью обнажилась фундаментальная несовместимость обеих традиций. Наступило время последнего выбора.

Четыре столетия маячила над Россией гигантская тень её первого самодержца, то развенчанного, то вновь коронованного на царство, но никогда до сих пор, при всех её падениях и взлетах, не угрожало это страшное наследство самим основам существования страны как нравственного союза. Я говорю сейчас не только о том, что мы жили в тотальном кошмаре, но о невозможности больше жить с сознанием, что кошмар этот может повториться. Что снова почтеннейшие и ученейшие наставники нации унизились – и унижат страну – оправданием крепостничества, террора и агрессии. Что легитимизируя традицию холопства, снова станут они помогать тирану легитимизировать современное им холопство.

Было бы бесконечно легче, если б я мог сказать, что такой ценой покупали себе наши наставники, «наши боги – наши педагоги», по слову Бориса Слуцкого, жизнь и благополучие – в эпоху, когда политикой именовалась вульгарная драка за физическое выживание: в конце концов, во всех странах и во все времена находились свои коллаборанты. Это было бы легче, но это была бы неправда.

Достаточно прочитать работы Садикова, Полосина, Бахрушина, Виппера или Смирнова, чтоб убедиться, что это не канцелярская проза и не казенная риторика, что присутствует в них глубоко личный

пафос, отчетливая уверенность в своей правоте, в высокой научной объективности своих взглядов. Пусть ложная была это вера – но вера. Не в том, стало быть, дело, короче говоря, что эти люди – все звезды первой величины русской историографии XX века – оправдывали палачество, а в том, что делали они это с чистой совестью.

Полосин писал: «Опричнина только в советской науке получила свое научно-историческое **оправдание**»²²⁵. Бахрушин писал: «Подлинное значение Ивана Грозного выясняется только в настоящее время, **в свете марксистской методологии**»²²⁶. Они были убеждены в этом. Но они были не правы. Их устами говорила могучая потерналистская традиция России. Говорили Ломоносов, Татищев, Кавелин, Соловьев, Горский, Белов и Ярош. Говорили все, кто – вне всякой связи со «светом марксистской методологии» – задолго до сталинского террора оправдывали опричнину. Оправдывали потому, что где-то в темных глубинах души интуитивно верили, что «свобода отъезда и перехода» и впрямь создает хаос, что политическая оппозиция действительно чревата анархией, что Париж стоит мессы, а Стабильность стоит рабства. Вековая традиция холопства говорила их устами.

И это она – а не личная трусость, не приспособленчество или забота о благополучии семьи – заставляла их лгать и верить своей лжи. Заставляла находчиво аргументировать свою неправоту, свои мистификации, свое грехопадение, наряжаясь в бутафорские латы «марксистской методологии». То была не их вина, их беда.

²²⁵ И.И. Полосин. Цит. соч., с. 182.

²²⁶ С.В. Бахрушин. Иван Грозный, ОГИЗ, 1945, с. 5.

Но что было, то было. И если поведение опричников Ивана Грозного еще можно интерпретировать так или иначе, то поведение опричников Сталина двум мнениям не подлежит. Нам не нужны для его оценки ни «документально-обоснованные факты», ни «свет марксистской методологии». Мы видели это своими глазами. Мы точно знаем, что перед нами были не только звери и палачи, но и люди, которым холопская традиция дала основание **гордиться** своей **растленностью**.

Но если мы действительно стоим перед лицом мощной традиции, и если она действительно ведет нас к таким безднам унижения, то вправе ли мы пассивно ожидать, когда снова пробьет для нас или для тех, кто идет за нами, час растления? Это уже не вопрос о национальной гордыне, как было во времена Ломоносова и Татищева. И не вопрос национального самоуважения, как было во времена Кавелина и Соловьева. Это вопрос национального выживания.

Три последовательных «историографических кошмара» на протяжении трех столетий беспощадно продемонстрировали, что традиция коллаборационизма не только насаждается полицией (в прямом или в переносном смысле), что она не внешняя нам сила, она в нас самих. Она убивает нас изнутри. Переживем ли мы четвертый «историографический кошмар» в XXI веке? А если переживем, останемся ли людьми?

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ВИДЕНИЕ

Что государственный миф, завещанный нам Грозным, обладает гипнотической силой, мы видели в Иваниане уже в 1840-е. Столетие спустя узнали мы

больше – что гипноз этот чреват сталинизацией Иванианы. Это обязывает нас хотя бы попытаться проанализировать структуру этого мифа. Тем более что не так уж она и сложна, эта структура. Я сказал бы даже, что она элементарна. На каких постулатах, в самом деле, основывал царь свою позицию в посланиях Курбскому? Во-первых, на том, что отождествлял собственные цели с целями государства. Во-вторых, на том, что отождествлял цели правителя (государства) с целями страны. Вот в этой формуле **двойного отождествления** вся суть дела, по-моему.

Человек, сомневающийся, что тиран имеет право выбирать программу управления, говоря современным языком, исходя из целей и интересов, отличных от интересов государства и тем более страны – изменник, враг народа. Для Грозного это было самоочевидно. Для нас, в свою очередь, тоже очевидно, что за его беспощадной формулой стоит хорошо уже нам знакомое представление о нации-семье, глава которой, Отец нации, всё видит, всё знает, обо всех печется и по определению не может иметь никаких других интересов, кроме интересов своих чад. Можно ли сомневаться, что это средневековое видение? Божественный мандат сюзерена лишь символизировал и подкреплял его. Во времена Грозного это могло казаться в порядке вещей.

Но к нашему удивлению, уже в XIX веке, когда мандат этот выглядел ископаемой древностью, средневековое видение вдруг вновь возродилось в русской историографии. Только теперь речь шла о необходимости для государства сокрушить «родовое начало». Или – отбиться от врагов, осаждающих страну со всех сторон и стремящихся лишить ее неза-

висимости. Или о России, которой угрожал «олигархический режим» и судьба Польши. И снова вдруг оказывалось, что не смогла бы страна преодолеть эти роковые препятствия без **тотальной мобилизации и, стало быть, без** самодержавия.

Иначе говоря, миф Грозного принял «научную» форму государственной школы. Но в основе его по-прежнему лежало то же самое видение общества, где Отец исполнял необходимую историческую функцию организации семьи и защиты холопов-домочадцев, функцию их спасения – от родового ли начала, от агрессивной ли «улицы» или кошмарной олигархии. Страна и самодержец по-прежнему были одно – нераздельное и неразделимое. Вот сегодняшней образец: «Без Путина не было бы России».

Когда затем в XX веке пришло время аграрной школы – с её «классовой борьбой» и «экономическим переворотом» – могло показаться, что настала, наконец, пора расстаться со средневековым видением. Само понятие классовой борьбы предполагало, казалось, что общество – не семья, не гомогенная единица, что интересы разных его групп могут быть не только различны, но и противоположны. И все-таки каким-то странным образом цели самодержца и государства вновь совпали с целями «прогрессивного класса» – и тем самым по-прежнему, как и во времена Грозного, оказались неотделимы от целей нации.

Опять – и у «аграрников», и у «милитаристов» – государство спасало нацию. У одних – от класса княжат, от реакционных латифундий, от противников товарно-денежных отношений. У других – от «католической агрессии», от военной отсталости, от всемирного заговора Ватикана, от американского

империализма (для просвещенных, от «однополярного» мира). И, соответственно, для всех них оппозиционеры оставались «врагами народа».

Короче, ни одна из этих последовательно сменявших друг друга историографических школ не допускала и мысли, что самодержавное государство может преследовать свои собственные интересы – противоположные интересам нации. Средневековое видение витало над ними и в XIX веке, и в XX, и продолжает витать в XXI – одинаково над «правыми» и над «левыми». И до такой степени глубок оказался этот гипноз, что даже марксисты, для которых постулат о государстве как организации господствующего класса должен был как будто бы служить альфой и омегой их исторических взглядов, не смогли удержаться от официального провозглашения «общенародного государства», т.е. капитулировали перед тезисом государственной школы.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ МИФА

История, однако, подтвердила правоту Аристотеля, который, как мы видели, уже за 500 лет до Рождества Христова показал, что стремление государства подчинить общество интересам тех или иных групп или **личным интересам** лидера – в природе вещей. И, следовательно, нации-семьи не бывает на свете. Действительная проблема состоит лишь в том, как сделать общество способным корректировать неизбежные «отклонения» государства (например, монархии к тирании или демократии – к охлократии). И единственным инструментом такой корректировки, изобретенным политическим гением человечества, единственным средством предотвращения разру-

шительных, сеющих хаос и анархию революций, является та самая политическая оппозиция, которая традиционно выступала в русской историографии (да только ли в историографии?) как синоним «измены».

Как бы то ни было, если следовать логике Аристотеля, источником хаоса в обществе оказывается, вопреки государственному мифу, как раз государство, а единственным инструментом предотвращения хаоса (т.е. сохранения Стабильности) – свободное функционирование оппозиции, измены, говоря языком «историографического кошмара». Вот и пришли мы к еретическому и преступному, с точки зрения мифа, заключению, что в основе Стабильности лежит Свобода.

Но если так, историография, представляющая эту оппозицию как измену, неизбежно попадает – и всегда будет попадать – в логический капкан, единственным выходом из которого оказывается ложь. Причем самая худшая из ее разновидностей, та, которой верят, как истине. И если мы сейчас перейдем от теории, которая, по словам Гете, сера, к практике, это станет очевидно.

Не станем далеко ходить. Откроем известную трилогию В. Костылева об Иване Грозном, удостоившуюся не только сталинской премии, но и восторженной рецензии такого опытного профессионала, как академик Н.М. Дружинин. Я понимаю, хочется забыть об этом позоре. Но этого-то как раз и не следует делать. Помнить, как можно больше помнить – как бы ни было стыдно – это единственное, что может нас спасти от самих себя. Весь смысл Иванианы в том, чтоб заставить нас помнить.

Итак, трилогия Костылева. То, что царь говорит в ней цитатами из своих посланий Курбскому, а его опричники – пассажами из Виппера – оставим литературным критикам. По её страницам расхаживают непристойные, вонючие бородачи-бояре, занятые исключительно угнетением крестьян и изменой. Опричники, напротив, все как на подбор былинные добры молодцы, настоящие выходцы из народа, освобождающие его от кровопийц-бояр и, не щадя живота, искореняющие его врагов. Одним словом, те самые, что в сталинские времена именовались людьми с горячим сердцем, холодным разумом и чистыми руками.

Ладно. Примем эту картину за чистую монету. Примем далее версию Костылева и Виппера, которые заклиная нас не верить оппозиционерам, объясняя все тени, брошенные на светлые ризы тирана, исключительно их зловредным влиянием. «Неудачи внешней войны, – жалуется Виппер, – кровопролитие войны внутренней – борьба с изменой – заслонили уже для ближайших поколений военные подвиги и централизаторские достижения царствования Грозного. Среди последующих историков большинство подчинилось влиянию источников, исходивших из оппозиционных кругов: в их глазах умалилось значение его личности. Он попал в рубрику тиранов»²²⁷.

Если мы вспомним, что даже Карамзин, как раз и зачисливший царя «в рубрику тиранов», не только не отрицал, но и превозносил его государственные заслуги, мы тотчас убедимся, что академик Виппер говорил, извините, неправду (или не знал предмета). Но не это для нас сейчас важно. Обратимся к источ-

²²⁷ Р.Ю. Виппер. Цит. соч., с. 174.

никам, свободным от «влияния оппозиционных кругов», к источникам, которые рекомендует сам Виппер. Кто мог быть в тогдашней России свободен от «влияния»? Конечно, опричник. И к счастью, один из них, некий Генрих Штаден, оставил нам свои «Записки о Московии». Штаден, конечно, немец и, конечно, подонок. Это Виппер охотно признает. Но свидетельство его тем не менее драгоценно (мы уже знаем, почему). До такой степени драгоценно, что в глазах Виппера он вполне может выступить в качестве свидетеля защиты. Его книгу, полагает историк, «смело можно назвать первоклассным документом истории Москвы и Московской державы в 60 и 70-х годах XVI века»²²⁸.

Согласимся: «оппозиционные круги» были не правы, характеризуя опричников Грозного как сволочь, собранную царем из всех углов страны и даже нанятую за границей для сокрушения России. Согласимся даже, что были они честнейшими из честных царских слуг. А теперь посмотрим, что говорит свидетель защиты о судьбе этих преданных «псов государевых». В 1572 г. царь вдруг, – пишет Штаден, – «принялся расправляться с начальными людьми из опричины. Князь Афанасий Вяземский умер в железных оковах, Алексей [Басманов] и его сын [Федор], с которым [царь] предавался разврату, были убиты... Князь Михаил [Черкасский], шурин [царя] стрельцами был насмерть зарублен топорами. Князь Василий Темкин был утоплен. Иван Зобатый был убит. Петр [Щенятев?] повешен на собственных воротах перед спальней. Князь Андрей Овцын – повешен в опричнине на Арбатской улице; вместе с ним повешена жи-

²²⁸ Р.Ю. Виппер. Цит. соч., с. 105.

вая овца. Маршалк Булат хотел сосватать свою сестру за [царя] и был убит, а сестра его изнасилована 500 стрельцами. Стрелецкий голова Курака Унковский был убит и спущен под лед»²²⁹.

Что же должны мы из этого «свидетельства защиты» заключить? Были опричники честнейшими из честных, как массовым тиражом внушал читателю – с благословения академика Дружинина – Костылев? Защищали они стабильность от хаоса, сеемого врагами народа, от реванша «олигархического режима»? Но что же в таком случае сказать о царе, вешавшем своих верных псов на воротах их собственных домов, точно так же, как делал он это с врагами народа? А если они и впрямь заслуживали такой участи, то как быть с Костылевым, который ведь не сам все это придумал, а просто переписал из книг Виппера и Бахрушина? Кто же был прав: «оппозиционные круги» или наши почтенные наставники?

Ну, допустим, писателя Костылева обманула его капризная муза. Но профессионалов-то, читавших первоисточники, в том числе книгу Штадена (не говоря уже о Синодике самого Грозного), обмануть было, казалось, невозможно. Тот же С.В. Бахрушин, один из крупнейших русских историков XX века, превосходно ведь знал, что происходило в опричнине. Знал, например, что «дворяне хотели иметь на престоле сильного царя, способного удовлетворить нужду служилого класса в земле и крепостном труде», тогда как «наоборот, бояре были заинтересованы в том, чтоб обезопасить от царского произвола свою жизнь и имущество»²³⁰.

²²⁹ Там же, с. 121–122.

²³⁰ С.В. Бахрушин. Цит. соч., с. 174.

Так что, спрашивается, дурного в том, чтоб обезопасить свою жизнь и имущество от царского произвола? Почему столь естественное человеческое желание делало бояр врагами народа? И почему «друзьями народа» были помещики, нуждавшиеся в крепостном труде? Почему автор так близко к сердцу принимает эту их нужду? Чем так любезен Бахрушину царский произвол, что готов он оправдать его, объявляя террор «неизбежным в данных исторических условиях»?

Вот заключительная характеристика царя из книги Бахрушина «Иван Грозный». Как сейчас увидит читатель, в ней что ни слово, то ложь. «Нам нет нужды идеализировать Ивана Грозного... его дела говорят сами за себя. Он создал сильное и мощное феодальное государство. Его реформы, обеспечившие порядок внутри страны и оборону от внешних врагов, встретили горячую поддержку русского народа... Таким образом в лице Грозного мы имеем не «ангела добродетели» и не загадочного злодея мелодрамы, а крупного государственного деятеля своей эпохи, верно понимавшего интересы и нужды своего народа и боровшегося за их удовлетворение»²³¹.

Получается, что террор, война и разруха, принесшие смерть каждому десятому жителю тогдашней России, «обеспечили порядок внутри страны», унижительная капитуляция – «оборону от внешних врагов», а крепостное рабство встретило «горячую поддержку русского народа». Автор демонстрирует такое странное извращение нормальных человеческих понятий, такое презрение к ценности человеческой жизни, такую атрофию нравственного чувства,

²³¹ С.В. Бахрушин. Цит. соч., с. 99.

что невольно хочется спросить: а как же его коллеги? Не стыдно было ему смотреть им в глаза? Не стыдно. Коллеги писали то же самое.

Вот она перед нами – клиническая картина нравственного грехопадения, постигшего русскую историографию в 1940-е. Картина, с очевидностью свидетельствующая, что и в XX веке русская историография по-прежнему оставалась в лапах средневековья.

ТРАДИЦИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

И тут совсем уже другой возникает перед нами вопрос: как вообще смогла в таких обстоятельствах русская историография не превратиться в сплошное нагромождение лжи, не окаменеть в постыдном холопстве, не покориться окончательно традиции коллаборационизма? И единственный ответ на этот вопрос заключается, я думаю, в том, что наряду с ней от века существовала в русской историографии и другая, противоположная традиция, которая шла как раз от проклятых Виппером «оппозиционных кругов». Та самая, которую я назвал бы традицией Сопротивления, переходившей, как эстафета, от Максима Грека к Курбскому, от Васиана Патрикеева к Крижаничу, от Щербатова к Аксакову, от Лунина к Герцену, от Ключевского к Веселовскому, от него к шестидесятиникам XX века. Не было эпохи, когда традиция Сопротивления не присутствовала бы в русской историографии. В этом, в нашей способности к сопротивлению – реальность нашей надежды.

Мы не жертвы, не погибшие души, если есть у нашей европейской традиции Сопротивления лжи и произволу такие мощные и древние исторические корни, если не удалось уничтожить их в нас всем

опричникам и «людодерствам». Каждого из нас в отдельности легко оклеветать как врага народа, легко сгноить в тюрьме, изгнать или зарезать – «исматерью, изженою, иссыном, исдочерью». Но всегда остаются почему-то в России хоть пять недорезанных семей. И, может быть, благодаря этому, традицию Сопротивления оказалось невозможно дорезать. Ею жива Россия. И ею жива русская историография.

Глава 24

КОНЕЦ СПОРА ИЛИ НОВОЕ НАЧАЛО?

Ну, вот и познакомил я читателя с долгой, затянувшейся почти на полвека историей своего спора о природе и происхождении русской государственности. Со всем познакомил, кроме того, откуда он, этот спор, взялся и как стал делом моей жизни. То есть на самом деле со всем, кроме самого важного. Вкратце, спор этот лишил меня отечества и спас мне жизнь.

Разные люди по разному переживали пору, когда брежневские тучи над городом встали. Навсегда, казалось, встали, заволокли небо от края до края, как крыша тюрьмы. ЗАКУПОРИЛИ. Это было начало 1970-х. Я переживал их так: задыхался. Просто физически задыхался. Бывало, пять раз на дню вызывали «скорую». Врачи ничего не находили, раздражались. Не знаю, чем бы это кончилось, когда б один старый доктор (не прощу себе, что забыл его имя) не сказал мне по-отечески:

– «Скорая» вам не поможет, вы совершенно здоровы, но вы умрете, вот так в цвете лет умрете (мне тогда исполнилось 40).

– Но почему, доктор?

– Не знаю, почему, знаю, из-за чего.

– Вы говорите загадками.

– Совсем нет, в моей практике такие случаи были. Умрете вы от тоски (или от клаустрофобии, если хотите). Что-то – не спрашивайте меня что – лишило вас жизненного азарта, цели, предназначения, миссии, смысла, назовите, как хотите. А вы из тех, кто жить без смысла не может. Не тот темперамент. Не часто, но бывает. Исход, как правило, летальный.

– Так что же мне делать, доктор?

– Не знаю. Думаю, вам нужен форс-мажор. Я бы на вашем месте занялся чем-нибудь экстремальным, крайне рискованным, полным опасности, но и полным смысла. И долгим, на годы.

Такой вот произошел у меня диалог со старым доктором.

Я не помню его имени, но думаю, что не ошибусь, если назову его своим Мефистофелем. Фауст ведь тоже, наверное, умер бы от тоски, не навести его старый доктор из «Скорой помощи». Но, в отличие от Фауста, я был историком, презирал правящую клику и жил, как все, с кляпом во рту. И мысль об экстремальном, о форс-мажор, и до этой встречи зрела в моем подсознании. Только едва ли решился бы я на него, не растолкуй мне доктор, что на кону. Хуцпы не доставало, как говорят в Одессе.

Ну, что, спрашивается, могло быть экстремальнее, рискованнее и, если хотите, безумнее для историка, нежели **разрушить** советскую мифологию со всеми ее «производительными силами» и классовой борьбой, которые выдавалась тогда за русскую историю? Написать, иначе говоря, **другую** русскую историю? В конце концов, перед глазами у меня был знаменитый предшественник: именно так и сделал 450 лет назад князь Андрей Курбский, написал другую московскую историю, разрушив дотла написан-

ное по приказу царя клерками Ивана Грозного казенное оправдание опричнины.

Смысл? Я же видел вокруг себя массу умных, интеллигентных лиц, задыхавшихся, как и я, от тоски. Как живая вода, нужна была им отдушина Свидетельство, что они не одни такие, что Сопротивление продолжается. Гремел тогда Солженицын со своим «Жить не по лжи!». В повседневной жизни, однако, следовать его призыву было слишком опасно. Другое дело история. Да, читать самиздат тоже опасно, но не так, как воздержаться при голосовании, когда все вокруг поднимают руки. Будут ли читать тысячестраничную самиздатскую рукопись, пусть хоть четвертую копию на Эрике? Знал по себе – будут. Как еще будут!

В этой части совет моего Мефистофеля оправдался. Я нашел смысл – и ожил. А что будет со мной дальше – на Восток или на Запад – доктор ведь и не брался предсказывать. Честно предупредил: искать смысл жизни в СССР рискованней, чем карабкаться на какой-нибудь Килиманджаро. Но исход этой загадки ожидал меня позже, когда я свой выбор уже сделал и на годы поселился, можно сказать, в Ленинке. Поселился, чтобы перечитывать русскую историю, классическую и советскую, всю – от В. Н. Татищева и М. П. Погодина до А. А. Зимина и Н. Е. Носова. Куда интереснее моей будущей, проблематичной судьбы казались мне загадки, встретившиеся по ходу чтения.

ДРУГАЯ РОССИЯ?

Тем более что по мере моего путешествия вглубь русской истории становились они все загадочнее. Первоначальная драматургия моего предприятия была проста. Мишенью представлялась, понятно,

СМФ (советская мифология). Главным тараном должна была стать КЛИО (классическая историография), подсобным – СШ (советские историки-шестидесятники), порожденные, как и я, хрущевской оттепелью. Поехали. Постепенно, однако, пейзаж за окном менялся.

СМФ превращалась из главной мишени в промежуточную (главная отодвигалась в туманную, пока еще непонятную, даль), СШ – из подсобного тарана становился главным, а КЛИО, соответственно, подсобным. Основной причиной этого сдвига были никем не объясненные РАЗРЫВЫ в русской истории. Я имею в виду именно катастрофические разрывы, глубокие, как пропасти, такие, словно до определенного события Россия была одной страной, а после него – стала вдруг другой. Объяснить каждый из них в отдельности, пожалуй, нетрудно, но объяснить их все вместе, т.е. разрывы как СВОЙСТВО ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, никому и в голову не приходило. Отрицать их невозможно, но откуда они взялись, бог весть ...

Естественно, согласитесь, было спросить, с чего это началось? Где тот начальный разрыв, в котором, возможно, и содержится ключ к остальным? Тут, однако, и возникала неувязка: ответы на этот простой, школьный, по сути, вопрос не совпадали. Причем, ответ советских шестидесятников, как ни парадоксально, казался мне ближе, очевиднее и достоверней, чем ответ классиков. Парадоксально, я говорю, потому что великолепная, одна из лучших в Европе, если не лучшая, русская КЛИО странным образом давала здесь сбой.

Не знаю, почему «зацепил» меня этот начальный разрыв. Возможно, по привычке танцевать, так

сказать, от печки. Как я решил с самого начала, «печкой» для меня было образование русской государственности. Складывалась она во второй половине XV – начале XVI века, в царствование Ивана III, одного из трех русских государей, сохранивших в потомстве статус Великого.

То, что крестьянство было в его царствование, в отличие от последующих столетий, свободным – факт общеизвестный. То, что гарантией его свободы, был Юрьев день (впоследствии я назову его «крестьянской конституцией Ивана III») тоже известно, но оспаривается – впрочем, вяло. Но то, что было крестьянство тогда сильным и богатым, что принадлежали ему как аллодиум, т.е. неотчуждаемая частная собственность, не только пашни, огороды, сенокосы и скотные дворы, но и рыбные и пушные промыслы, ремесленные мастерские и солеварни, то, другими словами, что перед нами был **за четыре столетия до Столыпина** тот самый «крепкий хозяин», о котором мечтал он в начале XX века и которого не сумела создать его знаменитая реформа, это **была новость, сногшибательная новость**, раскопанная именно СШ в уцелевших провинциальных архивах.

И означала она, что в России уже однажды **БЫЛО** то, что самодержавие пыталось, но не сумело **воссоздать** четыре столетия спустя. И дело не только в том, что мы толком не знаем, почему исчезла, словно ее и не было, эта крестьянская собственность, до такой степени исчезла, что потомство о ней **забыло**. Дело еще и в том, что существовала она как бы сама по себе, будто иначе и быть не могло, существовала как естественный факт жизни, не требовавший никаких реформ. Иначе говоря, в той другой, неизвестной

до открытий США России, не было нужды не только в столыпинской, но и в самой Великой реформе 1861 года, создавшей свободное, но **нищее** крестьянство, закрепощенное вдобавок в общинах, от которых и попытался полвека спустя после Великой реформы освободить его Столыпин.

НАЧАЛЬНЫЙ РАЗРЫВ?

Не знаю как для читателя, но для меня выглядело это так, будто что-то **перерубило** русскую историю пополам, и вторая ее половина ничего общего не имела с первой, даже смутно о ней не вспоминала.

Что такие вещи в России бывали, мы знаем по опыту: именно так ведь разрубили впоследствии русскую историю и Петр, и Ленин. Но о них написаны тома, а о той, другой России, той, с сильным и богатым, **вотчинным**, как это тогда называлось, крестьянством, мы практически ничего не знаем. Так не был ли здесь тот самый начальный разрыв, таивший в себе секрет всех последующих? Я говорю, конечно, не о деталях быта или о датах, их КЛИО знала, говорю о какой-то другой ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, для которой крестьянская собственность была естественна, как дыхание. Это КЛИО признавать почему-то отказывалась. Почему?

Тем более было это странно, что речь ведь шла не только о крестьянской собственности и даже не только о том, что, по утверждению С.Ф. Платонова, после конфискации церковных владений в Новгородской империи весь Север тогдашней Руси, самая богатая и процветающая ее часть, стал «крестьянской страной», т.е. доля крестьянской собственности в экономике страны повышалась. Речь шла и об еще более

серьезной, политической, государственной стороне дела. Пусть главное открытие В.О. Ключевского о Боярской думе древней Руси как об учреждении «не только государевом, но и государственном», т.е. реально законодательном, осталось в КЛИО до конца его жизни спорным. Но ведь Судебник 1550 года, юридически запрещающий царю вводить новые законы «без всех бояр приговора», его **подтвердил** (что, между прочим, оказалось недостижимо даже в 1906–1917 для «думского самодержавия», по выражению Макса Вебера).

И факт, что царь становился, согласно этому Судебнику, лишь «председателем думской коллегии», как растерянно признавался главный оппонент Ключевского проф. В.И. Сергеевич, без сомнения, казалось бы, свидетельствовал, что та, другая государственность была **несамодержавной**. Что мы, другими словами, и впрямь имеем здесь дело с принципиально ДРУГОЙ государственностью. Так вот же он был, казалось бы, тот самый начальный разрыв русской государственности, которого КЛИО не признавала.

А КАК ЖЕ КЛАССИКИ?

Как, надеюсь, еще не забыл читатель, первое, что поразило меня, как удар грома в самом начале моего путешествия по русской истории, было впечатление, что все, с чем не сумело за четыреста лет справиться самодержавие, в российской государственности уже однажды **СУЩЕСТВОВАЛО**. Только то была какая-то другая, скорее европейская, во всяком случае, не самодержавная государственность, которая уживалась и с крестьянской собственностью, и с Су-

дебником 1550 года, и, как скоро выяснилось, со свободой мысли и слова.

Иначе говоря, если СШ правы (а они не могли быть не правы, опирались на архивные документы), то существовали во времена Московии, как принято было называть допетровскую Россию, ДВЕ не только разные, но взаимоисключающие формы государственности. Как же могла не принять это во внимание наша блистательная дореволюционная КЛИО?

Нет, я не говорю, что она этого не заметила. Докторская диссертация В.О. Ключевского, посвященная, как мы уже говорили, Боярской думе, облеченной реальной законодательной властью, и «Власть московских государей» М. А. Дьяконова, документировавшая удивительное, практически необъяснимое с точки зрения тогдашних представлений, внезапное изменение вектора миграции между Москвой и Литвой до и после 1560-го года (см. гл. 3), явно свидетельствовали о существовании двух разных форм государственности внутри Московии. Но ударом грома для КЛИО они, в отличие от меня, не стали (правда, о крестьянской собственности в XVI веке она еще не знала), и твердого убеждения, что «Россия стала европейской с Петром Великим», по словам Владимира Сергеевича Соловьева, не поколебали.

Происхождение этой странной по теперешним временам мифологемы, с начала до конца тяготевшей над КЛИО подобно Моисеевым скрижалям, стало для меня проблемой надолго. Хуцпа хуцпой, но пойти наперекор убеждениям классиков я не смел, это вам не СМФ. Помог мне Чаадаев. Читатель поймет, что именно я почувствовал, познакомившись с его «Апологией сумасшедшего»: «Величайший из на-

ших царей тот, который, по общепринятому мнению, начал для нас новую эру, которому, **как все говорят**, мы обязаны нашим величием, нашей славой и всеми благами, какими мы теперь обладаем, полтораста лет назад пред лицом всего мира **отрекся** от старой России. Своим могучим дуновением он смел все наши учреждения, он вырыл пропасть между нашим прошлым и нашим настоящим и **грудой бросил туда все наши предания**» (выделено мною, А. Я.).

Разрыв, как видим, не только не отрицается, он подчеркивается («пропасть»), он опирается на общее мнение («как все говорят»). Но это вовсе не тот разрыв между двумя формами государственности, который поразил меня, ничего общего. Это разрыв между, с одной стороны, нашими «величием и славой» и с другой, «грудой наших преданий», грудой мусора, если хотите, заслуживавшей лишь «быть сметенной в пропасть». Вот же где секрет сбоя, который дала наша блистательная КЛИО. Вот где мы **принципально** расходились!

Чаадаев вводит нас в самую сердцевину спора между западниками и славянофилами, имеющего, однако, лишь отдаленное отношение к спору, которому посвящена эта книга: те спорили о роли Петра, а СШ – о судьбе русского крестьянства. Независимо от того, кто был прав в их споре – действительно ли создал Петр европейскую Россию, как думали западники, или всего лишь некую убудочную “испорченную” полуЕвропу, как утверждали их антагонисты, – но роль его в судьбе русского крестьянства недвусмысленна: конечно, не он его закрепостил, но он **превратил крепостное право в рабство. Хорош, право, родоначальник европейской России!**

Петр, как показал нам Чаадаев, и сбил с толку КЛИО. В ее глазах (как, впрочем, и в моих) бессмертная заслуга Петра состоит в том, что, развернув страну лицом к Европе, он разрушил Московию, заведшую страну в тупик православного фундаментализма, и открыл Россию мировой культуре. Но ее, КЛИО, нисколько не заинтересовало, как свидетельствует опять-таки Чаадаев, **откуда взялась** эта Московия, эта груда мусора, отрезавшая страну от мира. Не заинтересовало и то, что было в России ДО Московии, во времена, которые А.В. Карташев, крупнейший историк церкви, назвал «странным либерализмом Москвы», во времена, когда нестяжатели отчаянно боролись с православным фундаментализмом (иосифлянством он тогда назывался, по имени его лидера, настоятеля Волоколамского монастыря Иосифа Волоцкого) и добились совсем уж немосковитского Судебника 1550 года.

Все одинаково шло у КЛИО под именем «груды наших преданий», которые следовало «смести в пропасть между нашим прошлым и нашим настоящим». Вот и смели. Вместе с мыльной водой выплеснули младенца. Так, грубо говоря, представляю я себе ошибку классиков, которую попытались исправить США.

ЧЕГО, ОДНАКО, США НЕ ДОСТИГЛИ?

Нелепо было бы отрицать их заслугу перед русской историей. Они сделали самое трудное: документально доказали, что живое, кипящее идеями и ересями, реформами и откатами Московское государство 1480–1560 не только не походило на снулую, безъязыкую (Крижанич), без-мысленную (Бердяев),

духовно оцепеневшую (Киреевский) фундаменталистскую Московию, оно было ее противоположностью, ее отрицанием. США, можно сказать, **открыли другое начало европейской России**, то, что назову я впоследствии ее «европейским столетием». Но едва числим мы это, как самую замечательную заслугу США, мы тотчас вынуждены числить это же среди самых крупных его недостатков.

Они были безнадежными медиэвистами, шестидесятники. Им и в голову не пришло сравнить хозяйственное и духовное процветание Московского государства с экономическим и идейным регрессом Московии, т.е. сделать то, что сделал я сейчас в первом же абзаце этого раздела: то была соседняя «грядка» и не их забота. Нельзя даже сказать, что они были плохими маркетологами, не сумели, мол, продать свои основополагающие открытия. Нет, они просто не видели их в перспективе русской истории как целого, не понимали, как связаны их открытия – ни с будущим страны, ни с ее прошлым. Не задались даже элементарным вопросом, откуда такое странное, европейское (в смысле хозяйственного, культурного и политического саморазвития) начало в стране, только что вылупившейся из-под векового варварского азиатского ига?

Высшее их достижение сформулировал А.А. Зимин: «Настало время для коренного переосмысления политической истории XVI века». За пределами этого века, однако, была чужая, как я уже говорил, грядка. Они писали друг для друга, для «одногрядочников». И правда ведь, интересно ли было широкой публике в 1960-е переосмыслена или нет история какого-нибудь XVI века? Прошли времена, когда популярный журнал «Русская мысль» мог в 11 (!) номерах печатать «Боярскую думу древней Руси»

Ключевского. Разбежалась по грядкам русская историография.

Впрочем, поскольку XVI век включал и революцию Ивана Грозного, и опричнину, это вызвало в 1956 году дискуссию, не в «Новом мире», конечно, но, по крайней мере, в «Вопросах истории». Но и там дискуссия свелась к отчаянной попытке в очередной раз разоблачить Грозного как «царя помещиков-крепостников» и была быстро подавлена его апологетами. И хотя она обогатила Иваниану, никакого света на разрыв между двумя формами государственности не пролила. «Переосмысление» не состоялось.

Результат был такой. На Западе впервые узнали об открытиях США из моей книги «The Origins of Autocracy», опубликованной в Америке в 1981 (!) году, т.е. два десятилетия спустя. А в отечестве? Даже на этих страницах читатель мог наблюдать, как безуспешно пытался я убедить И.М. Клямкина не называть Московское государство 1480–1560, главное открытие США, Московией. И он не виноват: точно так же, как мы видели, отождествляли две эти взаимоисключающие формы государственности и Чаадаев, и Киреевский, и Бердяев. Я не говорю уже о наших современниках. Графически, для всех них, условно говоря «петровцев», русская история как бы по-прежнему состояла из ДВУХ элементов – допетровского и петровского. Это единственный ее разрыв, который они признают.

ИСТРЕБЛЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Другими словами, они перечеркнули все усилия США, обнаруживших ТРЕТИЙ, *если хотите, элемент русской истории, начальный ее разрыв, ос-*

нованный на судьбе российского крестьянства. Это правда, шестидесятники и сами не поняли, что на самом деле открыли **другое, несопоставимо более благополучное начало европейской России**. Если для «петровцев» Европа пришла в Россию в обличье крестьянского рабства, то США напомнили нам, что на самом деле начиналась она в облике не только свободного, но **БОГАТОГО И СИЛЬНОГО** крестьянства, подавляющего, то есть, большинства населения России.

Между тем введение в игру третьего элемента коренным образом меняло всю картину. Оно ставило вопросы, которые раньше не могли никому прийти в голову. Например, когда, как и почему исчезло благополучие крестьянства? Когда, как и почему исчезла уживавшаяся с этим благополучием, равно как и с Судебником 1550-го, европейская, по сути, государственность? А ответ-то был с нами столетиями. Просто никто не спрашивал.

Вот этот ответ. Они были *сознательно истреблены* в ходе гражданской войны, оставшейся в истории под именем опричнины. Войны, развязанной той самой церковно-помещичьей коалицией, которую удалось расколоть скандинавским королям, вовремя секуляризовавшим церковные земли (Иван III начал эту работу, но не успел закончить, подробности в трилогии).

Чего только не напридумывали «петровцы», чтобы мистифицировать смысл опричнины. То была она, якобы, война против родового строя за централизацию страны, как изображали ее «государственники», то война прогрессивных помещиков против реакционного боярства, как думали «аграрники», то война против «предательской элиты», как полагали

«самодержавники», то война против католической агрессии, как настаивали «милитаристы». Для США причина однозначно была войной ПРОТИВ КРЕСТЬЯНСТВА. И закончилась она уничтожением его собственности и его закрепощением, полной победой новорожденного самодержавия, возглавившего первую в России контрреформистскую церковно-помещичью коалицию.

Сопротивлялось ли крестьянство тотальному своему разграблению и закрепощению? Мои оппоненты, нигилисты, не верят. Они, впрочем, категорически не верят и в само существование частной собственности в России. Когда бы то ни было. Помнится, я уже цитировал И.Г. Яковенко: «Я настаиваю, что ни в Московии, ни в Российской империи, ни в Советском Союзе, ни в постсоветской России частной собственности никогда не было, и нет». Это он настаивал в дискуссии о моей трилогии 2009 года. И когда я откровенно заметил (см. гл. 2), что «Яковенко оскандалился, не знает материала», смертельно на меня обиделся, хотя такого рода публичная декларация перед лицом аудитории, часть которой, по крайней мере, могли составлять и собственники, было и впрямь скандально. Но это отдаю на суд современного читателя.

Как историк, однако, обязан я постоять за честь шестидесятников, доказавших, опираясь на подлинные архивные документы XVI века (см. гл. 4), именно частную собственность московского крестьянства европейского столетия. И какую еще собственность! Солеварни с тысячами вольнонаемных рабочих, как у Строгановых! Фермы пушнины, как у Амосовых, обменявших захудалое боярское происхождение на крестьянское богатство!

Есть, однако, в запасе у нигилистов убийственный аргумент и по моей части: будь, мол, у московских крестьян собственность, разве позволили бы они ее у себя отнять? Разве не дрались бы за нее до конца? Тот же Яковенко в той же дискуссии: «Почему эти мужики, о которых я читаю у Янова, позволили себя грабить и убивать? Почему они не перебили опричников? Это ведь самый главный вопрос. Каким таким особым ресурсом обладало государство, который позволял ему разорять **чужое** хозяйство, безнаказанно убивать и пускать людей по миру?» (выделено Яковенко).

Велик соблазн сослаться в ответ на советский опыт: разве забыли мы, как топили в крови восставших крестьян красные опричники? Как беспощадно разоряли они **чужое** хозяйство, опираясь на «особый ресурс» самодержавного государства – организованную вооруженную силу? Но предпочту противостоять легкому соблазну: сошлюсь вместо этого на историка-профессионала, специально изучавшего этот «главный вопрос» в XVI веке, вдобавок еще и одного из выдающихся апологетов Грозного проф. И.И. Полосина. Вот его свидетельство: «Дозорная книга 1571–72 гг. рассказывает, как в потоках крови опричники топили крестьян-повстанцев, как выжигали они целые районы, как по миру нищими ходили "меж двор" те из крестьян, кто выжил после экзекуции». Такова цена «убийственному» аргументу нигилистов. И такова была цена победы опричнины.

В ней, в этой победе, положившей начало гибридной самодержавной государственности, и открыли США, сами того не ведая, тот *основополагающий раз-*

*рыв русской истории, положивший начало, добавлю я, всем другим ее разрывам, включая и петровский 1700, и октябрьский 1917, и декабрьский 1991. Просто потому, что сама природа гибридного сложносочиненного самодержавия предполагает **разрывность**. Функционировать по-другому, без разрывов, оно не умеет.*

Так или иначе, подобно опричникам в реальности 1560-х, «петровцы» одержали победу и в историографии XIX–XXI веков. Усилия целой школы советских историков-шестидесятников свелись к нулю. С их открытием случилось самое худшее, что может случиться с историческими открытиями: оно **забыто**.

ВОЗВРАЩАЕМСЯ КО МНЕ

Неловко после столь длинного исторического экскурса возвращаться к интимному, камерному его началу. Придется напоминать читателю, что уселся-то я за эту работу, вдохновленный моим персональным Мефистофелем из «Скорой помощи», вовсе не затем, чтобы противопоставлять шестидесятников классикам или искать альтернативное чаадаевскому, если хотите, европейское начало России. Намеревался я опровергать СМФ (советскую мифологию, напомним). В этом, собственно, и состоял первоначально замысел всего предприятия, которое (спасибо старому доктору) спасло мне жизнь. Читатель, знакомый с заключительными главами этой книги, видел, до какой степени остался я ему верен. Да, развалил я попутно и СМФ. Но и этого было больше чем достаточно, чтобы привести в ярость официальную историографию. И раздрознить КГБ.

Но в мой первоначальный замысел заложена была двойная ошибка. Во-первых, СМФ оказалась

слишком легкой мишенью: она не была рассчитана на серьезный штурм, полагалась на цензуру, государственную и внутреннюю, и от одного разговора по гамбургскому счету разваливалась сама по себе. Во-вторых, открытия США, если развернуть их на все пространство истории русской государственности, сулили результаты куда более обещающие. По этим причинам самиздатская моя рукопись, которая пошла по рукам в 1974, получилась несколько эклектичной: слишком много внимания, целый том уделил я XVI веку. Тем не менее...

Чем измеряется успех машинописного самиздата? Думаю, тремя индикаторами: 1) тем, как много неизвестных автору людей предпочтет тратить ночи на перепечатку двух тысяч страниц в один интервал, 2) тем, заинтересовались ли им на Западе достаточно, чтобы сделать микрофильмы и рискнуть их переправить и 3) началось ли под окнами автора круглосуточное дежурство машин КГБ и прослушивание его телефона (в попытке, предположительно, пресечь переправку). Если судить по последнему пункту, успех моей рукописи был оглушительным – и немедленным.

Только 16 лет спустя, когда я вернулся в перестроечную Москву, смог я хоть приблизительно измерить успех своей рукописи по первому пункту. Оказалось, что у нее было **много больше читателей**, чем у моей же прекрасно изданной в 1988 году в Нью-Йорке – с обложкой знаменитого тогда художника Вагрича Бахчиняна – книги «**Русская идея и 2000-й год**» (ее, правда, нередко изымали на таможне). Значит игра, предложенная мне в 1970 году старым доктором из «скорой помощи» стоила свеч: я

выжил, хотя и в Америке. И четыре года, потраченные на обретение смысла, не были потрачены зря.

НАЧАЛО МОЕГО СПОРА

Что, однако, предстояло мне делать с этим вновь обретенным смыслом во второй своей жизни. Конечно же, русская история не сводится к открытиям США в одном, отдельно взятом, хотя и решающем столетии. Они дали лишь первоначальный толчок новому смыслу. В общении со студентами и коллегами и в процессе преподавания в лучших из лучших американских университетах вырос он в стройную концепцию гибридной самодержавной государственности, единственно способную объяснить те самые РАЗРЫВЫ русской истории, которые поразили меня уже в начале моего путешествия.

Концепция эта опрокидывала все общепринятые стереотипы русской государственности. Да, Россия не была лишь запоздалой Европой, из чего исходила КЛИО, основываясь на антифундаменталистской революции Петра. Да, стала она после Петра лишь «испорченной» полуЕвропой, в чем согласен я со славянофилами. Но все-таки, в чем я с ними категорически не согласен, по происхождению и в потенции она – *Европа*. И у меня есть аргументы, которых не могло быть у КЛИО. В первую очередь – открытия США (**неопровержимо подтвердившие** то, как описал начало московской государственности князь Курбский, которого славянофилы игнорировали).

Согласно моей концепции, самодержавная государственность есть не более, чем аристотелевское «отклонение монархии к тирании», просто продолжающееся так долго, что забыла Россия свое

европейское начало. Забыла, несмотря на то, что непрекращающиеся «прорывы» и «порывы» в Европу (одиннадцать (!) за неполных пять столетий) не уставали ей об этом напоминать. Несмотря даже на то, что сами послепетровские РАЗРЫВЫ самодержавной государственности, сама ее гибридность непреложно об этом свидетельствуют.

Из этого, в частности, следовало, что простое возвращение к доленинскому разрыву, к «думскому самодержавию», которое единодушно отстаивала русская эмиграция на Западе во главе с Солженицыным (февральская революция 1917 была ими проклята), выглядело откровенной – и пустячной – бессмыслицей. Понятно, что общего языка с ними у меня не было. В эмигрантской среде я тотчас оказался изгоем, если не посланцем Брежнева (см. интервью Солженицына в блоге обо мне в Википедии). Куда плодотворнее были споры со студентами и с коллегами.

Именно в ходе этих многолетних споров удалось мне связать гибель реформы, описанной шестидесятниками, как с прошлым России (т.е. с двойственностью ее политической культуры, проистекавшей из векового противостояния между «вольными дружинниками» князя, служившими по договору, и холопами, управлявшими его доменом), так и с будущим (т.е. с **гибридной** самодержавной государственностью и ее разрывностью, что делало новый «прорыв в Европу» практически неминуемым). В этом смысле я теоретически, можно сказать, предсказал крушение брежневизма, как сейчас предсказываю крушение путинизма. Но один в поле не воин, и в 1970-е никто моим теоретическим изысканиям не поверил (как, добавляю в скобках, не верят и сейчас). Таково было

действительное начало моего спора, которому посвящена эта книга.

НАПЕРЕГОНКИ С ДЕГРАДАЦИЕЙ

Я очень надеюсь, что закончится этот мой спор после Путина (если, конечно, очередной перестройке удастся довести до ума разрушение гибрида, созданного еще Иваном Грозным). Никто, однако, не знает, сколько еще продолжаться перепутью. И нет ли в запасе у истории еще одного такого «Путина» (на случай, если разрушить гибрид нам и на этот раз не удастся). А деградация России, между тем, **УСУГУБЛЯЕТСЯ**, она достигла гомерических масштабов. И справиться с ней самодержавие, которое даже в лучшие свои времена, как при Александре II или при Столыпине, не умело. По существу, мы бежим наперегонки с деградацией. Потому-то, честно говоря, больше всего боюсь, что спор этот может заглохнуть после выхода этой книги, как заглох в свое время спор князя Андрея с Грозным и как заглох спор шестидесятников с классиками.

И пишу я это послесловие, собственно, для того, чтобы напомнить читателю, что я лишь нечаянно **ВОЗ-ОБНОВИЛ** в 1970-е старинный спор, начатый на самом деле еще нестяжателями и Курбским в XVI веке, о том, быть ли России Европой. И о том еще напомнить, что, в прошлом, даже в 1970-е, когда послушался я совета своего Мефистофеля, вопрос в этом споре формулировался совсем не так, как сегодня.

Конечно, всегда действительным оппонентом в нем был не Брежнев (как я думал, когда ввязывался в эту историю) и не Путин (как может показаться сейчас) и уж наверняка не нигилисты «второго фрон-

та», с которыми я здесь спорю, все они лишь пешки в этой игре. Спор шел – и идет – с САМИМ изобретателем рокового гибрида, способного погубить Россию, если мы не уничтожим его раньше.

Но если в прошлом речь шла все-таки о том, выживет ли Россия как великая европейская держава, то сейчас – слишком уж далеко зашла деградация – речь о том, выживет ли она **ВООБЩЕ**, если не станет Европой. Не должен поэтому закончиться спор после выхода книги о нем. Напротив, теперь, когда понял читатель, что на кону в нем вовсе не события четырехсотлетнего прошлого, но само существование России завтра или послезавтра, кто-нибудь, я уверен, поднимет упавшее знамя, как нечаянно поднял его я в самые мрачные для себя – и для страны – дни. Поднимет на этот раз **сознательно**, понимая, каково это **ПОТЕРЯТЬ СТРАНУ** не какой-то жалкой СМФ (советской мифологии), как думал я когда-то, но страну Пушкина, Толстого и Чайковского.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

О ПОСЛАНИИ МБХ РУССКИМ ЕВРОПЕЙЦАМ

Ох, как хорошо понимаю я тревогу Михаила Борисовича, что «нынешняя власть вполне может рухнуть в руки людей, не готовых ее принять». Может быть, лучше кого-либо в сегодняшней России понимаю. Хотя бы потому, что тревожиться об этом начал еще когда Миша Ходорковский пошел в третий класс – в самиздатской своей рукописи, пошедшей по рукам в Москве 1974 года (см. гл. 24).

Но ведь о другой власти, поправит меня читатель, шла тогда речь. Да нет, о той же – самодержавной, разрывной, сложносочиненной, что правит бал и сегодня. Другой персонал, это правда, другой интерьер, даже обозначалась она тогда иначе, не как путинская (цезаристская), а как советская. Но функция-то у нее была та же: деградировать, «дебилизировать» Россию, употребляя выражение МБХ.

Важно другое, важно, что не зря я тогда тревожился, если ровно о том же тревожится сорок лет спустя МБХ: и впрямь ведь упала в 1991 году власть в не готовые принять ее руки. И еще важнее, что «прорыв» в Европу 1987–1991 был на самом деле одиннадцатым (!) в русской истории по моему сегодняшнему счету (все-таки опубликовал я с тех пор два

с половиной десятка книг по этому предмету). Все одиннадцать, начиная с XVII века, аккуратно перечислены уже во Вводной главе, и каждый из них более или менее подробно в моих книгах документирован.

Это обстоятельство оставляет нам, сегодняшним, лишь один выбор: либо самодержавие в России и впрямь вечно, либо одиннадцать уже раз совершили русские реформаторы грубые, судьбоносные ошибки, ставшие для их «прорывов» роковыми. Первое противоречило бы всему опыту мировой истории, а второе требует перед лицом предстоящего – двенадцатого – прорыва извлечь все возможные уроки из этого печального, растянувшегося на столетия компендиума поражений.

Единственная, сколько я знаю, оппозиционная организация сегодня в России, которая, по крайней мере, пытается их извлечь – «Открытая Россия» МБХ. В Англии назвали бы ее теневым кабинетом. С этими молодыми людьми, собранными МБХ со всех концов страны, отдадим должное его организаторскому таланту, я готов был бы сотрудничать (несмотря на его легкомысленную политическую «всеядность», о которой ниже).

Более того, похоже, что мы уже в известном смысле сотрудничаем. Взяли же на вооружение эти молодые люди мем «русские европейцы», который восходит к моему наставнику Владимиру Сергеевичу Соловьеву и который, кажется, никто, кроме меня, в российской публицистике не употребляет (предпочитают архаическое «западники»).

Тут, правда, есть трудность. К сожалению, похоже, что один лишь мем заинтересовал МБХ: история не его *cup of tea*.

Вот и посмотрим, что у него получается без истории, а что нет.

В ЧЕМ МБХ ПРАВ?

Думаю в трех важных вещах. Во-первых, он правильно угадал вектор грядущего после Путина «прорыва», провозгласив в своем Послании, что «Русский путь – это путь европейский...» (тут, впрочем, и гадать особенно не надо было: ВСЕ предшествующие прорывы были именно в Европу). Но кто-то достаточно авторитетный в глазах мира должен был это сказать.

Во-вторых, понимает он, что стремится к немедленному, сегодняшнему результату бессмысленно для оппозиции, более того, постоянные поражения приводят к ее деморализации. В конце концов, даже в Англии «теневой кабинет» не пытается сменить правительство завтра. Там он ждет следующих выборов. Разница лишь в том, в Англии сменяемость власти – закон, а в России при цезаристском режиме «выборы» ничего не меняют. Здесь нужно ждать отъезда Цезаря на Афон – в прямом или переносном смысле – и неминуемой после этого либерализации режима, «оттепели». (О том, почему неминуемой, смотри ниже.)

В-третьих, в отличие от других сегодняшних реформаторов, говорит МБХ не только о демонтаже путинского режима, но и о том, чтобы не дать этому демонтажу уйти в гудок, как ушел в 1917 демонтаж царского самодержавия. И в первую очередь, о необходимости противопоставить «ордынскую», по сути, географической традиции России, на которую веками опирается самодержавие (самый недавний пример «Крымнаш»), ДРУГУЮ ее традицию – ру-

котворную, культурную. И впрямь ведь не Польшей, не Прибалтикой и тем более не Крымом «прирастала» в глазах мира Россия, а Пушкиным и Менделеевым, Чайковским и Сахаровым. Культурой своей, одним словом. Европейской культурой. «В том-то и дело, что Мусоргский или Достоевский, Толстой или Соловьев глубоко русские люди, – писал еще в прошлом веке замечательный русский философ Владимир Вейдле, – но в такой же мере они люди Европы. Без Европы их не было бы».

Нет слов, европейская культуры такая же национальная традиции России, как и ордынская «государственная слава», говоря словами Н.М. Карамзина. Проблема лишь в том, от которой из них зависело на протяжении столетий величие России в глазах русских элит и масс? Чего, однако, МБХ понять без истории не может, это разрушительной мощи конкурирующей традиции. Вот пример. Послушаем еще раз, как заканчивает Н.М. Карамзин девятый том своей «Истории государства Российского», посвященный страшному царствованию Ивана Грозного, которое приравнял он ко второму монгольскому нашествию на Русь. И за то, в частности, приравнял, что в прах превратил Грозный всю тогдашнюю русскую культуру вместе с ее носителями: «Добрая слава Иоаннова пережила его худую славу: стенания умолкли, жертвы истлели, но имя Иоанново напоминало о приобретении трех царств Монгольских. Доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы царя-завоевателя, чтил в нем виновника нашей государственной славы, отвергнул или забыл название Мучителя, данное ему современниками».

Не оставляет, как видите, сомнения это свидетельство историка, что удельный вес «государственной славы» **НЕСОПОСТАВИМ** в сознании народа не только с культурой, разрушенной «царем-завоевателем», но и с памятью о его кровавом терроре и бесчисленных его жертвах.

В мини-масштабе происходит ведь это на наших глазах и с образом недавнего «царя-завоевателя», происходит, несмотря даже на то, что все преступления Сталина давно извлечены из книгохранилищ и завоевания его отпали, как сухой лист от дерева страны.

Как бы то ни было, то, что МБХ, в отличие от многих, угадал роль **КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ** в предстоящем «прорыве» важно. «Благодарить за то, что российская культура и наука по-прежнему значимая часть мировых, надо, – пишет он, – не такую уж многочисленную часть общества – русских европейцев». И спрашивает: «Кому страна обязана своим нынешним, нерастраченным до конца могуществом, своей культурой, наукой, своим оружием, наконец, которым так похваляются наши псевдопатриоты? Вождям, как нас уверяет пропаганда? Ряженым придуркам, бегающим вокруг выставок и храмов?»

Увы, язвительной иронией от монументальной проблемы не отделаешься. Сказав «А», не сказал МБХ «Б». В отличие от него, известный британский аналитик Бобо Ло, с чьим прогнозом российского будущего познакомил я читателя в четвертой книге «Русской идеи», назвал «реконцептуализацию традиционного представления о величии и власти» одним из **ОСНОВНЫХ** условий успеха предстоящего после Путина «прорыва». Впрочем, и Ло не объяснил толком, каким образом это возможно. Между тем

опыт гласности 1986–1990 дал нам замечательный в своем роде пример такой реконцептуализации, который грех было бы не взять на вооружение «Открытой России» (но и об этом опять-таки ниже).

Пока скажу лишь, что представление о том, в чем именно состоит величие России, определило уже однажды ее судьбу на три поколения вперед. Опыт этот кажется мне настолько важным, что, надеюсь, читатель простит мне, если я на минуту отвлекусь ради него от заданной темы.

ИСТОРИЯ ОДНОГО «ПРОРЫВА» В ЕВРОПУ

Термину «русские европейцы», как я уже говорил, без малого полтора столетия. Именно русскими европейцами видели себя лидеры предпоследнего по времени «прорыва» – в феврале 1917. Избавить Россию от «сакрального самодержавия» им удалось. Но предотвратить Октябрьский переворот они не смогли. И что еще важнее, победу большевиков в гражданской войне, предотвратить не смогли они тоже. Почему?

Здесь не место входить в подробности успеха большевиков в Октябре. За ними позволю себе отослать читателя к главе «Могли ли большевики НЕ победить в 1917?» в первой книге «Русской идеи». Здесь достаточно упомянуть о главной причине их успеха: Временное правительство свергло самодержца, но затеянную им ненужную и непосильную для России войну продолжало с еще большим энтузиазмом, чем он. Короче, стоило бы реформаторам вовремя (скажем, в июне) прекратить войну, чтобы никакого Октябрьского переворота не было. Не прекратили. О том, что именно это было главной ошибкой

Временного правительства, свидетельствовал годы спустя сам Керенский.

Вот его диалог за ланчем с газетным магнатом лордом Бивербруком в Лондоне через двенадцать лет после бегства из России. Не по свежим следам, то есть, было время подумать:

Б: «Могло ли ваше правительство остановить большевиков, согласившись на сепаратный мир?»

К: «Конечно, мы и сейчас были бы в Москве».

Б: «Правда ли, что рейхсканцлер Бетманн-Гольвег предложил вам 15 мая 1917 почетный мир на условиях Петроградского Совета – без аннексий и контрибуций – и вы его отвергли? Почему?»

К: «Мы были слишком наивны».

С этим понятно. Но Октябрьским переворотом дело ведь не закончилось. После него была Гражданская война, еще более затяжная и не менее кровавая, чем мировая. Война, которая, собственно, и превратила Октябрьский переворот в Революцию. Большевистская власть не раз висела в этой войне на волоске. И все-таки ее выиграла. Несмотря на то, что шансы ее были, казалось бы, ничтожны. Красная гвардия могла выбить юнкеров из столиц, но противостоять регулярной армии, как выяснилось при первом же столкновении с немцами 23 февраля 1918 года, она не могла. Так почему же в таком случае победили большевики в Гражданской войне? Коротко, потому, что сумели создать регулярную армию.

Попросту говоря, без такой армии никакой красной революции, считай, и не было бы. Здесь решающий для судьбы февральского «прорыва» тест. Ибо создать регулярную армию без помощи царских генералов и кадрового офицерского корпуса, т.е. открытых врагов большевизма, было невозможно. И

царские генералы ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ. Я не преувеличиваю.

Читаем у эксперта по этому вопросу В.В. Кожина: «Из ста командиров армий у красных в 1918–1922 годах 82 были царскими генералами». А вот что подсчитала группа постсоветских историков («Вопросы истории», 1993, № 6, с. 189): «Общее количество кадровых офицеров, участвовавших в Гражданской войне в рядах Красной армии, более, чем в два раза превышало число кадровых офицеров, принимавших участие в военных действиях на стороне белых». И включало это, между прочим, элиту царской армии – ее Генеральный штаб. Да что там, главнокомандующим вооруженных сил красной республики был бывший полковник Генерального штаба С.С. Каменев. Так почему же все они оказались на стороне враждебной им власти?

Гипотеза такая: во-первых, потому, что она была ВЛАСТЬ, во-вторых, потому, что только власть могла, в их представлении, сохранить мощь и ВЕЛИЧИЕ России.

Вопрос читателю: о каком величии России думали эти люди, о каком величии, оказавшемся для них важнее русской культуры, важнее свободы, важнее православия, которые рушились у них на глазах, – происходило-то все это во времена красного террора и «военного коммунизма», массовых убийств священников и ограбления церквей? Ну вот вам подсказка: о чем должен был думать певец свободы и экзистенциализма, «рыцарь свободы духа» (он же «красный философ») Николай Бердяев, когда восхвалял в конце жизни в изгнании, мощь и величие России – и какой России? Сталинской! Разве не о том же думал он, о чем все они думали, – о «государственной славе», о той самой, что позволила русскому народу, если верить

Карамзину, забыть, вычеркнуть из памяти во имя этой «славы» все чудовищные злодеяния царя-мучителя?

Как бы ни было, получается у нас, что Гражданскую войну и, по сути, революцию выиграли для большевиков их заведомые враги, обманутые химерой «государственной славы», – царские генералы и кадровые офицеры царской армии? Выходит так.

Я не знаю, как назвать их логику. Но представить ее себе могу: Россия должна оставаться ВЕЛИКОЙ, пусть хоть ценою ее свободы, ее культуры, ее религии. Во всяком случае, именно этой логикой должны были руководиться А.А. Брусилов и С.С. Каменев, подписывая вместе с Лениным и Троцким воззвание к белой армии, призывая ее сложить оружие – во имя сохранения Великой России. Вправе ли мы после этого усомниться, что традиция культурного величия вчистую проиграла в 1918–1922 «ордынской». Последствием этой логики был крах февральского «прорыва» в Европу – и три поколения диктатуры, повторившей, как мы видели, кровавые подвиги Грозного.

Исчерпывающе, не правда ли, объясняет этот трагический эпизод ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ «реконцептуализации традиционного представления о величии и власти» для будущего несамодержавной России? Просто не состоится «прорыв» без этой реконцептуализации. И то, что МБХ, по крайней мере, намекнул на это, делает ему честь.

В ЧЕМ МБХ НЕ ПРАВ?

В главной, излюбленной им идее круглого стола со ВСЕМИ, включая ярых путинцев из ОНФ. «Можно было бы начать, – пишет он, – с круглого стола по вопросу транзита власти с участием экспертов из ко-

манд Кудрина и Касьянова, Явлинского и Навального, Каспарова и Титова, ОНФ и Открытой России... А цель – существование единой российской нации, на мой взгляд, оправдывает все неудобства такого общения». ОНФ скромно спрятан среди многих открыто оппозиционных и полуоппозиционных имен. Но о чем же станут за этим круглым столом разговаривать Явлинский и Каспаров с экспертами движения, лидер которого провозгласил без обвиняков, что «Путин – это Россия. Без Путина не будет России»? Не будет, то есть, России без режима, «дебилизирующего» ее, по слову самого МБХ?

И во имя чего нужен этот заведомый волапюк? Во имя «единой российской нации», что само по себе оксюморон в стране, состоящей из десятков наций, говорящих на разных языках и исповедующих разные религии? Хорош был бы премьер-министр Канады с ее французским Квебеком, призвавший к единой канадской нации! Тем более ведь странно это в России, где таких «Квебеков» не счесть.

Есть ли выход из такой ситуации? Ну, конечно же. И нашли его давно. Нашли и в Канаде, и в Бразилии, и в Германии, и в США, и в Мексике. И самое интересное, что нашли его и в России. Еще двести лет назад. Не случайно ведь писал в своем проекте конституции декабрист Сергей Трубецкой, что «Одно лишь федеративное устройство может совместить величие страны и свободу ее народа».

А лозунг «единой российской нации» (вместо декабристской Федерации) как-то слишком уж близок сердцам откровенных националистов. И слишком легко преобразуется в них в идею государствообразующей нации, в русскую идею. Вот как, например, расшифровал его в октябре 1993 года, в канун

последней попытки возвращения советской власти, Эдуард Лимонов: «Нам нужна национальная Россия, от Ленинграда до Камчатки только русский язык и русские школы. Мы хотим русифицировать страну национальной революцией».

Это, однако, далеко не все, в чем не прав МБХ. Едва ли найдет сегодня много сторонников в России и его формула «эти люди россияне, но они европейцы» (достаточно вспомнить реакцию большинства на то, что именно ее, эту формулу, выбрали для себя украинцы). И разве это случайно? Я ведь не зря прервал на полуслове важнейшую цитату из его Послания. Вот ее полный текст: «русский путь – путь европейский столетия и столетия».

На самом деле, однако, «столетия и столетия», начиная с самодержавной революции Ивана IV 1560-х, «русский путь» был путем НЕевропейским, нередко АНТИевропейским, был, по выражению моего оппонента А.А. Пелипенко, «антитезой Европе». Как гвоздь, торчала самодержавная империя в сплошь конституционной уже во второй половине XIX века Европе. Могла ли вся эта предыстория пройти бесследно для сознания русской политической элиты?

Ошибка МБХ усугубляется его представлением об «образованном классе России» (я опять цитирую), как о синониме русских европейцев. В действительности, начиная с противостояния нестяжателей и иосифлян в конце XV века, образованный класс России непримиримо расколот. Неужто никогда он не слышал о конфронтации славянофилов и западников, националистов и русских европейцев, имперцев и федералистов? И о том не слышал, что всегда представляли русские европейцы МЕНЬШИНСТВО в этом образованном классе? Как иначе объяснить ло-

гику А.А. Брусилова и С.С. Каменева во время Гражданской войны? Более того, как иначе объяснить неудачи десяти из одиннадцати «прорывов» в Европу (за исключением петровского)?

Да и зачем так далеко ходить, посмотрите в этой книге, как нелегко приходится мне, практически одному против всех, отстаивать европейское происхождение России, ее «европейское столетие». И даже не от современных иосифлян, не от «ордынцев» отстаивать, но от своих, от русских же европейцев-нигилистов, высмеивающих саму идею об изначальном европействе России. Короче, история, которая никуда не денется оттого, что МБХ не хочет ее знать, обязывает смотреть на перспективы «Открытой России» с открытыми, извините за тавтологию, глазами.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО

В самом деле, что, судя по тексту Послания, имеет в виду МБХ под успехом «Открытой России»? Превратить ее в те самые руки, что ГОТОВЫ принять власть, когда рухнет наконец путинский режим? Этого ожидает он от нескольких сот молодых энтузиастов без всякого политического и управленческого опыта, без материальных средств создать хоть какое-то подобие пропагандистского оружия, кроме мало посещаемого сайта (и нескольких стартапов в рамках программы «Открытые медиа», ни один из которых не работает), не раскрученных ни в российской, ни в зарубежной прессе, проще говоря, никому неизвестных? И вдобавок брошенных во враждебную среду режима, который без сомнения будет ставить им все возможные палки в колеса (вот уже и сегодня «нежелательным движением» признала их путинская Генпрокура-

тура). А МБХ что ж? Он с самого начала заявил, что больше шести месяцев заниматься этим проектом не намерен: «у меня есть другие проекты»?

Все это не означает однако, что у «Открытой России» нет шансов. Напротив, я уверен, что они есть. И немалые. Но прежде, чем говорить о них, я хочу поблагодарить Михаила Борисовича за необыкновенно щедрый подарок, который подарил он мне, сам того не ведая. Я говорю о сотнях единомышленников. Всеми своими книгами, всеми публикациями, будь то в «Московских новостях», в Снобе или в ФБ, я едва ли мог бы завоевать столько молодых умов. Спасибо.

А теперь об условиях, при которых формула «они россияне, но они европейцы» и впрямь могла бы стать основой для бескровного транзита власти после Путина. Прежде всего я буду руководиться «золотым правилом русской истории» (оставим в стороне вопрос, я ли его обнаружил или у меня были предшественники, о которых я не знаю). Так или иначе, правило это такое: не было еще в русской истории диктатуры, крушение которой не сопровождалось бы «оттепелью». Так было, начиная с деиванизации после Ивана Грозного в XVI веке и кончая десталинизацией после Сталина и дебрежневизацией после Брежнева (опуская «гонку на лафетах») – в XX.

Отсюда ведь, из этого правила, все «прорывы» или «порывы» в Европу, перечисленные во Введении. Отсюда то, что **ИСКЛЮЧЕНИЙ ЗА ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НЕ БЫЛО**. Да, собственно, и не могло их, всех этих «оттепелей» не быть, если я прав, что такова природа **РАЗРЫВНОГО**, гибридного самодержавия.

Как попытался я показать в Послесловии, четырежды – в 1560, в 1700, в 1917 и в 1991 – предшествовавшая «разрывам» российская государственность

полностью уничтожалась, исчезала (я имею в виду, конечно, четыре последовательных коллапса того, что со времени Великой французской революции называется *ancient regime*).

Тем и объясняется, между прочим, трагедия западной советологии, что и в разгар Перестройки не смогла она поверить в эту разрывность российской государственности, в нашем случае – в окончательное и бесповоротное исчезновение советской государственности. Но это отдельная тема, к которой я надеюсь еще вернуться.

ОТСТУПЛЕНИЕ В ТЕОРИЮ

Хрущевскую оттепель я, по понятным причинам, в число одиннадцати «прорывов» не включил. Но для драматургии постдиктаториальных ситуаций в России имеет эта оттепель значение первостепенное. И потому требует более подробного рассмотрения.

Черненко, как мы знаем, назвал перед смертью своего преемника (Гришина). Сталин не назвал, но если б и назвал, допустим, Маленкова (он, кажется, единственный, кто не был у него на подозрении, Хрущева он презирал), ровно ничего бы это не изменило. Цена слову бывшего тирана копейка. С какой стати Молотов, Ворошилов или Хрущев подчинились бы воле покойного, не довольно ли покуражился он над ними, когда был в силе и славе? И потому драка за лидерство была неминуема.

На первых порах преимущество было у Маленкова. Он стал Председателем Совета министров, сосредоточив в своих руках все нити государственно-го управления. Хрущева бросили на партию, выходящую уже, после диктатуры Сталина, всего лишь

одним из «приводных ремней» государственного механизма. Чем-то вроде профсоюзов. В этом была ошибка Маленкова, оказавшаяся для него роковой.

Он упустил из виду, что согласно партийной «конституции», верховным органом, определявшим судьбу власти – до диктатуры – всегда был ее Центральный комитет. И «конституцию» эту никто не отменял, Сталин ее просто игнорировал. А укомплектован был ЦК главным образом первыми секретарями обкомов партии, нисколько не намеренными отдавать свою монопольную власть в регионах правительственным бюрократам. Об этом и вспомнил Хрущев, став первым секретарем ЦК.

Дальнейшее было предсказуемо. Дискредитация покойного тирана, к преступлениям которого без труда можно было пристегнуть ВСЕХ соперников Хрущева сразу, выглядела единственным маневром их поголовного устранения. И действительно ни один из них не осмелился выступить против воли полновластного ЦК. Отсюда XX съезд, десталинизация и – оттепель.

Рисковал Хрущев отчаянно. Трудно было рассчитывать, чтобы те же люди, которые лишь за три года до XX съезда готовы были умереть в давке, провозжая в последний путь Отца народов, поверили, что «оказался наш отец не отцом, а (извините) сукою». Но поверили ведь. Хрущев, как видим, лучше соперников знал свой народ.

Конечно, без поддержки потрясенного преступлениями диктатуры общества он вполне мог проиграть схватку с тяжеловесами из Политбюро. Но общество, истосковавшееся по оттепели, которую подразумевала дискредитация диктатуры, поддержа-

ло – и он выиграл. Так начиналась новая, посттоталитарная эпоха советской государственности – без диктатора. Коллегиальная эпоха, где генеральный считался лишь первым среди равных. Это, однако, не решало главного вопроса: что будет ПОСЛЕ смерти – или отставки – генерального?

Все это понадобилось мне, чтобы показать, что даже в том единственном случае, когда никаким «прорывом» в Европу и не пахло, золотое правило русской истории оставалось в силе: оттепель после диктатуры оказалась неизбежной. Просто потому, что в отличие от демократии, регулярного механизма преемственности власти самодержавие не предусматривает. И никакого другого способа разрешить конфликт между претендентами на лидерство, кроме вульгарной драки за власть, не оставляет. Пока существовал институт наследственной монархии, этот коренной порок самодержавия не был замечен. Но после отречения последнего императора вот он перед нами – во всей своей мафиозной красе.

«ОКНО В ЕВРОПУ»

Хрущевская оттепель была, конечно, исключением в ряду гигантских «разрывов» русской государственности XX века: крахом Российской империи в 1917 и крушением советской семь десятилетий спустя. И хотя XX съезд стал знаменем целого поколения оппозиционной интеллигенции, ни в какое сравнение с революциями, сопровождавшими оба других «разрыва», оттепель 1950-х – начала 1960-х не шла. Те поистине стали «окнами» в Европу (в этом смысле, замечу в скобках, сопоставима хрущевская оттепель с оттепелью при Елизавете Петровне, продолженной

и усиленной реформами Екатерины Великой после «бироновщины» в XVIII веке). Оказалось, короче говоря, что оттепели бывали в России разные.

И зависела эта разница от того, способен ли был тот или иной *ancient regime* к мирному, без «разрыва», реформированию, от его близости к агонии. Очевидно, что императорский режим, как свидетельствовали реформы при Екатерине, при Александре II и при Столыпине, был к реформированию способен так же, как советский при Хрущеве и при Косыгине: стагнация советского *ancient regime*, сделавшая очередной «разрыв» государственности неминуемым, началась лишь в 1970-е (см. главу «Кому нужна была Перестройка?» в третьей книге «Русской идеи»). Отсюда и главный вопрос: какой именно ждать нам оттепели после Путина?

Стагнация цезаристского режима стала очевидной уже после 2012 года. Мало кто в России или в мире верит сегодня в возможность его реформирования. Перспективы режима утрачены. Вступил ли он в стадию агонии, вопрос спорный, но еще не вечер, немногие сомневаются, что до конца путинского правления без сомнения вступит. Короче, одной лишь дракой между претендентами на лидерство, как после Сталина, дело на этот раз не обойдется. Наиболее вероятный сценарий, похоже, такой.

В пылу драки какому-нибудь их претендентов придется обратиться, подобно Хрущеву, за поддержкой к обществу. Хотя бы потому, что агония режима, ощущение тупика самим своим фактом неминуемо поставят в порядок дня дискредитацию вчерашнего популярного (не Сталин, но все-таки) диктатора. Иначе говоря, – депутинизацию. Кто-то ведь должен быть виноват в ссоре со всем миром. И кто-то должен

предложить новую перспективу – без цезаризма. Так или иначе, если верить опыту многовековой истории России обречены мы на еще один – двенадцатый, как я уже говорил, – «прорыв» в Европу.

Вот тогда- то, в новую «оттепельную» эру, и встанет перед русскими европейцами судьбоносный вопрос: сумеют ли они в единоборстве с силами мрака, развязанными путинским правлением, воспользоваться очередным «окном в Европу», чтобы покончить с гибридом? Другими словами, наступит час «Открытой России».

КАК ЭТО БЫЛО?

Первое в XX веке «окно» в феврале 1917 озаменовалось превращением России в «самую свободную страну в мире», по выражению Ленина. Для нашей темы, впрочем, важно лишь то, что возможность для мгновенного роста незначительной при самодержавии партии оказалась тогда практически неограниченной, лишь бы эта партия обещала решение главного вопроса времени – немедленное прекращение войны (в нашем случае я имею, не войну в Украине, а войну с Западом). В 1917 воспользовались этой возможностью, как мы знаем, большевики, действительно во мгновение ока превратившиеся из незначительной секты приверженцев Ленина в сильную массовую партию.

Для солдатских масс, плохо разбиравшихся в тонкостях «сицилизма», важно было одно: большевики оказались единственной партией, способной прекратить войну немедленно и БЕЗ СОГЛАСИЯ «оттепельного» правительства. Вот так: дайте нам власть – и завтра по домам! Понимаете теперь, что имел в виду

Керенский, когда признался за ланчем с Бивербруком в 1929 году: «Мы были слишком наивны»?

Рассказывая все это, имею я в виду, конечно, что в момент очередного «окна» после Путина возможность мгновенного роста из заштатного молодежного движения в сильную массовую партию сможет обрести именно «Открытая Россия», которая неминуемо окажется в тот момент в ситуации большевиков семнадцатого года. Точно так же, как ее антагонисты – в ситуации Керенского.

Как и тогдашние большевики, предложит она стране немедленное решение главного вопроса времени – прекращение войны, пусть на этот раз и «холодной», не говоря уже о снятии всех и всяческих санкций. В отличие от большевиков, однако (как и от команды Гайдара в 1991), сможет она предложить стране также и **НЕМЕДЛЕННЫЙ РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ**. Просто потому, что выход из изоляции означал бы гигантский приток инвестиций с новейшими технологиями и, следовательно, экономический прорыв, сопоставимый с петровским в XVIII веке. Так же, как тогда, новое открытие миру обещало бы России «произведение из тьмы небытия в бытие», говоря словами канцлера Головкина, сказанными 21 сентября 1721 года.

Только новое «окно» в Европу объяснило бы каждому в России, в какой мрак допетровской архаики, в какую «тьму небытия» погрузил страну путинский режим. Долго – если считать с 1613 года, с начала Московии, – ждала во времена Головкина этого «произведения в бытие» Россия: 108 лет. Но дождалась. А мы-то ждем его «во тьме небытия» с 1917. В 2024 году 107 лет исполнится. Сопоставимо, не правда?

Тем более что, спрашивается, смогут противопоставить тогда «Открытой России» ее антагонисты, включая даже самых изощренных идеологов реакции – Изборский клуб и Дугина? Обострение конфронтации, непосильную для страны при соотношении сил 1:10 гонку вооружений, ужесточение санкций, агонизирующую экономику и в конечном счете – войну, которую они и сейчас обещают во всех своих «мобилизационных» манифестах (см. главы 12 и 13 «В гостях у изборцев» в третьей книге «Русской идеи»)?

Вот такой выбор – между миром и войной, между преуспеванием и нищетой, между бытием и небытием – предстоит России после Путина, будь то в результате неминуемой драки между грандами режима, как во времена Хрущева, или благодаря гласности, если среди них, вопреки ожиданиям, окажется еще один «Горбачев».

ТЫСЯЧА «ЕСЛИ»

Оговорюсь, все это возможно, даже вероятно, лишь в случае, если «Открытая Россия» переживет Путина (во всяком случае, его режим), не расколовшись из-за борьбы амбиций и не прогнувшись под репрессиями.

Если создаст она свои отделения во всех западных странах с тем, чтобы тысячи и тысячи молодых энтузиастов, покинувших при Путине страну и получивших образование за границей, готовы были вернуться, составив ее мощный политический и управленческий резерв?

Если у нее будет подробная программа строительства несамодержавной (европейской) России,

учитывающая особенности ее политической истории (например, то, что России категорически заказана президентская республика и, наоборот, обязательны для нее подлинная Федерация и местное самоуправление, так же как «налоговый маневр» и «поворот на Восток», которые обсуждали мы в четвертой книге «Русской идеи»).

Если сумеет она объединить вокруг этой программы все разрозненные организации русских европейцев?

Если все еще жив для современной российской молодежи, несмотря на всю ее кажущуюся апатию и цинизм, полузабытый пушкинский завет двухсотлетней давности «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы»? Намек на то, что это возможно, видели мы уже в день молодежного протеста против коррупции режима в марте 2017 года.

И самое, быть может, важное: если сумеет «Открытая Россия» отвоевать у «оттепельного» правительства контроль над телевидением? Как свидетельствует опыт второй половины 1980-х, когда бывший «зомбоящик», отвоеванный перестроечной молодежью еще при советской власти, за одну пятилетку превратил безнадежно, казалось, советизированную улицу в поголовно антисоветскую – и страну чеховских «Кирюх» в отечество граждан. Поэтому отвоевание телевидения после Путина должно было бы стать для «Открытой России» тем же, чем для Ленина были «захват почты, телефона и телеграфа», т.е. задачей № 1. И задачей № 1 для нового телевидения должна была бы стать та самая «реконцептуализация традиционных представлений о величии и власти», о которой мы так подробно говорили (я описал, как

происходило это перевоспитание советской улицы во времена гласности в главе «Спор со скептиком» в четвертой книге «Русской идеи»). И тогда ведь, если помнит читатель, начиналось все с бунта детей.

Они сложные, тяжелые, труднодостижимые, все эти «если». Трудности огромны, пусть и несопоставимы с теми, что стояли в 1991 перед командой Гайдара. Но разве, перечисляя их, эти трудности, не станет нам пронзительно ясно, что преодоление их зависит от нас, русских европейцев, только от нас и ни от кого, кроме нас? Ни бог, ни царь и ни герой, как поется в старинной песне, не поможет нам, если мы сами себе – и России – и на этот раз не поможем.

Поможем?

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

О ВОСКРЕШЕНИИ ЕВРОПЫ

Что имею я в виду под столь амбициозным заголовком? Всего лишь превращение ЕС как полулегитимного Сообщества с общей валютой, но без Парламента в общепринятом смысле этого слова (и потому известного в ксенофобских кругах как «брюссельская бюрократия») и без права контролировать фискальную политику государств-членов (и потому не вылезавшую из кризисов), а полноценную, Европейскую Федерацию (далее ЕФ). Другими словами, в то, о чем веками мечтали лишь чудаки и философы, но что впервые оказалось в пределах досягаемости лишь в XXI веке после двух умопомрачительно кровавых гражданских (для Европы) и мировых войн: в Сообществе, **навсегда отменившее войну** на самом драчливом континенте мира.

Были в истории Европы времена (XVI век – эпоха Возрождения, XVIII – век Просвещения), когда именно в ней рождался вектор всемирного развития на столетия вперед. Но времена те прошли. Казалось, навсегда. Роль мирового лидера она уступила Америке, отошла на второй план. До такой степени, что крупнейший русский консервативный мыслитель XIX века Константин Леонтьев презрительно трак-

товал ее, как всего лишь «Атлантическое побережье великого азиатского материка».

Но вот появился ЕС и с ним шанс у Европы снова, как в XVIII веке, стать образцом будущего мира. Ибо именно ЕС нашел способ преодолеть международную анархию (о которой ниже), прорваться в принципиально новое измерение мировой политики (исключающее войну как универсального регулятора отношений между государствами) и снова, как в эпоху Просвещения, пересечь, если хотите, звуковой барьер средневековья.

Увы, мало кто в современном мире рассматривает ЕС в этом качестве. Почему?

Прежде всего, мне кажется, потому, что он не сумел довести начатое им в XX веке дело до логического конца, застрял на полпути. Оттого и слывет вовсе не пионером новой эпохи, а «брюссельской бюрократией», завязшей в постоянных финансовых кризисах. В трех словах, «не воскресла Европа».

Возможно ли еще, однако, ее воскрешение? И, если возможно, то как? Попытке ответить не такие странные, на первый взгляд, вопросы и посвящено это эссе.

СЛОЖНОСТИ

Не удивительно, что предприятие такого масштаба оказалось очень непростым делом. И что не все в Европе к превращению в ЕФ готовы. Великобритания, например, ни при каких обстоятельствах не позволила бы ЕФ контролировать свой легендарный City. Даже на общую валюту не согласилась, а какая же Федерация без общей валюты? Можете вы представить себе, скажем, штат Техас с собственной, отдельной от США валютой? По всем этим причи-

нам бывшая финансовая столица мира не могла не восстать против самой идеи ЕФ. Мне Brexit с самого начала казался совершенно естественным. Ни в малейшей степени не был он предзнаменованием распада Союза. Напротив, освобождением от препятствия для его превращения в ЕФ. Что я несколько легкомысленно и высказал тогда публично. Выяснилось, однако, что я пошел против течения.

А течение было сильное. В особенности среди российских политиков. Даже такой опытный наблюдатель мировых событий, как Владимир Познер, хоронил ЕС: «Выход Великобритании, – писал он, – приведет к распаду Европейского союза». Что уж говорить о неудавшемся российском Трампе? Владимир Жириновский ликовал: «Англия – это начало, за ней развалятся НАТО, Шенген и евро». Депутат Сергей Железняк в который раз повторил мантру о «брюссельской бюрократии», окончательно погубившей ЕС. И даже серьезный Константин Косачев, главный в Совете Федерации эксперт по международной политике, с ним согласился. Но то Россия с ее консервативным национализмом. Многие ведь и в Европе паниковали.

Но пишу я сейчас это эссе вовсе не для того, чтобы торжествовать по поводу их грубой ошибки. Напротив, для того, чтобы честно признать, что ошибся и я. Недооценил того, что Brexit был лишь началом гигантской популистской волны, грозившей захлестнуть мир. И тем более что следующей ее жертвой падет Америка.

Все, казалось бы, предусмотрели отцы-основатели Соединенных штатов на 240 лет вперед. Но того, что президентом страны может стать самовлюблен-

ный буффон, комедийный персонаж, сыгравший на ксенофобском национализме якобы «забытого» белого большинства, не предвидели и они. После победы Трампа все, казалось, возможно. И в первую очередь Franxit.

В самом деле, мало кто сомневался, что Пятая республика, учрежденная Де Голлем для того, чтобы избавить Францию от ее имперского наследия, отжила свой век. Ее функция себя исчерпала. Давно. И традиционные партии – республиканцы и социалисты, – сменявшие друг друга у руля страны, не могли бы противостоять мощной ксенофобской волне, возглавленной «Национальным фронтом» Ле Пен. Владимир Путин. во всяком случае, в этом не сомневался. А ему так нужен был хоть какой-нибудь внешнеполитический успех, прорыв изоляции. Именно это и обещала ему победа Ле Пен. И он не жалел для этого усилий – и денег.

Но, видно, кончилась эра его везения. И Трампу помешал Конгресс стать «своим» для путинской России. И Англия после Brexit с еще большим энтузиазмом продолжает политику ее изоляции. А Franxit и вовсе не суждено было состояться. Непонятно откуда взявшийся независимый от традиционных партий и мало кому известный Эммануэль Макрон без труда разгромил Ле Пен (отрыв был громадный: 66,1% против 33,9) – и сломал Путину всю игру.

Захлебнулась популистская волна. Нет сомнения, Франция проголосовала за Европейскую идею. И то, что Макрон вышел после победы к торжествующей толпе своих избирателей под звуки не Марсельезы, а «Оды к радости», гимна Европейского союза, и толпа ликовала, свидетельствует об этом неопровер-

жимо. Очередная попытка Путина прорвать изоляцию захлебнулась вместе с ксенофобской волной, которая (если не считать исчезающую мечту о новом и резком повышении цен на нефть), оставалась единственной его надеждой.

Но внешнеполитические провалы Путина, которых впереди еще, похоже, вагон и маленькая тележка, отдельная тема, а я сейчас о судьбе Европейской Федерации.

ПОБЕДА ИЛИ ПЕРЕДЫШКА?

Гарантирует ли «чудо Макрона» воскрешение Европы как подлинной Федерации с нормальным парламентом и Конституцией, что уже дважды – в 2002 и 2008 – ей не удалось? Боюсь, нет.

Во-первых, ультраправые разбиты, но не добыты. То, что Ле Пен удалось завоевать треть голосов на выборах, свидетельствует, что ей в значительной степени удалось отмыть несмываемое, казалось, вишистское клеймо, тяготевшее над «Национальным фронтом» со времен ее папы. Конечно, факт, что выступила она на выборах в роли «иностранного агента», говоря в российских терминах, и ее откровенная беспомощность в дебате с Макроном, который она проиграла вчистую, повредили. Но Россия и Путин для французов все-таки не то же самое, что Виши и Петен. И за предстоящие пять лет Ле Пен подучится. Натаскают. Так что, если не отнять у нее за время передышки ее главный козырь, гласящий, что управляет Францией «брюссельская бюрократия», Ле Пен может вернуться.

Во-вторых, и это главное, не совсем ясно, что имеет в виду Макрон, когда говорит: «Я хочу восста-

новить связь (bond) между гражданами и Европой». Как именно намерен он этот bond восстанавливать? Единственный, с моей точки зрения, его шанс превратить передышку в победу это последовать опыту отцов-основателей Соединенных штатов.

ДВА ОПЫТА: АМЕРИКАНСКИЙ И РОССИЙСКИЙ

Как мы знаем, смысл Американского исторического эксперимента в XVIII веке состоял в том, чтобы создать **прецедент РЕСПУБЛИКИ** в сплошь монархическом мире. Имея в виду, что все античные образцы республики, которыми руководились отцы-основатели, погибли, либо превратившись, как Римская, в империю, либо, подобно Афинам, от меча завоевателей, это был рискованный эксперимент. В такой непредсказуемой ситуации поставили Отцы-основатели судьбу страны на одну карту: на то, что разделение властей и Федерация сломают роковую, казалось, предопределенность. Ставка оказалась правильной.

С Европейским экспериментом по замене войны как регулятора отношений между государствами **взаимным доверием, основанным на общих ценностях**, еще сложнее. У него вообще не было прецедентов. Международная анархия, беременная войной, правила бал с начала времен. Я нисколько не преувеличиваю. Именно так, «беззаконной анархией», называет международные отношения крупнейший американский специалист в этой области Кеннет Волтз. Правда, другой уважаемый эксперт Роджер Мастерс слегка поправляет Волтза: «Если уж говорить о международной анархии, хорошо бы иметь в виду, что речь все-таки идет об анархии упорядоченной». Тем не менее собственная работа Мастерса называется

«Мировая политика как первобытная политическая система».

На этой первобытной основе выросла и на протяжении столетий – от Фукидида до Макиавелли и Киссинджера – школа так называемой реальной политики (Realpolitik), самый влиятельный современный гуру которой Ганс Моргентау так формулировал в классической работе «Политика наций» смысл международных отношений: «Государственные деятели мыслят и действуют в терминах [национальных] интересов, определяемых как сила. [И постольку] мировая политика есть политика силы». Интересов и силы, заметьте, не ценностей и взаимного доверия. Циник сказал бы: у кого больше железа, тот и прав. И так было всегда. В африканском племени Нуэр, чудом сохранившем в джунглях первобытные нравы, говорят об этом проще и ярче: «правда на кончике копья».

Но как бы ни называли мы международную анархию, «беззаконной» ли, как Волтз, или «упорядоченной», как Мастерс, никуда нам не деться от удручающего факта, замечательно точно подчеркнутого в названии работы самого Мастерса: никакого существенного прогресса в мировой политике с первобытных времен не произошло. По-прежнему мало чем отличается она от политики дикарей.

В этом смысле и оказался ЕС первопроходцем принципиально новой международной политики. И всего-то понадобилось для этого государственным деятелям руководиться общностью ценностей вместо национальных интересов и взаимным доверием вместо силы. Осталось немного: добиться, говоря словами Макрона, «бонда между гражданами и Европой», другими словами, полной, неоспоримой легитимности своего эксперимента. Но добиться этого без

успешного опыта отцов-основателей Соединенных штатов, т.е. без полноценного федеративного парламента и ответственного перед ним правительства, невозможно. Свидетельствует об этом второй, трагический опыт Российской империи. Упорное сопротивление «думского самодержавия», по выражению Макса Вебера, ответственному перед Думой правительству, чего отчаянно добивалась оппозиция, погубило, в 1917 Россию. Не об этом ли втором опыте напоминает ЕС Макрон, говоря о восстановлении *bond* между гражданами и Европой? Резонное, согласитесь, предположение, имея в виду, что ЕС, подобно правительству Николая II и в противоположность опыту отцов-основателей США, этим *bond* пренебрег.

ГОЛОВОЛОМКА

Нет, конечно, формально есть у ЕС парламентская ассамблея – с рекомендательным голосом. Ни законодательствовать, ни назначать правительство она не может. Мудрено ли, если на равных заседают в ней и сторонники Еврофедерации и яростные ее враги, ксенофобы, и строители, и разрушители, а случается и вовсе посторонние, чужие Сообществу? И путинскую Россию ведь, было дело, приглашали заседать. Несмотря даже на то, что живет она будто в другой реальности и стоит за идеи, давно отвергнутые ЕС как наследие Средневековья – и за неограниченный национальный суверенитет, и за «границы на замке», и за абсолютный приоритет национальных интересов. С такими идеями Сообщество не построишь, разве что империю.

Так или иначе, не сумел ЕС, в отличие от американских федералистов, выстроить свой дом для вели-

кого эксперимента, который затеял. Словно бы так и не поняли в Брюсселе, что речь идет о судьбе именно ЭКСПЕРИМЕНТА, хрупкого еще, неустойчивого, незавершенного. Ну, возьмем для наглядности даже не исторический, а обыкновенный научный эксперимент. Мыслимо ли, чтобы для участия в нем пригласили его принципиальных противников, которые делали бы все, что могут, чтобы его сорвать? А ЕС приглашает, превращая парламент в декорацию и лишая тем самым граждан того самого bond с Европой, о котором говорит Макрон.

Есть, однако, и другая сторона дела. Россию, конечно, можно было прогнать, пусть не ЗА архаические идеи, а за то, что начала хулиганить. Но своим-то депутатам, пусть сколь угодно враждебным самой идее Сообщества, не откажешь. Тоже ведь избраны народом. И ЕС все-таки не стерильный научный эксперимент, а **демократическое** Сообщество. Короче, если мы хотим знать действительную причину слабости ЕС, то вот она перед нами, головоломка.

«Брюссельская бюрократия» не фантом воспаленного воображения Ле Пен. Это, конечно, результат двойной травмы (Конституция Европы, включавшая, разумеется, **парламент Еврофедерации**, дважды, как мы уже говорили, потерпела поражения на референдумах). И нервы сдали. И вместо следующей попытки (в конце концов, одна лишь крохотная Ирландия проголосовал в 2008 году «против»), вместо еще одной редакции Конституции, вместо, на худой конец, просто исключения Ирландии из ЕС, руководство Сообщества приняло самое плохое из всех возможных решений – **смириться**. Что ж, решили, будем жить без Федерации, с декоративной ассамблеей

вместо Парламента и с Кодексом *acquis communautaire* вместо Конституции.

Нет слов, много чего есть в этом *acquis*, за что жаждущие свободы люди в менее счастливых местах готовы отдать жизнь, быть может. И регулярная сменяемость власти в нем есть, и верховенство закона, и независимый суд, и свободные выборы и разделение властей, но ни Еврофедерации, ни **федеративного** парламента (и, следовательно, разделения властей, которого *acquis* требует от государств-членов ЕС, но от которого, сам отказался, заменив парламент ассамблеей), в *acquis* нет.

Результат легко было предвидеть: ксенофобы вцепились в это противоречие как клещ, обретя в нем сокрушительный жупел «брюссельской бюрократии», – и противопоставили ЕС старую, добрую международную анархию, ту самую «правду на кончике копья», которая, повторим, привела в XX веке к двум мировым войнам. Одним словом, совершена была **ошибка**, которая, если верить Талейрану, хуже преступления.

ДАЛЬШЕ – ХУЖЕ

Мало того. Ошибка была усугублена странным, мягко говоря, решением ЕС. Вместо того, чтобы довести до ума Европейский эксперимент, навести, так сказать, порядок в собственном доме решено было приступить к **экспансии** недостроенного дома, руководясь еще более странной претензией, будто в ЕС должна состоять ВСЯ Европа. Почему вся? Зачем вся? Тем более что, в отличие от Америки XVIII века, речь идет о странах с очень разным историческим опытом, с разной степенью доверия друг другу, с раз-

ной готовностью пожертвовать неограниченностью национального суверенитета ради безопасности Сообщества, в котором они могли бы жить в мире и процветании.

Короче, забыли старинную мудрость, что в «одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Всех впрягали, не отличая коней от ланей, лишь бы обещали соблюдать *acquis*. Но ведь *acquis*, как оказалось, можно и фальсифицировать. Вот и в России есть формально «разделение властей», есть «парламент», есть «выборы», есть «независимый суд». И никак все это не мешает фактической диктатуре. Причем, открытой, демонстративной. И вообще, как, спрашивается можно было ожидать, что ВСЕ в Европе готовы к эксперименту, основанному на взаимном доверии, ничего подобного которому никогда в истории не бывало?

Американские федералисты, доводя свой эксперимент до ума, целое столетие после революции держались в стороне от хитросплетений мировой политики. А европейские, не построив собственный дом, с зияющими прорехами в его фундаменте сходу ринулись в бучу. Так была усугублена ошибка, ксенофобский жупел «брюссельской бюрократии», навязывающей свои порядки всем и каждому, стал всеевропейским. Проблема теперь в том,

КАК ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ?

Если коротко, головоломка сводится к неразрешимому, казалось бы: противоречию не может быть Европейской федерации без федеративного парламента, а при демократической процедуре федеративный парламент выглядит невозможным. Тем не менее

у головоломки, похоже, есть решение. В двух словах: двухпалатный парламент.

Естественно, потребуются для этого новые парламентские выборы, на которых избирателям был бы предложен новый *acquis*. Разница со старым состояла бы лишь в одном новом вопросе в бюллетене:

«Согласны вы – или не согласны – жить в Европейской Федерации?»

Избранный по итогам этих выборов парламент состоял бы из двух палат. В верхней палате заседали бы **ТОЛЬКО** депутаты с федеративным мандатом и **решающим голосом**. В нижней несогласные – с совещательным.

Естественно, не всем в Европе понравится такой *acquis*. Не понравится он даже всем членам ЕС. Что ж, вольному воля. Европейская Федерация не СССР. Она не пошлет танки в мятежную Венгрию или в несогласную Чехию. В конце концов, кто сказал, что членов в ЕФ должно быть 28, а не 19 или даже не 13, с которых, между прочим, начинались Соединенные штаты Америки.

Зато был бы у нее не аморфный союз, а реальная Федерация и не ассамблея, а полноценный парламент, которому можно доверить и законодательство, и назначение министров, и разделение властей, и правительство ответственное перед парламентом, как и положено в демократической Федерации. И зловещая мантра о «брюссельской бюрократии», без которой Ле Пен, как без рук, – никаких ведь аргументов, кроме этого, у нее нет – рассыплется сама собою. Ксенофобы обезоружены. И «*bond* между гражданами и Европой», если я правильно понял Макрона, будет восстановлен. И успех его на выборах 2017 года станет не передышкой, а победой.

Но главное: **прецедент** Сообщества, основанного на взаимном доверии, ради которого и затевался весь этот великий исторический эксперимент, Сообщества, **отменившего войну**, будет, наконец, создан. И с ним – воскрешение Европы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДЕБАТЫ
О РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
ЛАРРИ ВУЛЬФ, АЛЕКСАНДР ЯНОВ
ПЕРЕПИСКА

*Коллеги обратили внимание на старую мою, почти пятнадцатилетней давности переписку с хорошим бостонским историком Ларри Вульфом, опубликованную в **Неприкосновенном запасе** (2002, № 6). Я согласился перепечатать ее в Снобе и в ФБ. В первую очередь потому, что, как ни удивительно, переписка эта, похоже, несколько не устарела. Столько всего за эти годы произошло, но так же, как и тогда, думают сегодня о России и Европе американские интеллектуалы и так же думают о них многие интеллектуалы в России. Разве и впрямь не удивительно? Но согласился я также и потому, что дает эта переписка довольно точное представление, как о том, с чем столкнулся я в 1974 году, когда неожиданно для себя оказался на другом конце света, так и о «втором фронте», которым встретила меня Россия в 1990-м, когда вернулся я, наконец, домой.*

И не в последнюю очередь согласился я потому, что интересно мне, на чью сторону в нашем непримиримом, несмотря на безупречную его корректность, споре с Ларри станут сегодняшние читатели Сноба и ФБ.

20 ноября 2002

Дорогой Alex,

В блестящем и пророческом последнем абзаце Вашей книги «The Origins of Autocracy», опубликованной двадцать лет назад, в 1981 году, Вы отметили, что глубоко убеждены в том, что так же, как Россия была в середине шестнадцатого века «на перепутье», так «и сейчас, в конце века двадцатого, она снова находится на том же перепутье». Вы указали и альтернативные дороги, ведущие от этого перепутья: «Что ожидает Россию – новый “абсолютизм, пропитанный азиатским варварством” (по словам Шмидта), или, наконец, с четырехвековым опозданием, “абсолютизм европейского типа”?». Удивительно, что в 1981 году Вам удалось так сформулировать проблему – историческая модель, которую Вы использовали в этой книге, как кажется, предугадывала поворот 1991 года. Как нам хорошо известно, большинству западных «экспертов», включая наших самых прославленных советологов, глядевших в будущее из бурных 1980-х годов, не удалось сделать никаких точных предсказаний. В частности Ваша модель, по-видимому, предсказывала неизбежное возвращение оппозиционной европейской альтернативы.

Вот – мой первый вопрос к Вам: какова природа этого «перепутья», и считаете ли Вы, что это и в самом деле полезная метафора? Были ли действительно две пересекающиеся дороги в шестнадцатом, восемнадцатом, двадцатом веках и, конечно, сегодня, в начале двадцать первого века? Вы цитируете формулу Шмидта об «азиатском варварстве», а в заключении к книге говорите об ответственности историков. Поэтому у меня возникает вопрос: не может ли быть

так, что именно историки или вообще интеллектуалы спланировали это перепутье и расставили указатели, упрощая таким образом политику и историю и создавая, возможно, иллюзорное ощущение ясных и радикальных альтернатив? Я задаю этот вопрос потому, что описанное Вами перепутье «сюда – к азиатскому варварству, туда – к европейской цивилизации» удивительно похожа на то, как излагали дилемму России философы французского Просвещения, как я их интерпретирую в своей книге «Изобретая Восточную Европу». Альтернативы российского самодержавия и европейского абсолютизма, которые Вы описываете в «The Origins of Autocracy», удивительно похожи на философские альтернативы, предложенные в эпоху Просвещения в качестве судеб России.

Поэтому я как интеллектуальный историк спросил бы, не интеллектуалы ли сконструировали эти альтернативы и, если это так, насколько хорошо они описывают социальные и политические условия России? В частности, я бы спросил: насколько убедительно мы способны определить, что мы имеем в виду под «Европой»? Или же это – понятие, которое постоянно пересматривается и выдумывается заново – на протяжении веков и до нынешнего момента, когда Европейский союз решает, кого принять в Европу, а кого заставить ждать? Иными словами, возможно ли найти объективный историографический ответ на вопрос, является ли Россия европейской страной или даже является ли она хотя бы отчасти европейской страной? Или же ответом на этот вопрос легко манипулировать, в зависимости от того, какое определение мы решаем дать Европе?

В Ваших недавних статьях о русском национализме в западных исследованиях и об «Окне возмож-

ностей» для Запада, Вы очень убедительно писали о необходимости срочно определить европейское будущее России. В этом я с Вами полностью согласен, но я сомневаюсь в том, что перепутье может быть оснащено достаточно четкими указателями. Существует ли только одно европейское наследие, или их много? И соответственно, существует ли только одна дорога в Европу, или же их несколько? Может быть, чтобы признать Россию европейской страной и включить ее в Европу двадцать первого века, мы должны признать скорее множество путей и направлений, включая кривые и диагонали, чем ясно очерченную альтернативу?

Следующий вопрос: кто определяет отношение России к Европе? Сами россияне – или интеллектуалы за пределами России, интеллектуалы из Западной Европы, говорящие за всю Европу, как это было в эпоху Просвещения? Как Вам известно, есть также американцы, которые из-за Атлантического океана позволяют себе определять отношение России к Европе. Как сочетаются эти попытки – изнутри России и извне – понять это отношение?

В 1793 на венецианском карнавале была исполнена комедия «Gli Antichi Slavi», что можно перевести «Древние славяне» или, возможно, лучше, как «Старомодные славяне». Действие происходило в Далмации, которой тогда управляла Венеция. В пьесе рассказывалась история любовного треугольника – за далматской девушкой ухаживают двое славянских поклонников. Один из них – архаичный горский славянин, грубых и примитивных нравов, с длинными усами и тяжелым мечом. Другой – новомодный славянин с побережья Адриатики, который носит итальянскую одежду и ведет себя как итальянец –

короче, славянин цивилизованный. Девушка должна решить, за кого она хочет выйти замуж. Каждый из женихов представляет свои достоинства, отстаивая свою славянскую идентичность. Думаю, Вы угадаете, кого она в конце концов выбирает.

Это комедия была написана по-итальянски. Обоих славян, примитивного и цивилизованного, на венецианской сцене играли итальянские актеры. Мне кажется, это пример «распутья» идентичности, сформулированного здесь как комическая любовная дилемма. Венецианцам дилемма казалась очевидной: либо славяне выбирают итальянскую одежду и нравы и, таким образом, становятся цивилизованными, либо они навсегда останутся варварами. Но могла ли эта дилемма показаться столь простой или столь ясной настоящим славянам девятнадцатого века? Мне хотелось бы задать Вам вопрос, не навязали ли западные интеллектуалы подобного рода упрощенные альтернативы России, начиная с 1990 годов, не слишком ли сами россияне иногда упрощают альтернативы? Прошлым летом, когда я был в Москве, я видел в магазинах красивую и дорогую итальянскую обувь. Но, несомненно, «Европа» – это нечто более сложное. Итак, как мы можем понять перепутье, не упрощая при этом альтернативы? Ваш Ларри.

22 ноября 2002

Дорогой Ларри,

Расскажу Вам историю, что произошла со мною в Москве в сентябре – октябре 2000 года (которую я уже в общих чертах русскому читателю рассказывал). Годом раньше вышла у меня в Новосибирске книга

«Россия против России», в которой, хотя и посвящена она совсем другой теме, альтернатива, стоящая перед страной в XXI веке, была, Вы угадали, сформулирована не очень отлично от той, что в «The Origins of Autocracy». И вот я решил – вполне законное, согласитесь, желание – обсудить её с российскими коллегами. Я говорил о ней, по меньшей мере, в дюжине академических институтов и семинаров, на радио и даже на телевидении.

Реакция коллег оказалась, мягко говоря, нетривиальной. В частности, большинство из них неколенимо настаивало на том, что Россия не Европа и делать ей там нечего. По множеству причин – от самых элементарных до высоко рафинированных. И климат, мол, не тот, и расстояния не те, и бытовые привычки иные. Некоторые подчеркивали, как нелепо выглядел бы российский слон в тесной европейской посудной лавке, которую еще Константин Леонтьев пренебрежительно назвал в свое время лишь «атлантическим побережьем великого азиатского материка». Другим казалось унизительным, что «народу-богоносцу» следует стремиться в душную, приземленную, бездуховную Европу.

Третьи цитировали того же Леонтьева, завещавшего, что «России надо совершенно сорваться с европейских рельсов и, выбрав совсем новый путь, стать во главе умственной и социальной жизни человечества». Или современного московского философа Вадима Межуева, уверенного, что «Россия, живущая по законам экономической целесообразности, вообще не нужна никому в мире, в том числе и ей самой». Ибо не страна она вовсе, но «огромная культурная и цивилизационная идея».

Не знаю, как отнеслись бы Вы к такой реакции на альтернативу, предложенную по Вашим словам, еще философами Просвещения. Для меня, впрочем, она была предсказуемой. И здесь, наверное, главная ошибка этих философов. Они за редчайшим исключением (Гердер, Руссо) трактовали Россию просто как еще одну часть «полуварварской» Восточной Европы (и даже, подобно Вольтеру, поощряли ее изгнать оттуда турок и завоевать Константинополь), тогда как она думала и, между прочим, все еще думает о себе совсем иначе.

Как свидетельствуют события последнего десятилетия, Восточная Европа, что бы там ни говорили о ее «варварстве» философы Просвещения, свой выбор сделала. Она *единодушно* выбрала интеграцию в Европу Западную. И та, как бы ни похвалялись эти философы уникальностью ее «цивилизации», согласилась принять ее, как равную, в свое лоно. И лишь Россия не сделала до сих пор свой выбор. Почему? Об этом и написана моя книга «Россия против России» (вышедшая в 2002 году в Москве вторым, расширенным, изданием под названием «Патриотизм и национализм в России»).

Но Вас, вероятно, интересует, что я ответил на доводы своих оппонентов. Скажу. Тем более что таким образом надеюсь ответить на самый важный из Ваших вопросов – о природе перепутья, на котором стоит сегодня Россия. Вот, говорил я коллегам, сидим мы с вами здесь в Москве и совершенно свободно обсуждаем самые важные, без преувеличения судьбоносные вопросы будущего страны. А теперь скажите честно, если у нас с вами гарантия, что и через пять, скажем, лет или через десять их можно будет также свободно здесь обсуждать? Нет гарантии? Так не

пора ли задуматься, почему? А также о том, каким это образом в Европе они есть, а у нас их нету? Не время ли нам тоже обзавестись, наконец, после четырехсот-летнего блуждания по самодержавной, имперской пустыне таким гарантиями? Ибо что же есть, в конце концов, Европа, как не гарантия свободы?

Не знаю, удовлетворит ли Вас мой ответ. В любом случае он, как видите, кардинальным образом отличается от того, который давали на этот вопрос философы Просвещения. Не нравы, не манеры, не одежда (Ваша «итальянская обувь»), не бытовые привычки, как думали они, стоят в центре европейской цивилизации, но гарантии свободы. Так, по крайней мере, думает мое поколение «русских европейцев», как назвал своих единомышленников Сергей Юльевич Витте. «Варварство» соответственно означало в его устах отсутствие таких гарантий.

Ответ на другой Ваш вопрос, о том, определяют ли западные интеллектуалы альтернативы для России, содержится, по сути, в истории, которую я рассказал. Нет, в отличие от эпохи Просвещения, не только не определяют, но, к сожалению, вообще никак не помогают они «русским европейцам». Даже самые радикальные из западных собратьев до сих пор не продвинулись дальше лозунга «Европа начинается в Сараево». Что Европа начинается в Москве им, похоже, и в голову не приходит.

Наконец, Вашего вопроса о «кривых и диагоналях», которые могли бы скорее привести Россию в Европу, нежели ясно очерченная альтернатива, я, честно говоря, толком не понял. Во всяком случае, куда Вы не объясните, о каких именно «кривых» идет речь, они, мне кажется, лишь запутывают дело.

Пора, однако, сказать два слова и о Вашей книге, которую я внимательно и с удовольствием прочитал. Она произвела на меня большое впечатление. И прежде всего устрашающей эрудицией автора. Если, допустим, о спорах Вольтера с Руссо или Канта с Гердером я, конечно, знал, то о злоключениях в Санкт-Петербурге какого-нибудь Лемерсье, признаться, никогда не слышал.

Но вот чего читатель, во всяком случае, российский, из Вашей работы, боюсь, не вынесет, так это представления о «смелости и гениальности» Ваших героев, философов Просвещения, о чем Вы вскользь упоминаете в предисловии к американскому изданию. Скорее вынесет он представление об их спеси и тщеславии, а также, по Вашим собственным словам, о «высокомерном и сознательном искажении [ими] образа России».

Наверное, это не случайно. Ибо вся громадная критическая работа этих людей, благодаря которой и стала Европа тем, чем она стала, оказалась, к сожалению, за скобками Вашего исследования. Я понимаю, конечно, что тема у Вас была другая. Но ведь Вы и сами пишете, что Ваша книга «не [столько] о Восточной Европе, [сколько] о Западной». И, тем не менее, читатель так из нее и не узнает, за что же, собственно, следует ему уважать Европу и ее героев эпохи Просвещения. Почему?

Может быть, в своем первом письме Вы задали больше вопросов, чем получили ответов. Но, как говорят в России, еще не вечер или, по-английски, the night is still young. И все еще в нашей переписке впереди.

Ваш А.Я.

28 ноября 2002

Дорогой Alex,

В своем Наказе Екатерина II объявила, что «Россия есть держава европейская». Думаю, мы с Вами согласны с ней в этом, хотя многие из Ваших российских и моих американских соотечественников, возможно, не согласятся. Однако, мне интересно, говорила ли Екатерина о том, что она считала фактом географии, политики, истории и культуры, или же она делала программное заявление о своей политике, подчеркивая, что она решительно намерена превратить Россию в европейское государство. Я склоняюсь к последней интерпретации, так как (и в этом, возможно, состоит разногласие между нами) я не считаю «Европу» чем-то конкретно определяемым. Мне кажется, что «Европа» (как и «красота» в английском идиоматическом выражении) существует только в глазах смотрящего. Она определяется субъективно – как изнутри, так и извне. Я имею в виду, что значение имеют обе перспективы: считают ли россияне Россию европейской страной и рассматривают ли ее как таковую нероссияне. Я бы сказа, что неоднозначный статус России является точным отражением споров среди Ваших коллег. Екатерина, должно быть, очень хорошо понимала это – все-таки она была немкой по происхождению и в то же время русской по своему второму отечеству.

Из всех знаменитых философов Просвещения, Дидро был тем, кто лучше всех мог понять европейскость России, ведь он сам съездил в Санкт-Петербург, чтобы встретится с Екатериной и увидеть Россию собственными глазами. Но в то же время Дидро

по своему интеллектуальному темпераменту был скептиком и, комментируя екатерининский Наказ, он заметил, что вовсе не важно, является ли Россия европейской или азиатской страной: главный вопрос в том, хороши или плохи ее нравы, и здесь уже не имеет значения, можно ли их соотнести с той или иной частью света.

Несмотря на мое глубокое убеждение в том, что Россия – страна европейская (и я глубоко прочувствовал это, когда был в Санкт-Петербурге и Москве в 1990-х, а до того – в 1970 годах), я также понимаю скептическое отношение Дидро и его признание, что дистрибутирование хороших и плохих качеств «по частям света» – это своего рода интеллектуальная уловка. Именно поэтому я думаю, что «Восточная Европа» является выдумкой.

Вы выдвигаете мысль о том, что в сегодняшней России решающим фактором европейскости является свобода слова. Конечно, я не могу не согласиться, что свобода слова – критерий гораздо более важный, чем итальянская мода, но разве свобода слова – это что-то европейское? Честно говоря, многие мои соотечественники скорее сочли бы его характерно американским. А если говорить об историческом измерении, то можем ли мы использовать свободу слова как критерий европейскости в прошедших столетиях? Это, безусловно, не то, о чем думала Екатерина, когда она объявила Россию европейским государством, но и у Дидро были основания усомниться в том, что он пользовался этой свободой во Франции.

Сегодня, очевидно, существует набор точных критериев, определяющих принадлежность к Европе – то есть, к Европейскому Союзу. Но можем ли

мы сформулировать внятное определение Европы до 1945, а тем более, 1789 года? Читая «The Origins of Autocracy», я восхищаюсь Вашей попыткой отличить российский деспотизм от европейского абсолютизма, но все же у меня остаются сомнения. Я могу согласиться с тем, что в эпоху Ивана Грозного российский деспотизм имел отличительные черты, но разве существует единая форма европейского абсолютизма, в которую вписываются все остальные страны?

Будучи в Санкт-Петербурге в 1993 году, в один прекрасный летний день мы с моим российским коллегой гуляли по Летнему саду. Светило солнце, играла живая музыка, у нас было хорошее настроение, и я спросил у коллеги: «Можете ли Вы объяснить мне, что такой сцене было бы иначе десять лет назад? Что изменилось?» – он ответил: «Десять лет назад я бы не мог гулять здесь, разговаривая с Вами».

Это наблюдение, конечно, подтверждает Ваше ощущение, что свобода слова является отличительной чертой сегодняшней России, но я бы спросил, является ли эта свобода сама по себе чем-то характерно европейским, или же завоевание этой свободы скорее отражает *развитие* Европы в XX веке? В конце концов, нельзя утверждать, что в Европе XX века у одной только России не было такой свободы. Разве такой ответ, подобный ответу моего российского коллеги в Санкт-Петербурге 1993 года, не мог прозвучать в беседе с испанским коллегой в Мадриде 1980-го или немцем в Мюнхене 1959-го? Это как раз те зигзаги, которые я имел в виду в последнем письме, те запутанные курсы, по которым в XX веке «европейский» статус обрели Германия и Испания, Италия и Греция, или Венгрия и Польша.

Британский историк Марк Мэзоуэр недавно опубликовал книгу под названием «Темный континент», в которой говорится о том, что в истории Европы в XX веке нельзя видеть один лишь прогресс демократии. Скорее, это постоянная борьба между демократией и либерализмом, с одной стороны, и фашизмом, авторитаризмом и коммунизмом – с другой. В этом отношении российский опыт, хоть он и был экстремальным, вполне вписывается в исторические фронты, которые существовали и в других частях Европы XX века. (Остроумность названия заключается в том, что по-английски под «темным континентом» как правило, подразумевается Африка, а не Европа).

Да, то, что некоторые Ваши российские коллеги отвергают мысль о России как о части Европы – серьезная проблема, так же как и то, что ее отвергают некоторые мои американские коллеги. Мне представляется, что отчасти проблема заключается не просто в искаженном славянофильском или «ориенталистском» представлении о России, но, возможно, и в упрощенном представлении о самой Европе.

Ваш Ларри

29 ноября 2002

Дорогой Ларри,

Если внимательно прочитать Наказ Екатерины, а также ее «Антидот» и аналогичные работы российских единомышленников императрицы, то смысл ее гордого заявления «Россия есть держава европейская», становится, думаю, совершенно очевиден. Ибо после Монтескье прослыть страной «не-европейской» могло означать лишь одно: азиатский

деспотизм, т.е. мертвую государственность, «живой труп», по выражению Виссариона Белинского. Естественно, Екатерина «обокравшая», по ее собственным словам, Монтескье, не желала, чтобы ее Россию сочли живым трупом, зачислив в компанию «персиян, китайцев и турок».

И едва мы это поймем, у нас вряд ли останутся сомнения, Европа была для Екатерины не столько совокупностью реальных государств, со своей историей и судьбой, сколько символом респектабельности. И еще важнее, говоря ученым языком, «идеальным типом» государственности, *способным к политической модернизации*. И я, право, не вижу в этом никакого упрощения проблемы. Мне кажется, что достаточно взглянуть хотя бы на сегодняшнюю арабскую государственность, чтоб согласиться с Екатериной, нежели с Дидро (и с Вами).

Обратите внимание, что в «**The Origins of Autocracy**» я не только не называю российскую государственность деспотической, но и посвятил всю теоретическую часть книги полемике с теми, кто ее так называет (Карл Виттфогель, Арнольд Тойнби, Ричард Пайпс). Екатерина была права: Россия способна к политической модернизации. И в этом смысле действительно «держава европейская». Помимо ее собственного царствования, опыт Ивана III, Петра I и Горбачева, каковы бы ни были изъяны их политики, не оставляет в этом и тени сомнения.

Другое дело, что политическая модернизация каждой из европейских стран, как и обоих великих отпрысков Европы, Америки и России, имеет свои особенности. Это и подтверждают примеры Германии, Испании или Греции, не говоря уже о Восточ-

ной Европе, переживших в XX веке свою, условно говоря, «Контрреформацию». Особенность России, в частности, состоит в том, что я называю цивилизационной неустойчивостью. В том, другими словами, что она периодически теряла способность к политической модернизации, как в позднее средневековье, так и в Новое время, притом теряла порою на целые столетия.

Самым ярким примером такой потери европейской идентичности было её Московитское столетие, начавшееся после первой самодержавной революции Ивана Грозного (между 1584 и 1689 годами), когда Россия противопоставила себя Европе как единственная страна «правильного» христианства, с собственным Русским богом. Именно из этого застойного «особнячества» как назвал его Владимир Соловьев, и вырвал её железной рукой Пётр.

Тем не менее, московитское «особнячество», можно сказать, возродилось в результате разгрома декабристской политической элиты, намеревавшейся довести петровскую реформу до ее логического завершения, и второй самодержавной революции Николая I (1825–1855). Именно поэтому, как заметил один из крупнейших американских историков Н.В. Рязановский, «Россия так никогда и не наверстала тридцать лет, потерянных при Николае».

Формат письма не позволяет мне продолжать этот исторический экскурс. Скажу лишь, что и сегодняшние российские элиты, включая академическую, по-прежнему колеблются, как и в постниколаевские времена, между московитским «особнячеством» и соблазном Европы.

Потому-то и говорил я, рассказывая Вам о своих беседах с коллегами в 2000 году, вовсе не о свободе

слова, как Вам показалось, но о **гарантиях** этой свободы. Ибо если, как и во времена Екатерины, Европа по-прежнему символ политической модернизации, то без гарантий свободы такая модернизация в наше время невозможна. И, само собой разумеется, несовместима с еще одним приступом «особнячества».

Позвольте мне в заключение напомнить, что я все еще надеюсь услышать ответ на свой вопрос, почему так и не узнает из Вашей книги российский читатель за что, собственно, ему уважать Европу и героев ее Просвещения.

Ваш Alex

2 декабря 2002

Дорогой Alex,

Философы Просвещения, действительно, интеллектуальные герои Нового времени и, хотя было бы трудно найти такие политические и философские вопросы, по которым они все были бы согласны друг с другом, их самый драгоценный вклад в наш современный мир – это их неистовый критический дух. Поэтому я надеюсь, что мне не надо извиняться за то, что в своей книге **«Изобретая Восточную Европу»** я рассматриваю их критически – ведь любая некритическая оценка противоречила бы их собственному интеллектуальному наследию.

Правильно говорила Екатерина, когда она хвалила Вольтера за то, что он боролся с врагами человечества – в том числе, с суеверием, фанатизмом и невежеством. И все же я бы не решился назвать философов XVIII века образцовыми интеллектуалами, воплощающими в себе «европейские» ценности наших времен. Вольтер, с его пожизненной ненавистью

к религии, и Руссо, подчеркивающий общую волю социального и даже национального сообщества – уверены ли мы в том, что двадцатом веке они не стали бы приверженцами той страны, которая первой начала разрушать религию и прославляла превосходство сообщества над индивидом? В конце концов, было много французских интеллектуалов, самопровозглашенных наследников Вольтера и Руссо, которые в течение всего сталинского периода и вплоть до 1960 годов яростно поддерживали Советский Союз и его путь к утопическому коммунизму.

Так как я особенно восхищаюсь критическим духом этих философов, в книге **«Изобретая восточную Европу»** я попытался осветить некоторые аспекты их исключительно некритического отношения к России. Читая переписку Вольтера с Екатериной, нельзя не заметить, что он был совершенно некритическим и даже рабским в своем низкопоклонстве – и я думаю, с его стороны это была не только лесть, но и выражение некритического убеждения в том, что с Екатериной в Россию пришла европейская цивилизация. «В 1700 году, – писал Вольтер, – я бы ни за что не предположил, что однажды Разум придет в Москву по приглашению принцессы, рожденной в Германии». Вольтер был ведущим представителем целой фаланги философов, свято веривших в будущее России под эгидой Разума. Они не сомневались в том, что будущее России – в Европе, но в то же время именно они самоуверенно определяли условия достижения цивилизации в России, следуя ценностям Просвещения.

Мне кажется, что до сих пор спорным является вопрос, может ли Запад брать на себя смелость определять те условия, на которых Россия может считать-

ся цивилизованной или европейской? Несколько недель назад я слушал выступления Горбачева в Гарварде. Оно было флегматичным, он как будто оправдывался. Но одна тема вызвала у него сильное возмущение, а именно: курс экономической шоковой терапии, который в России 1990 года предложил департамент экономики Гарвардского университета. Я согласен с Вами в том, что настаивать на особом пути для России – гибельно, но я бы не решился встать на противоположную позицию, утверждая, что все государства должны следовать одному и тому же пути в Европу, начав его с одного и того же перепутья.

В отличие от Дидро, Вольтер никогда не ездил в Россию, наоборот, он упорно отклонял приглашения приехать в эту страну, так что у него ни разу не было возможности свои фантазии о Петре, Екатерине и российской цивилизации на реалиях российского опыта XVIII века. В 1951 году французский ученый Альбер Лортолари опубликовал блестящую книгу о философах Просвещения и России под названием «Le Mirage Russe» (Русский мираж), который доказывал, что некритическое и нереалистичное видение России этими философами и, в первую очередь, Вольтером, следует считать чем-то вроде иллюзии, миражом в пустыне. Лортолари опубликовал эту книгу в начале «холодной войны», ощущая параллели между просвещенными философами XVIII века и французскими левыми интеллектуалами века двадцатого. Казалось, что и те, и другие смотрели на Россию (екатерининскую или сталинскую, соответственно) в духе некритической фантазии.

Когда я в прошлом году был в России, мне сказали, что теперь молодое поколение отчасти отказалось от водки в пользу пива. Оно из многих послед-

ствий такого социологического изменения – в том, что молодежь становится более похожей на своих сверстников в других частях Европы. Можем ли мы с Вами представить себе постепенное решение дилеммы российской идентичности через возникновение посткоммунистического поколения, сходство которого с остальной Европой (я говорю о «сходстве» потому, что не верю в существование каких-либо характерно европейских «качеств») и составит социальную реальность европейской России? Можем ли мы с Вами представить себе возникновение нового поколения университетских преподавателей, интеллектуалов и экспертов-политологов за пределами России, поколения «после «холодной войны», которое будет строить свои отношения с Россией без фантазии, без надменности, без не критического приятия или неприятия? Можем ли мы представить себе конец «особнячества» – особнячества взаимного?

Я с большим интересом и, в основном, соглашаясь, прочел Ваш отличный ответ Вацлаву Гавелу с его чрезмерным стремлением перевести Россию в разряд «не Европы». Как и Вы, я представляю себе будущее, в котором Россия сможет вступить в Европейский союз. Есть некоторая ирония в том, что, хотя новые члены Союза, вроде Чехии Гавела, как раз меньше всех готовы поддержать членство России, именно они изменят всеобщее ощущение того, что такое Европа. Если в Европейский союз 2004 года входят Чехия, Словакия и Польша, то он впервые будет частично славянской Европой. Европейский союз 2007 года, если в него помимо Греции будут входить Румыния, Болгария, станет более ощутимо православной Европой. Можно надеяться, что вступление России станет

казаться более правдоподобным, как внутри России, так и за ее пределами.

Несколько лет назад я ужинал с очаровательной датской коллегой, которая сказала мне, что ни русского, ни американца никогда не спутаешь с европейцем – слишком очевидны их отличия. «Как это?» – спросил я. «Ну, во-первых, – сказала она, – американцы и русские не умеют вести себя за столом как европейцы. А во-вторых, – добавила она, глядя мне в глаза, – они не умеют соблазнить женщину».

Этой историей я хочу подчеркнуть, что определение существенно «европейского» может быть очень индивидуальным, субъективным, произвольным и стратегическим. Alex, я написал свое последнее письмо и оставляю за Вами заключение нашей дискуссии. Мне было приятно и интересно последовать вызову обсудить эти вопросы с Вами.

Искренне Ваш,
Ларри

4.12.2002

Дорогой Ларри,

Мне тоже было очень интересно обсудить с благожелательным оппонентом проблему России и Европы (тем более что в 2004 году у меня должен выйти в Москве трехтомник, общее название которого почти буквально совпадает с темой нашей переписки – «Россия и Европа: Новая схема» – и как раз сейчас я работаю над последним томом). Мы начинали наш спор с настолько разных исходных позиций, что было бы, наверное, чудом, если бы эта короткая переписка хоть немного их сблизила. Тем не менее, она была полезна мне (и, надеюсь, читателям) хотя бы тем, что

после переписки Ваша точка зрения стала мне яснее, чем до нее. Мне хотелось бы верить, что Вы тоже лучше поняли мою позицию.

Почему я решительно не могу согласиться с Вашей оценкой «Русского миража» Альбера Лортолари? Мне вовсе не кажется правомерным сравнение французских левых интеллектуалов, оправдывающих сталинский режим, с философами Просвещения, озабоченными тем, как быстрее привести Россию в Европу. Я думаю, что как эти левые интеллектуалы, так и их критики (тот же Лортолари), ничего в проблеме «Россия – Европа» не поняли.

Спору нет, философы Просвещения (кроме Руссо) действительно относились к Петру и Екатерине вопиюще некритически, советы их были фантастичны, чтоб не сказать нелепы, порою, как в случае с Константинополем, даже опасны. А льстивое раболепство Вольтера и впрямь неприлично, ибо лесть противна во все времена. Но при всем том эти люди интуитивно – и блестяще – угадали, что путь, на который поставил Россию Петр, страшною ценою вырвавший ее из смертельного сна тупикового московитского «особнячества», путь, который продолжала Екатерина, был *единственным*, если судьба судила России избежать участи Оттоманской империи, медленного угасания на задворках Европы.

Как же можно сравнить этих философов с левыми французскими интеллектуалами, воспевавшими как раз новую особняческую Московию, которую насадил в России Сталин? Ведь он, как до него Иван Грозный и Николай I, опять вел страну в антиевропейский тупик, выйти из которого можно было лишь ценою еще одного гигантского катаклизма, подоб-

ного тому, какой пришлось пережить ей при Петре (чего, замечу в скобках, до сих пор не понял Горбачев).

Вы, наверное, знаете хрестоматийный афоризм Александра Герцена: «Петр бросил России вызов, на который она ответила колоссальным явлением Пушкина». И не только ведь Пушкина, добавлю я, но и всего его блестящего декабристского поколения, рискнувшего своей вполне благополучной жизнью ради отмены самодержавия и крепостного права. Иначе говоря, ради воссоединения с Европой.

Каким образом удалось это жестокому самодержцу Петру, при котором крепостничество, как, впрочем, и при Екатерине, превратилось в настоящее рабство, отдельная тема. Наверное, прав был один из самых замечательных эмигрантских писателей Владимир Вайдле, заметив, что «дело Петра переросло его замыслы, и переделанная им Россия зажила жизнью гораздо более богатой и сложной, чем та, которую он ей так свирепо навязывал. Он воспитывал мастеровых, а воспитал Державина и Пушкина». Прав, без сомнения, и сам Пушкин, что «новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу привыкало к выгодам просвещения». Прав и Герцен, что в XIX столетии «самодержавие и цивилизация не могли больше идти рядом. Их союз и в XVIII веке удивителен». Или, может быть, просто, как комментировал Натан Эйдельман, «для [явления] декабристов и Пушкина потребовалось лишь два-три непоротых поколения».

Как бы то ни было, приходится заключить, что «вызов Петра» был с самого начала чреват декабризмом. Именно потому, что, по выражению того же

Вейдле, «окно он прорубил не куда-нибудь в Мекку или Лхасу, но в Европу». Вот что такое для России Европа, сколь бы субъективным ни было ее восприятие у любого человека, включая Вашу датскую даму. Ибо только воссоединение с нею способно дать стране **гарантию** того, что она снова не соскользнет в какую-нибудь очередную особняческую Московию. Требуется, другими словами, не еще одно петровское «окно в Европу», которое, по свидетельству истории, такой гарантии не дает, но полное разрушение старинной московитской стены между ее и Европой.

Теперь Вы, думаю, понимаете, почему я не могу разделить Ваш энтузиазм по поводу «Русского миража» Лортолари так же, как Вашу аналогию Европы с «красотой в глазах смотрящего». Ибо другой надежды на достойную человеческую жизнь, кроме воссоединения с Европой, **такой, какая она есть**, у России, я уверен, просто не существует.

Я не надеюсь Вас переубедить, но на то, что западный интеллект, в конце концов, выйдет из сегодняшней опасной спячки, избавится от всепоглощающей страсти к деконструкции чужих текстов и реально поможет России, покуда она все еще открыта для такой помощи, я надеюсь. И если Бог улыбнется нам, наша переписка, может быть, этому хоть чуть-чуть поспособствует.

Искренне Ваш А.Я.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Игорь Кондаков **ЛЕГЕНДА** **РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОСОФИИ**

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Профессор РГГУ и Нанкинского университетов, один из самых уважаемых ученых нашего академического сообщества И.В. Кондаков оказал мне честь принять участие в этой книге в качестве гостя-соавтора. Написал Послесловие.

Ничего особенного в этом нет: такую же честь оказали мне в «Русской идее» Михаил Аркадьев и Владислав Иноземцев. В этом случае, однако, я не могу согласиться ни с тональностью, ни с заключением текста уважаемого Игоря Вадимовича.

Дело, наверное, в жанре, который он, в отличие от других гостей, для своего текста выбрал, в особом, довольно редком жанре иронического панегирика. Нет слов, жанр эффектный. Но и коварный. Чреват некоторыми сложностями, как для автора, так и для читателей. Начиная с понятного дискомфорта, который должен, я думаю, испытать любой автор, читая панегирик, пусть и иронический, самому себе – в собственной книге. Заключение и того хуже: герой начального панегирика начинает вдруг выглядеть в извест-

ном смысле обыкновенным, извините мой французский, лохом.

Один пример, который полностью прояснит ситуацию. В Приложении 1 я попробовал сформулировать шесть гипотетических условий, при которых «Открытая Россия» могла бы добиться успеха в оттепельной сумятице после Путина. Скажем, пункт 3: «Если у нее (ОР) будет подробная программа строительства несамодержавной (европейской) России, учитывающая особенности ее политической истории (например, то, что ей категорически противопоказана президентская республика и, наоборот, обязательны подлинная Федерация и местное самоуправление так же, как «налоговый маневр» и «поворот на Восток», которые мы подробно обсуждали в четвертой книге «Русской идеи». Или пункт 4: «Если сумеет она объединить вокруг этой программы все разрозненные организации русских европейцев».

Тут с ироническим жанром вроде бы не подступить. Но ведь есть еще и пункт 6: «Если ей удастся отвоевать у оттепельного правительства контроль над телевидением». Вот где жанр заставляет автора сделать вид, что пяти предшествующих условий просто не существует и свести все мои рекомендации к одному пункту 6. Мол, стоят они копейку, ибо у телевидения нет будущего. Вытеснит его интернет, к надежде на который все рекомендации гостя, собственно, и сводятся.

Надеюсь, читатель поймет, почему я написал это Предуведомление. Ибо правило есть правило: к тексту гостя автор прикоснуться не смеет. Публикую его поэтому, как он прислан.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СПОРУ

Слова – после текста Янова? Разве это возможно? Разве можно еще что-то добавить к сказанному Яновым? При его фантастической эрудиции и начитанности, при его внимании к деталям и подробностям, при его дотошности в объяснении исторических событий. Разве возможно в чем-то возразить историку, безукоризненно владеющему неизмеримой конкретикой, и мыслителю, способному на равных общаться с Аристотелем и Гегелем, Монтескье и де Токвиллем, Крижаничем и Герценом, Ключевским и Вл. Соловьевым? И зачем тогда вообще оно – послесловие? Все равно ведь последнее слово остается за автором... Ведь это он – собеседник великих!

Еще бы не собеседник! Автор послесловия к яновской трилогии «Россия и Европа», полемически заостренной против одноименного труда Н.Я. Данилевского, Игорь Николаевич Данилевский (отнюдь не потомок Николая Яковлевича, но замечательный исследователь истории Древней Руси) отметил, что среди выдающихся теоретиков исторического процесса рядом с А. Яновым можно поставить только А. Дж. Тойнби и Л.Н. Гумилева. Я бы еще добавил к этим именам Н.И. Конрада и А.С. Ахиезера, на семинаре которого мы и познакомились с Александром Львовичем. Но и в этом случае Янов – один из пяти «званных» и «избранных».

... Новая книга А.Л. Янова называется «Спор о...». Значит, речь в ней идет не о бесспорных истинах. Т.е. об истинах, подлежащих обсуждению, объяснению и доказательству. Критике и опровержению. Значит, эта книга – приглашение к разговору о вещах, которые волнуют многих мыслящих людей – и в России, и в Соединенных Штатах, и во всем мире. Значит, и сам автор книги ждет этого разговора от своих читателей. Недаром вся эта книга и построена как непрекращающийся спор – и о самодержавии, и о многом другом, – спор, в котором принимают реальное участие многие современники Янова (не стану злоупотреблять перечислением имен) и еще большее число его предшественников, включенных автором в заочную дискуссию. Причем в этих спорах – с великими и малыми, с предшественниками и современниками, с единомышленниками и оппонентами – Янов неизменно побеждает. Он – великий полемист. Он верит в свое призвание и предназначение.

Хочется присоединиться к столь впечатляющему спору, в котором, конечно же, последнее слово останется за Александром Львовичем, живой легендой российской историософии.

«Я – НОВ!»

Мне вспомнилось обсуждение трилогии А.Л. Янова «Россия и Европа», проходившее в московском Центре Карнеги лет десять тому назад. Среди выступавших ученых – историков, политологов, культурологов, философов, религиоведов, – был и один поэт – неофутурист, продолжатель Андрея Вознесенского, и основатель постмодернистского

метаметафоризма – Константин Кедров. Он с огромным пафосом и вдохновением прочел свое стихотворение, посвященное Александру Львовичу. Стихотворение авангардистское, состоящее не только что из одной строки, но прямо-таки из одного слова. Или из двух... В общем, из 1–2-х слов: «Я-а-а-а-а...», – громогласно протянул он и после задумчивой паузы провозгласил: *нов!!!*». Сказано это было с искренним восхищением, с удивлением и с восторгом перед явлением Янова, но и как бы от его имени. Автор многих книг и историософских концепций – Янов, словно поражаясь своему неожиданному открытию, – устами поэта-философа К. Кедрова заявил собравшейся аудитории, о своей новизне и своем новаторстве, выстрадавших дорогой ценой – на родине, в эмиграции, по возвращении в Россию, – в постоянной борьбе за идеалы и принципы.

Поэтическое откровение Константина Кедрова, конечно, произвело сильное впечатление на собравшихся в честь Янова ученых – и своей лапидарностью, и своей метаметафоричностью, и своей оригинальностью. Затем многое говорилось о значении трудов Александра Львовича, о сделанных им исторических открытиях, о его политологических прогнозах, об обаянии его творческой личности, о том, как все мы его ценим и что ему желаем – в далеком Нью-Йорке... Говорилось много... А запомнилось – одно это. Однословное стихотворение, в котором лирический герой от имени реального героя кратко и емко сказал о своем явлении миру.

У Сергея Довлатова, ныне самого знаменитого, самого читаемого русского писателя-эмигранта третьей волны, находим емкую фразу: «Янов – блестя-

щий ученый, апеллирующий к здравому смыслу...»²³². (Опубликовано в журнале «Синтаксис» в далеком 1982 г.) Речь в довлатовской заметке идет о конференции, проходившей в Лос-Анджелесе в 1981 г. по поводу литературы русского зарубежья того времени. О Янове сказано ярко и исчерпывающе кратко: ученый; представляет свою науку блестяще; в своих выводах и прогнозах не порывает со здравым смыслом.

В том же году в США вышла книга Янова «The Origins of Autocracy» (название которой автор переводит как «Происхождение самодержавия»). Спор о происхождении самодержавия – с участием блестящего ученого Янова с присущим ему здравым смыслом – продолжается уже более 36 лет и до сих пор вызывает живой нескончаемый интерес – и у писателей, и у читателей. А мы, жившие в Советском Союзе, в 1981 году еще не знали писателя С. Довлатова, да и журналиста с этим именем. А Янова мы уже знали с 60-х годов – как исследователя славянофилов и К. Леонтьева^{233 234}, о которых тогда почти никто ничего путного не писал. Янов был первым. И уже тогда показал себя с самой блестящей стороны... Но вдруг исчез с нашего поля зрения – с тем чтобы вскоре заявить о себе и о столь волновавших его российских проблемах в Америке. В показательном 1974 году.

Разумеется, мы не знали в 70-е ни того, куда мог уехать Александр Янов, так и не опубликовав в виде

²³² С. Довлатов. Литература продолжается // Малоизвестный Довлатов. Сборник, СПб, «Журнал Звезда», 1996, с. 245.

²³³ А.Л. Янов. Загадка славянофильской критики // Вопросы литературы. 1969, № 5.

²³⁴ А.Л. Янов. Славянофилы и Константин Леонтьев // Вопросы философии. 1969, № 8.

книги своей, столь интриговавшей нас исторической диссертации «Славянофилы и Константин Леонтьев. Вырождение русского национализма. 1839–1891», ни того, что поводом для выдавливания Янова в эмиграцию стала его едва ли не 2000-страничная рукопись «История политической оппозиции в России», распространявшаяся в Самиздате и засвеченная КГБ. К сожалению, в то время я сам находился на «идеологическом перевоспитании» и «политическом исправлении» в уральской деревне Усть-Кишерть, где работал под надзором органов учителем словесности, и Самиздат, при всем моем интересе к нему, до меня не доходил. Так что «Историю политической оппозиции» я не читал, но, как водится, мнение о непрочитанной рукописи составил. Думаю, что в какой-то степени именно эта невероятная по объему работа (как и его диссертация) легла в основание почти всех знаменитых яновских книг, и уж, во всяком случае, подтолкнула замысел большинства из них.

И в каждом из этих замыслов Янов – нов! По-новому он ставит вроде бы уже известные проблемы; по-новому их решает; новые выводы вытекают из его интерпретации исторических сюжетов и исторических персонажей. За новизну своих идей и концепций Янов готов воевать до конца.

Вообще, во всех своих научных изысканиях и публицистических экскурсах в русскую историю Александр Львович проявляет удивительную последовательность и целеустремленность. Если построить «в колонну» (заранее извиняюсь за военно-спортивный термин) все опубликованные Яновым книги, выяснится, что они, шаг за шагом, развивают некие исходные, основополагающие идеи автора: национальное

самосознание; роль патриотизма и национализма в России; история русской консервативной мысли; история русского либерализма и европеизма; происхождение русского самодержавия и перспективы его изживания в России; политическая оппозиция в России и прогнозирование ее дальнейшей деятельности... Иначе говоря, всё о судьбе России – в прошлом, настоящем и будущем. Без всякой мистики, апологетики, патриотики, всяческого свинячьего восторга, – на почве строгого научного знания, с опорой на классиков русской и зарубежной исторической, социально-политической и философской мысли, с апелляцией к здравому смыслу практического разума.

В самом деле, возьмем список книг А.Л. Янова, вышедших на русском языке, а потому доступных всем желающим в России. Первая книга Янова, ознаменовавшая «перестройку», была издана еще в Америке: «Русская идея и 2000 год» (New York: Liberty Publishing, 1988) и вызывала стойкие ассоциации с работой Вл. Соловьева «Русская идея», изданной автором во Франции в 1888 году. Это была, так сказать, «Русская идея сто лет спустя», приуроченная к 100-летию со дня смерти В.С. Соловьева. Соловьева Янов всегда называл своим наставником. И вот, в разгар горбачевской «перестройки» историк и публицист из своего «прекрасного далека» снова и снова говорит соотечественникам – по ту и по эту сторону «рубежа» – «о смысле существования России во всемирной истории»²³⁵ – уже на новом историческом витке. А 25 лет спустя ему еще раз придется поднимать тему «русской идеи» – от Николая I до Путина, на сей

²³⁵ В.С. Соловьев. Сочинения, в 2 т., М., Правда, 1989, т. II, с. 219.

раз фундаментально – сначала в 2-х, затем в 3-х и наконец – в 4-х томах (М.: Новый хронограф, 2014–2016).

Другой важный сюжет А.Л. Янова апеллирует к книге Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». На сей раз эпохальный спор с классиком позднего славянофильства и почвенничества растянулся на 3 тома (Россия и Европа: В 3-х книгах: книга 1. Европейское столетие России. 1480–1560. – М.: Новый Хронограф, 2007; книга 2. Загадка николаевской России. 1825–1855. – М.: Новый хронограф, 2007; книга 3. Драма патриотизма в России. 1855–1921. – М.: Новый хронограф, 2009). Образующиеся «ответвления» от основного сюжета нашли особое развитие в других сочинениях Янова, – предшествующих и последующих: Россия: У истоков трагедии. 1462–1584: Заметки о природе и происхождении русской государственности (М.: Прогресс-Традиция, 2001); Патриотизм и национализм в России. 1825–1921 (М.: Академкнига, 2002); Россия против России. 1825–1921: Очерки истории русского национализма (Новосибирск: Сибирский Хронограф, 1999).

Выходя на темы патриотизма и национализма (столь актуальные и злободневные сегодня для России), автор, опираясь на обобщающие выводы Вл. Соловьева о метаморфозах «национального» (в книге «После Ельцина» Янов называет предложенную русским философом формулу «лестницей Соловьева»): «Национальное самосознание – национальное самодовольство – национальное самообожание – национальное самоуничтожение», – приходит к выявлению опасной закономерности: граница между нормальным патриотизмом и умеренным национализмом в России «неочевидна, аморфна, раз-

мыта». «И соскользнуть на нее легче легкого. Но стоит культурной элите страны на ней оказаться, как дальнейшее ее скольжение к национализму жесткому <...> становится необратимым»²³⁶. Автор убежден, что открытие Вл. Соловьевым «лестницы», ведущей нацию к катастрофе, по своему значению сопоставимо с периодической системой Менделеева²³⁷.

Янов смел и решителен в своих выводах, обобщениях и прогнозах. И это большая редкость в отечественной исторической и политической науке. Но еще большая редкость для ученого (особенно российского) – способность признавать свои ошибки. Так, в книге «После Ельцина. Веймарская Россия?» (М.: Крук, 1995) А.Л. Янов опрометчиво предсказал развитие России в XXI веке по «веймарскому» сценарию, – включая зарождение русского фашизма. Поторопился... По зрелом размышлении автор отказался от этого поспешного прогноза и опубликовал опровержение своей концепции: «Почему в России не будет фашизма: история одного отречения» (М.: Новый хронограф, 2012). Это было так же смело, как и задуматься о возможности нацистского будущего для России... Может, снова поспешил? В истории России еще не все завершено, не все сложилось, не все ясно... И вдруг, не дай Бог?..

И книга, послесловие к которой я пытаюсь написать, в этой «книжной колонне» тоже смела. Она как бы завершает парад предшествующей истори-

²³⁶ А.Л. Янов. Россия против России. Очерки истории русского национализма 1825–1921, Новосибирск, Сибирский хронограф, 1999, с. 10.

²³⁷ А.Л. Янов. После Ельцина, М., Крук, 1995, с.105.

ко-философской мысли Янова, – как шествие пусковых установок стратегических ракет или как пролет сверхзвуковых бомбардировщиков, возвещающий грядущие победы на всех идейных фронтах – первом, втором и, может быть, даже третьем... Все прежние темы и проблемы, занимавшие автора более полувека, соединились в этой победной демонстрации, связанные одним тугим узлом: здесь и «европейское столетие» Московской Руси, и конституция боярина Михаила Салтыкова, и отличие восточной деспотии и европейского абсолютизма от русского самодержавия, и история Иванианы, и вековая традиция холопства, оправдывавшая опричнину и палачество в условиях российской и советской тирании...

Русское самодержавие, этот «гибрид самодержавной государственности, оседлавший Россию на века вплоть до сего дня и амальгировавший в себе “ордынские” элементы наряду с европейскими», – вечен он или нет? Где конец той иглы, что спрятана в яйце утки и т.д. и т.п., в котором таится смерть Кощея Бессмертного? Какие силы наведут будущего сказочного героя на это пресловутое «яйцо» с секретом? Когда наступит гибель тоталитарного Дракона, правящего с переменным успехом в захваченной им стране долгие столетия?..

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

Строки из этой «Сказки», вошедшей в цикл «Стихов из романа», были написаны Борисом Пастернаком в 1953 году. В этом году умер Сталин. В этом же году Александр Янов окончил истфак МГУ.

«ПРОРЫВ В ЕВРОПУ»?

Меня всегда удивляли евроцентристские «рецепты спасения человечества». Мотивы этих цивилизационных устремлений понятны: античные истоки европейской цивилизации, культурный расцвет европейского Ренессанса, всемирные успехи европейского Просвещения, достижения промышленной и научно-технической революций... Но означает ли это, что именно Европа является универсальным мерилom любого социального и духовного прогресса во все времена, для всех народов и культур? Почему для России всегда оказывается актуален призыв: «Вперед – к Европе!»?

Это я не к тому, что «Запад гниет», как с болью в сердце констатировали славянофилы. И не к тому, что у России – свой, особый, исключительный путь развития, и нам не по пути с Европой, – как вопиют нынешние думские патриоты. Просто я как культуролог и как философ убежден в том, что исторических путей в развитии мировых цивилизаций – множество, и в этом смысле «неисповедимы пути Господни». И у каждой цивилизации есть свое историческое (точнее – культурно-историческое) прошлое, которое, вольно или невольно, «программирует» настоящее и будущее этой цивилизации. Конечно, какое-то, нередко весьма значительное, влияние оказывают на культурно-цивилизационное развитие другие цивилизации и культуры, смежные и отдаленные. В этом то и заключается пресловутый «культурный код» той или иной цивилизации.

В российской цивилизации, безусловно, заложен, и в огромной мере, общеевропейский культурный код. В конце жизни Ф. Достоевский, не порывая

с почвенничеством, признал, что «назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. <...> Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли...»²³⁸. Но в то же время устами своего героя Ивана Карамазова русский писатель уверял своих читателей, что Европа – «лишь кладбище», «самое дорогое кладбище», «давно уже кладбище, и никак не более», «дорогие там лежат покойники», свидетельствуя о своей «горячей минувшей жизни». Европейское наследие Достоевский в 1880 г. сознает как далекое прошлое России. «Ибо, что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более чем себе самой?»²³⁹.

Взаимоотношения цивилизаций между собой носят неравномерный и противоречивый характер; при этом сближения и отталкивания постоянно чередуются. Касается это и отношений России и Европы. Ю.М. Лотман, например, отмечал, что «интенсивное усвоение чужих текстов дает на следующем витке мощный выброс собственных в окружающее культурное пространство. Так, русский XVIII в. стал неизбежной основой следующего этапа – эпохи русского романа XIX в., положившего начало потоку культурного воздействия России на Запад. Русско-византийский диалог такого витка не дал». И далее: «Русская культура... характеризуется сменой периодов самоизоляции, во время которых создается равновесная

²³⁸ Ф.М. Достоевский. Дневник писателя 1880 // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т., т. 26, Л.: Наука, 1984, с. 147.

²³⁹ Там же, с. 148.

структура с высоким уровнем энтропийности, эпохами бурного культурного развития, повышением информативности (непредсказуемости) исторического движения. Субъективно периоды равновесных структур переживаются как эпохи величия ("Москва – третий Рим") и метаструктурно, в самоописаниях культуры, склонны отводить себе центральное место в культурном универсуме. Неравновесные, динамические эпохи склонны к заниженным самооценкам, помещают себя в пространстве семиотической и культурной периферии и отмечены стремлением к стремительному следованию, обгону культурного центра, который предстает и как притягательный, и как потенциально враждебный»²⁴⁰.

Чередование равновесных и динамических эпох, по Лотману, образуют волнообразный, пульсирующий культурно-исторический процесс, в ходе которого Россия то отстраняется от европейских влияний, то вступает в активный диалог с Европой; то замыкается в кажущейся самодостаточности, а то предается ускоренному обновлению и развитию, воссоединившись с Европой. Центробежные и центростремительные процессы в истории сменяют друг друга; причем центром культурного универсума попеременно становятся то Европа, то Россия. Соответственно эти центры по очереди выполняют функции энергетического «выброса» и потребления.

Российский европеизм – переменный фактор российской истории, и «русские европейцы» обретают целеустремленную активность в периоды стреми-

²⁴⁰ Ю.М. Лотман. Проблема византийского влияния на русскую культуру в типологическом освещении // Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3-х т., т. I, с. 127.

тельной европеизации России, становясь от европейской социокультурной «прививки» пассионариями, готовыми как к реформам, так и к революциям. Более того, создается ощущение, что именно в подобных колебаниях исторического «маятника» (подчас очень резких и неожиданных) и осуществляется рождение собственного культурного кода российской цивилизацией – между «чужим» и «своим», между «школой» европеизма и «аскезой» самостояния, принимающего нередко самые демонстративные неевропейские и даже антиевропейские формы. Причем, как отмечал Ю.М. Лотман, именно в те периоды, когда Россия проникалась комплексами самобытности и мессианизма, она начинала интересоваться Европу.

Позволю себе личное отступление. 15 лет назад я опубликовал в «Вопросах философии» статью с рискованным названием: «По “ту сторону” Европы»²⁴¹. Рискованность этой заглавной формулы заключалась, конечно, прежде всего, в апелляции к ницшеанской «внеаходимости»: «по ту сторону добра и зла». Но была в этой формуле и другая полемическая заостренность – против *евроцентризма*. Нет, я не рискнул бы утверждать, что Россия – это не Европа, а азиатская держава; я всего лишь осторожно намекнул, что Россия – «не совсем» Европа и что ее «вхождение» в Европу (реальное или потенциальное) не органично и сопровождается большими трудностями. А что это так и спустя 15 лет, – мы сегодня наблюдаем практически каждый день, причем не только благодаря или вопреки санкциям.

Продолжу размышления о России и Европе в этом направлении.

²⁴¹ И.В. Кондаков. По «ту сторону» Европы // Вопросы философии. 2002. № 6.

Во-первых, Россия предстает как геополитическая, культурно-историческая и цивилизационная *периферия* Европы. *Во-вторых*, Россия оказывается не только *окраиной* европейского цивилизационного пространства (как Украина, само название которой включает в себя семантику «края» – и России, и Европы), но и «*зарубежьем*» Европы (т. е. смысловым пространством, выходящим за *рубежи* Европы, хотя продолжающим ее по сути). Наконец, *в-третьих*, Россия – это цивилизация, европейское начало которой все еще находится в становлении, в процессе своего конституирования и носит явно *гибридный* характер, как это замечательно показал в своей книге Александр Львович...

Характерный для России гибрид «самодержавной государственности», – пишет А.А. Янов, – подобно Протею, поворачивается то своим «европейским», то «евразийским» («ордынским») ликом. Послепетровский период – европейский, а период царствования Анны и Елизаветы – евразийский; Екатерина возвращает Россию к европеизму, Павел – отвращает от него, устрояя диким произволом. XIX век наполнен такими же метаниями: Александр I утверждает «европейскость», Николай I – «азиатчину»; Александр II снова европеизирует свою страну, Александр III – деевропеизирует ее... Не знаю уж, как в этом отношении интерпретировать царствование Николая II, с одной стороны, «Кровавого» (хоть, по сравнению с «вождями Октября» эта «кровь» может показаться «клюквенной»), с другой стороны, – «святого великомученика», канонизированного РПЦ (но не за добрые и святые дела, а за страшную смерть от бессудного расстрела в Ипатьевском доме). То ли он, ограничив свое мо-

нархическое правление своего рода «конституцией 17 октября», был европеистом; то ли, устроив Кровавое воскресенье и ввязав Россию то в русско-японскую, то в Первую мировую войны, воплотил в себе евразийское начало русского самодержавия?

Советская эпоха достойно продолжила ту же эстафету гибридных форм: если В.И. Ленин, надо думать, еще демонстрирует европейское лицо большевизма (хотя Г.В. Плеханов называл манифест Ленина «Что делать?» идеалом правления иранского шаха, т.е. воплощением восточной деспотии), то Сталин уже несомненно показывает евразийскую, а то и прямо азиатскую сущность своего социализма. Л.И. Брежнев, в интерпретации А.Л. Янова, реализует, своего рода, «екатерининское» правление, а В.В. Путин воплощают «павловскую» эру.

В самом деле, ценностно-смысловое содержание российской цивилизации по сию пору явно не исчерпывается одним *европеизмом*, – как бы нам этого ни хотелось или как бы это нас ни смущало. Европеизм в России постоянно находился и находится в диалоге, нередко в борении с неевропейскими культурными элементами, подчас жестко заявляющими о себе как антиевропеизм, антизападничество, а то и прямо как вызов варварства, демонстративная «азиатчина» (самый яркий пример тому – современная Чечня, с ее законами шариата и кадыровской «нацгвардией»).

Наконец, «потусторонность» России Европе проявляется в стремлении русской и всей российской культуры таким образом адаптироваться к европейскому контексту, при котором европейские ценности и нормы заметно (или незаметно) трансформируются и реинтерпретируются в соответствии с традициями и историческим опытом России, а Россия вби-

рает в себя Европу как частный случай российского бытия и самосознания, что, конечно, не то же самое, что пресловутый «прорыв в Европу». Скорее уж мы имеем дело не с европейской культурой в России, а с ее симулякром, демонстративной подменой европеизма его жалким подобием.

В свое время Освальд Шпенглер – во втором томе «Заката Европы» – сделал важное открытие, пожалуй, до сих пор недооцененное исследователями, – «исторические псевдоморфозы». Речь идет о трансформации национально-культурного содержания исторически неподготовленных эпох в «пустотные формы чуждой жизни»²⁴². Среди других культурных псевдоморфоз в мировой истории Шпенглер характеризует историю России Нового времени как цепочку псевдоморфоз, имеющих лишь внешнее сходство с аналогичными им европейскими формами. «...С основанием Петербурга (1703) следует псевдоморфоз, втиснувший первобытную русскую душу вначале в чуждые формы высокого барокко, затем Просвещения, а затем – XIX столетия. Петр Великий сделался злым роком русскости»²⁴³. Вот – поистине неожиданная трактовка Петровских реформ! Не столько приобщение России к европейской культуре и принципам европеизма, сколько искажение и фальсификация Европы и «европейскости» в русской культуре и российской государственности (трансформации, по Шпенглеру, приведшие к далеко идущим негативным последствиям).

²⁴² О. Шпенглер. Закат Западного мира. Очерки морфологии мировой истории в 2 т., т. 2, М., Академический Проект, 2009, с. 245.

²⁴³ Там же, с. 250.

Не только об архитектуре и музыке, живописи и литературе идет речь у Шпенглера, в связи с открытием феномена «исторических псевдоморфоз». Его интересует в гораздо большей степени не художественно-эстетические, а политические и религиозные псевдоморфозы. «Примитивный московский царизм – это единственная форма, которая в пору русскости еще и сегодня [второй том был издан в 1922 г.], однако в Петербурге он был фальсифицирован в династическую форму Западной Европы. Тяга к святому югу, к Византии и Иерусалиму, глубоко заложенная в каждой православной душе, обратилась светской дипломатией, с лицом, повернутым на Запад»²⁴⁴. И далее, еще более шокирующее признание Шпенглера: «Народу, чье предназначение – еще поколениями жить вне истории, была навязана искусственная и неподлинная история, дух которой прарусскость просто никак не может постигнуть. Были заведены поздние искусства и науки, просвещение, социальная этика, материализм мировой столицы, хотя в это предвремя религия – единственный язык, на котором человек способен был понять себя и мир...»²⁴⁵.

Подобный взгляд на отношения России и Европы – с позиций продвинутого европейца («европейского европейца»!), во многом альтернативный по отношению к труду Н.Я. Данилевского (к этому времени книга Данилевского уже была переведена на немецкий и прочитана Шпенглером) – заставляет о многом задуматься, имея в виду социальный и культурный «параллелизм» европейской и российской истории.

²⁴⁴ О. Шпенглер. Цит. соч., с. 250.

²⁴⁵ Там же, с. 251.

Не забудем и того, что Россия, Европа и их взаимоотношения в XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX и XXI вв. принципиально отличались, а значит, пути, цели, средства и формы их интеграции или дифференциации в каждый из этих веков были исторически различными и культурно неповторимыми. Совершенно разное дело – «порыв» России к Европе в XVIII или XIX вв. и, к примеру, в XXI в. Не говоря уже о домонгольских или послемонгольских временах.

Сегодня граница между Европой и Россией размыта по крайней мере в двух смыслах и отношениях. С одной стороны, в *географическом* (этот вопрос смущал всех европейских интеллектуалов, включая Жака Ле Гоффа): где проводить восточную границу Европы? – по российской государственной границе? по Кавказу и Уральскому хребту? Или, если исходить из геополитической «неделимости» России, неужели придется считать «большой Европой» не только Северный Кавказ и Заполярье, но и Сибирь, и Дальний Восток – по самые Камчатку и Чукотку? Но чем тогда Европейская часть России – менее Европа, нежели Украина – Западная и Восточная – и Беларусь, – или, скажем, Урал и Западная Сибирь? Как в этом случае трактовать «порыв в Европу»?

С другой стороны, европейско-российская граница размыта в *демографическом* отношении. Европейская часть постсоветской России буквально переполнена пассионариями – мигрантами из Средней Азии и выходцами с Северного Кавказа, для которых российские города, несомненно, в какой-то степени воплощают их «европейские ожидания» или приближают таковые. Крен этнокультурной, языковой и конфессиональной составляющих российской Ев-

ропы в сторону «новой Орды» – тюркской и кавказской, а также по преимуществу исламистской ориентации – налицо. В 2002 году мне еще казалось, что России ориентализация не грозит, что ее развитие целиком пролегал в русле европейской истории. Сегодня такой уверенности уже нет. Это, правда, не исключает того, что «новые россияне» с Востока считают себя как бы «русскими европейцами» или, скажем, «кавказскими европейцами», «тюркскими европейцами». Но это не исключает и того, что новоявленные «европейцы», оказавшись в России или даже в сердце самой Западной Европы, не вынашивают в глубине своего менталитета скорейшую *истернизацию* Европы – как восточной, так и западной.

Но ведь и сама Западная Европа уже не та, что была, например, в XIX или в первую половину XX в. Она сама переполнена мигрантами с Ближнего и Центрального Востока, из Южной и Юго-восточной Азии. Франция и Германия, Бельгия и Великобритания, Австрия и Италия, даже Скандинавские страны все более и более далеки от недавних эталонов европеизма. Постепенная, но радикальная исламизация Европы кардинально трансформирует ценностно-смысловые параметры европейской культуры и европейской цивилизации. И никакой мультикультурализм не спасает европейской идентичности в условиях глобальной экспансии Европы Востоком. «Прорыв в Европу» арабского, турецкого, афганского, иранского, пакистанского контингента в данном случае означает не столько приобщение Востока к европейской культуре и европейским традициям, сколько, наоборот, вытеснение европейских ценностей и норм – «азиатскими», средневековыми, архаичными... Айя-София и «Мечеть Парижской

Богоматери», медресе и хиджаб – вот современные ориентиры евроазиатского диалога, который можно, скорее, интерпретировать как «прорыв Европы – на Восток» или «прорыв Востока в Европу».

Отважусь поставить еще более радикальный вопрос. А почему, собственно, вектор модернизации сегодня определяется «прорывом в Европу», европоцентризмом? Уже в «Закате Европы» О. Шпенглера универсальность европоцентризма подвергалась большому сомнению. Примеры так называемого «восточного чуда» нагляднее всего демонстрируют уязвимость абсолютизации европейского научно-технического, интеллектуального и культурного прогресса. Возникшие на «стыке» западной и восточной культур и цивилизаций образцы японской и тайваньской, южнокорейской и сингапурской, наконец, китайской модернизаций, развивающиеся стремительно и многообразно, становятся привлекательными и вдохновляющими не только для российских, но и для европейских и американских менеджеров, инвесторов, дизайнеров, конструкторов. «Прорыв на Дальний Восток» становится важным вектором мирового развития – экономического и научно-технического, эстетического и политического. Еще более перспективной кажется сегодня международная интеграция Запада и Востока.

ВЕЧНЫЙ СПОР

А ведь и в самом деле может показаться, что самодержавие в России – вечно и неизменно, и извечная борьба с ним хоть и неизбежна, но обречена. Как писал Ф.И. Тютчев в 1826 г., обращаясь к казненным декабристам:

О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва, дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула –
И не осталось и следов.

Даже революция чувствовала себя бессильной низвергнуть русское самодержавие, понимаемое как культурно-цивилизационный феномен, а не как политический институт. Д.С. Мережковский, уже прославившийся своей эпохальной книгой «Царь и Революция», написанной совместно с З.В. Гиппиус и Д.В. Философовым и впервые изданной на русском языке лишь в 1999 (!) г.²⁴⁶, сразу же после Октябрьского переворота во всеуслышание удивился тому, что в результате революции на место «Николая Второго Романова» пришел «второй Николай Ленин», и прозвучало «все-народное свободное слово: “Ленин – самодержец”». И переходил от символистской игры слов к зловещему выводу: «Из убитого самодержавия Романовского вышел упырь – самодержавие Ленинское»²⁴⁷. Одно самодержавие сменило другое, еще более варварское и жестокое, еще в большей мере основанное на произволе и насилии, еще более мифологичное и извращенное.

Но вот ведь беда! И самодержавие, самое что ни на есть положительное и прославленное, самое евро-

²⁴⁶ Д. Мережковский, З. Гиппиус, Д. Философов. Царь и революция. Под ред. М. А. Колерова. Вст. ст. М. Павловой, М., ОГИ, 1999.

²⁴⁷ Д.С. Мережковский. Упырь // Новая речь. 1917, 28 ноября (10 декабря), № 1, с. 1.

пеизированное и просвещенное, – монархия Петра Великого – под взглядом беспристрастного аналитика выглядело почти так же неприглядно и монструозно.

В.О. Ключевский неслучайно ернически отмечал: «Реформа Петра была борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся грозой власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку, народное просвещение как необходимое условие общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно». Рисуя гротескное переплетение взаимоисключающих тенденций петровского правления, историк заключал: «Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе неразрешенная»²⁴⁸. (А имелось в виду начало XX в.) Впрочем, и в советское, и в постсоветское время та же парадоксальная «квадратура» самодержавия, лишь в слегка модернизированном словесном облачении, продолжала держать Россию в своих цепких объятиях.

Продолжая мысли В. Ключевского, Г.В. Плеханов, совершенно нами недооцененный мыслитель, писал о радикальных петровских преобразованиях: «Европеизуя Россию, Петр доводил до его крайнего логического конца то бесправие жителей по отношению к государству, которое характеризует собою восточные деспотии». Добиваясь того, чтобы «*порода* отступила назад перед *чином*», «...Петр и здесь довел до крайности ту черту ее строя, которая сближала ее с восточными

²⁴⁸ В.О. Ключевский. Курс русской истории // Он же. Соч.: В 9 т. М., 1989, т. IV, с. 203.

деспотиями. По недоразумению, указанная черта принималась иногда за признак демократизма. < ... > На самом деле она не имеет с демократизмом ровно ничего общего. Строй, характеризуемый преобладанием этой черты, прямо противоположен демократическому: в нем *все порабощены*, кроме одного, между тем, как в демократии *все свободны*, по крайней мере, *de jure*»²⁴⁹. Петр фантастически «перевел» западноевропейскую демократию на «язык» восточного деспотизма и тем самым положил начало России как «потусторонней», «кромешной» Европы.

Казалось бы, так хорошо Александр Львович Янов провел в своих книгах принципиальное различие между восточным деспотизмом, западноевропейским абсолютизмом и русским самодержавием, что уже невозможно их перепутать, – как снова и снова мы понимаем, что в России вся теоретическая типология «плывет». Глянешь на нее с одной стороны, – вполне европейский абсолютизм! С другой, – чисто восточная деспотия! Да и сами «Запад» и «Восток» в России куда как относительны. Сошлюсь еще раз на полузабытого «отца русского марксизма» – Плеханова – как на историка и социолога российской действительности.

По мере того, – писал Плеханов, – как русское дворянство «приближалось к “вольности”, его роль в государстве переставала быть похожей на роль служилого класса в восточных деспотиях и более или менее уподоблялась роли высшего сословия в абсолютных монархиях Запада. Следовательно, социальное положение “благородного” сословия изменялось в одну сторону, – в сторону *Запада*, – в то самое время, когда социальное

²⁴⁹ Г.В. Плеханов. История русской общественной мысли в 3 кн. Под ред. Д. Рязанова, М.–Л., 1925, кн. 2, с. 37, 38.

положение “подлых людей” продолжало изменяться в сторону прямо противоположную, – в сторону *Востока*». «Перед нами, – продолжал Плеханов, – “два параллельных процесса”, которые “идут в прямо противоположные стороны”²⁵⁰, – действуют “на разрыв”».

Образ России как «разбегающейся цивилизации» был подхвачен и другими философами. Н.А. Бердяев в «Русской идее», написанный уже после окончания Второй мировой войны, подчеркивал, что «противоречивость и сложность русской души, может быть, связана с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории – Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и западное»²⁵¹.

Как видим, в бердяевской интерпретации России концепция «разбегающейся цивилизации» (и «разбегающихся цивилизаций»), столь актуальная в годы Первой мировой войны (когда Г.В. Плеханов писал свою «Историю русской общественной мысли»), трансформировалась в модель *столкновения цивилизационных потоков*, в чем-то предвосхищающей будущую концепцию «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона, сформулированную «американским Шпенглером» в 1990-е годы. *Центробежность* цивилизационных процессов сменила их *центростремительность*. И вовремя: после окончания Второй мировой войны

²⁵⁰ Г.В. Плеханов. Цит. соч., кн. 1, с.118.

²⁵¹ Н.А. Бердяев Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // Бердяев Н.А. Русская идея. Судьба России, М., Сварог и К, 1997, с. 4–5.

интенсифицировались тенденции глобализации и всемирной интеграции, а также конвергенции различных политико-культурных систем. Гибридные модели государственного управления тоже актуализировались. Постколониальный мировой порядок вскоре вынес на повестку дня модель многополярности, успешно конкурировавшей с идеями монополярности и биполярности. Концепциям «закрытости» все более активно стали противостоять модели «открытого общества», выдвинутые К. Поппером.

И тут мы подошли к «финальному аккорду» книги Александра Янова «Спор о “вечном” самодержавии». Нам уже ясно из всего изложенного, из всех воспроизведенных автором споров на все животрепещущие проблемы российского общества, что самодержавие в России, может быть, и не вечно, но, к прискорбию спорщиков и к радости их многочисленных оппонентов, по-прежнему живо. Что же делать? Кто виноват? Вечные русские вопросы экзистенциального свойства...

В этом же ряду звучит и судьбоносный вопрос А.А. Янова, подготовленный всеми сюжетами этой его книги (как и всех его предшествовавших исследований России): **как осуществить очередной, двенадцатый (12-й!) «прорыв в Европу»?** – после 11 (за 4 столетия) – неудачных?

«Это обстоятельство оставляет нам, сегодняшним, – торжественно заключает Янов, – лишь один выбор: либо самодержавие в России и впрямь вечно, либо одиннадцать уже раз совершили русские реформаторы грубые, судьбоносные ошибки, ставшие для их “прорывов” роковыми. Первое противоречило бы всему опыту мировой истории, а второе требует перед лицом предстоящего – двенадцатого – прорыва в Евро-

пу извлечь все возможные уроки из этого печального, растянувшегося на столетия, компендiums поражений. Предстоящий (уже "после Путина") прорыв в Европу мотивирован тем, что люди доброй воли "поймут, наконец, что российское самодержавие едва ли менее злокачественная опухоль на теле современного мира, чем исламский фундаментализм"».

Выбор Янова пал на «Открытую Россию» МБХ (когда это писалось, еще не было известно, что эта организация, ввиду предстоящих президентских выборов в России, будет признана «нежелательной» в нашей стране, — немного не «запрещенной», как ИГИЛ). Как было не ухватиться за «Послание МБХ русским европейцам»? Правда, вскоре выяснилось, что «русские европейцы» для Ходорковского не более, чем мем, что русской истории он, к сожалению, не знает, а работ Янова, которые тот начал писать еще когда МБХ в коротких штанишках ходил под стол, увы, не читал.

Александр Львович готов сотрудничать с «Открытой Россией» и давать дельные советы «Ходору», если бы не «легкомысленная политическая "всеядность"» последнего. Отвечая на сакраментальный вопрос, в чем «не прав» МБХ, АЛЯ отвечает: в том, что начало очередного «европейского прорыва» (может, и в самом деле — лучше «порыва»?) следует, по мнению МБХ, начать «с круглого стола по вопросу транзита власти с участием экспертов из команд Кудрина и Касьянова, Явлинского и Навального, Каспарова и Титова, ОНФ и Открытой России...». Он бы еще пригласил из команды Зюганова, Жириновского, Лимонова, Хирурга, Рамзана Кадырова и Святейшего Патриарха всея Руси Кирилла!.. Чем не соловьевское всеединство «трех сил» мировой истории?

Чем не Василий Васильевич «Розанов»?

«Вот и поклонитесь все “Розанову” за то, что он, так сказать, “расквасив” яйца разных курочек – гусиное, утиное, воробьиное – кадетское, черносотенное, революционное, – выпустил их “на одну сковородку”, чтобы нельзя было больше разобрать “правого” и “левого”, “черного” и “белого” – на том фоне, который по существу своему ложен и противен... сделал это с восклицанием: – Со мною Бог»²⁵².

Глядя на перспективы «Открытой России» открытыми глазами, Александр Львович признает, что «шансы на ее успех смутны». Единственное, что готов предложить Янов будущим активистам «ОР» – экспроприировать у прежней власти «зомбоящик». «Поэтому отвоевание телевидения после Путина должно было бы стать для “Открытой России” тем же, чем для Ленина были “захват почты, телефона и телеграфа”, т.е. задачей № 1. И задачей № 1 для нового телевидения должна была бы стать та самая “реконцептуализация традиционных представлений о величии и власти», о которой автор твердил нам в своих сочинениях последние 20 лет...

Я бы, пожалуй, все-таки сделал ставку на интернет, на сетевое сообщество. Именно здесь, на этой «сковородке», я убежден, и произойдет решающая «реконцептуализация» традиционных представлений о самодержавии и способах борьбы с ним, о величии или ничтожестве России, о значении русской культуры. А «зомбоящик» в этой аудитории будет прочно забыт.

²⁵² В.В. Розанов. Опавшие листья // Розанов В.В. [Сочинения], М., Правда, 1990, т. 2. Уединенное, с. 496.

Научно-популярное издание

Янов Александр Львович

СПОР О «ВЕЧНОМ» САМОДЕРЖАВИИ

От Грозного до Путина

Издатель Леонид Янович

Редактор Михаил Аркадьев

Корректор Ольга Крупченко

Верстка и оригинал-макет Евгений Янович

Обложка Евгений Янович

Налоговая льгота –
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 – книги, брошюры

НП Издательство «Новый хронограф»

Контактный телефон 8-916-651-3094

по вопросам реализации 8-985-427-9193

E-mail: nkhronograf@mail.ru

Информация об издательстве в Интернете: <http://www.novhron.info>

Подписано к печати 05.10.2017

Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1

Печать офсетная. Усл.-печ. л. – 17,75

Тираж 500 экз. Заказ № 7463

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

«НОВЫЙ ХРОНОГРАФ»



9 785948 813967

ИЗДАТЕЛЬСТВО НОВЫЙ ХРОНОГРАФ



ozon.ru



1249528767